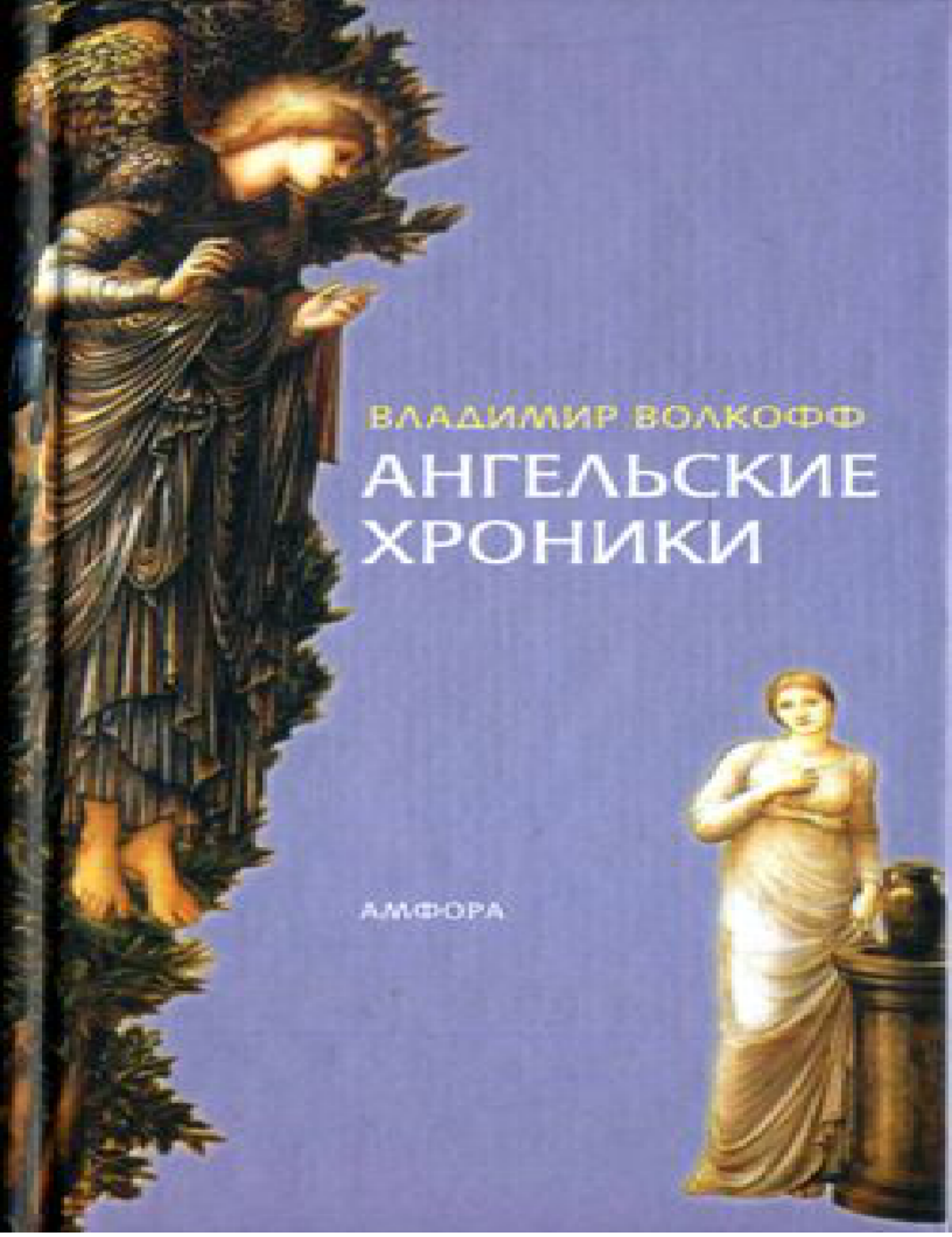
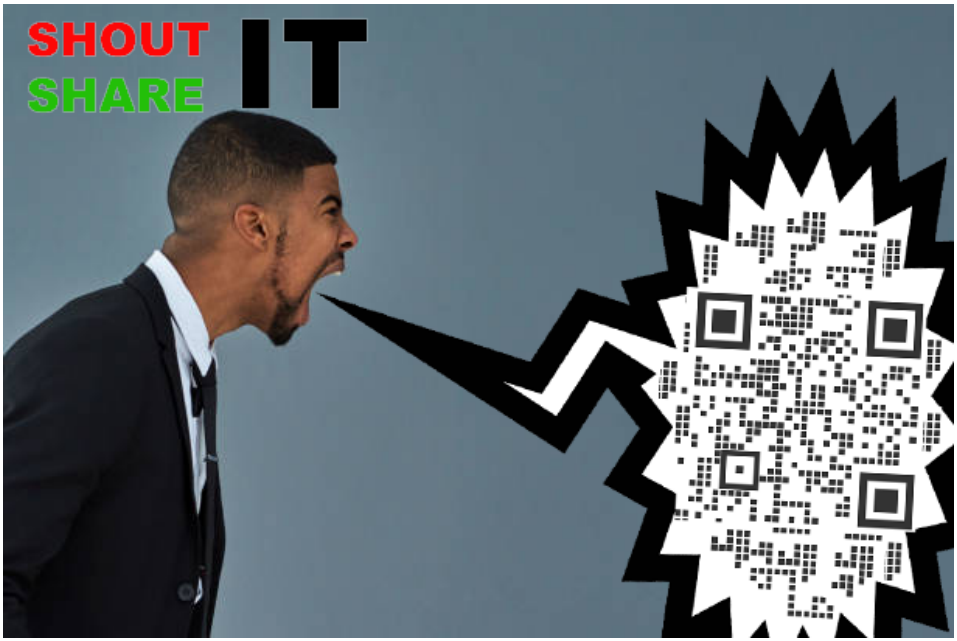


ВЛАДИМИР ВОЛКОФФ

АНГЕЛЬСКИЕ ХРОНИКИ

АМФОРА


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Владимир Волкофф – новое имя для русского читателя, хотя на родине писателя, во Франции, оно широко известно. Потомок белых эмигрантов, Волкофф пишет по-французски и для французов, однако все его произведения проникнуты особым духом, который роднит их с лучшими образцами русской литературы. В сборнике новелл «Ангельские хроники» автор излагает свою, оригинальную точку зрения на роль небесного воинства в мировом историческом процессе.

- Владимир Волкофф
  - Моему ангелу-хранителю
  - Соль ангелов
  - Товарищи
  - Ангел обетования
  - Доказательство
  - Ангел ищущий
  - Чем люди живы
  - Несчастнейший из ангелов
  - Ангел милосердия
  - Оловянный солдатик
  - Ангел-утешитель
  - Повестка
  - Последний грешник, или Тайна Господня
  - От автора
  - От переводчика
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15

- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51

Владимир Волкофф
Ангельские хроники

Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?…

Святой Павел. 1-е послание Коринфянам, 6, 3

Моему ангелу-хранителю

Признайся, это странно.

Я не совсем уверен, что ты существуешь (не обижайся, я ведь так же не уверен, что сам существую), и, тем не менее, каждый день я призываю тебя. Торжественно. По-церковнославянски. Я говорю тебе: «Ангел-хранитель, посланный мне Господом, прости меня за все, чем я огорчил тебя в минувший день, и помоги мне встретить новый ради твоего утешения и ради спасения моей души». Эту молитву придумала моя мать, она заменяет мне ту, что велит нам читать по утрам Православная Церковь.

Христианская Церковь, как православная, так и католическая и протестантская, да и все остальные монотеистические религии твердо верят в вас, ангелов: иудеи в вас верят, мусульмане в вас верят, добрые христиане тоже в вас верят. Если некоторые из них и позволяют себе усомниться подчас в вашем существовании, они делают это с почтением. Одни лишь последователи г-на Оме,[1] служители культа и люди светские, решительно вычеркнули вас из списка действующих лиц, сделав это с легкостью, которую они считают признаком высокого ума.

Однако между верой в вас и знанием, кто вы такие, как вас понимать, как с вами говорить, как обращаться, лежит долгий путь. Так что я и сейчас не уверен, вправе ли я делать то, что делаю, сочиняя ваши хроники.

Когда я был маленьким, мне говорили, что бабочек трогать нельзя, потому что их крылышки покрыты тонкой пыльцой, благодаря которой они и летают. Может быть, то же можно сказать и об ангелах, и мне не следовало бы пренебрегать этим запретом и касаться вас?

А может, когда мы, люди, так сказать, образованные, культурные, рассуждая о вас, считаем необходимым делать это в шутливом, легком тоне, все дело опять-таки в вопросе такта. Не виноваты ли в том ученые, которые пропитали вас хлороформом, накололи на булавку и занесли в свои каталоги вместо того, чтобы просто вспомнить американский стишок: «Почему летают ангелы? Потому что им легко».

Что до меня, то я прилежно прочитал и Псевдо-Ареопагита,[2] и «Ангельского доктора» Фому Аквинского,[3] и Карла Барта,[4] и отца Даниелу,[5] и отца Сергия Булгакова,[6] и мне очень хочется верить во все их умозаключения, но, к сожалению, они нисколько не помогают мне найти ответы на простейшие вопросы, которые встают передо мной. Например, всякий раз, когда мне удается избежать несчастного случая или не поддаться искушению, я

обращаюсь со словами благодарности к тебе, мой ангел-хранитель; но значит ли это, что если со мной случится что-то плохое, мне можно будет упрекнуть в этом тебя?

Нет, мне кажется, что, не умея удовлетворяться открытыми нам истинами – ведь Господь Бог создал нас по образу и подобию Своему, чтобы мы не позволяли себе особенно в них углубляться и развивать их, – нам только и остается, что прибегать к «поэтическому моделированию», которое позволит нам хоть как-то коснуться вашей тайны.

Ты – ангел, а значит, *nihil hutnani a te alienum esse puto* [7], и тебя не шокирует, если я процитирую здесь слова философа по имени Этьен Сурио:[8] «Думать по-ангельски, – говорил он, – или, вернее, думать, как ангел, то есть судить о делах человеческих с точки зрения ангела, может быть очень полезным и эффективным методом мышления…» И дальше: «Вы почувствуете, насколько эффективен метод приятия ангельской точки зрения, заключающийся в том, чтобы мифически построить гипотезу о существовании некоего существа, которое было бы выше человека настолько, насколько человек выше животного, а дальше – выявить последствия данной гипотезы в отношении человеческих деяний».

* * *

Моя же гипотеза, которой и посвящены эти хроники, состоит в том, что ваше ангельское воинство – это спецслужбы Господа Бога. Как в свое время королевская тайная полиция, они позволяют Царю царей обходить обычные, часто такие рутинные, методы управления Своим творением. Кроме серафимов – ангелов о шести крылах и о четырех ликах – и исполненных очей херувимов, которые, обратясь всем своим существом к Отцу, только и делают, что поют Ему хвалу и трепещут в изливаемом Им свете, есть и другие ангелы, вроде тебя – неважно, какому чину они принадлежат, – чье внимание обращено на людей, во благо и спасение которых они и действуют, прибегая подчас к весьма необычным методам, осуждаемым многими догматичными богословами.

Действуя таким образом, Божьи агенты блещут (конечно же, они блещут!) примерной скромностью: этого требует их ремесло. Поэтому в некоторых из моих хроник можно лишь с трудом уловить мерцание твоих собратьев – слабый отблеск в филиграни текста.

В других же, наоборот, мы попытаемся встать на их место,

только бы ты согласился поведать мне о том, как вы выполняете ваши задания.

Ибо, как я не желаю совершать ничего, что шло бы вразрез с учением Святой Церкви, так и не хочу опустить чего-либо из духовной трусости. «Дерзайте!» – вот приказ, который мне по душе. Так будем же работать вместе, мой ангел-хранитель, *ради спасения моей души и ради твоего утешения,* как говорится в моей молитве.

Соль ангелов

В то время… – я имею в виду время не человеческое, а наше, ангельское, поскольку, если Отец наш пребывает в совершенно безвременной вечности, то херувимам и серафимам нужно ведь какое-то время, чтобы петь свое «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» – итак, в то самое время какая-то тень стала подниматься с земли людей. Это был липкий туман коричневого цвета, на поверхности которого то и дело лопались пузыри. Он густел прямо на глазах. Ангелы-стражи, в чьи обязанности входит следить за загрязнением космоса, забили тревогу. Мы все сбежались и наклонились над краем света.

Но там ничего не было видно, кроме этого шара, черного не как тьма – вороная сестра света, – а как пустота или, вернее, как кишащая масса гниющих вибрионов. Вонь поднималась до нас. Маленький ангел с чувствительным сердцем воскликнул: «И это делают наши бедные люди!» и расплакался, размазывая слезы по щекам сжатыми кулачками. Сострадание волной накатило на нас. Как можно желать собственного падения? Как можно с таким удовольствием валяться в грязи, пачкаться в крови? От одной мысли об этом становится мерзко. Мессир Рафаил, который ведает у нас информацией, распорядился провести расследование. Вот что оно показало.

Люди по природе своей непрозрачны, поскольку предполагается, что они должны отражать Божественную любовь. Мы же, наоборот, просвечиваем насквозь, так как только преломляем ее. Поэтому справедливо говорить только о «человеческой природе», тогда как выражение «природа ангельская» неверно: мы недостаточно непрозрачны, чтобы иметь свою природу. Однако непрозрачность бывает разная: одно дело отражать свет, но совсем другое – его поглощать. А с жителями одного города на планете Земля произошла отвратительная мутация: чем больше потоков света изливал на них Господь, тем больше тьмы они из него производили, В противоположность деревьям, поглощающим свет и вырабатывающим взамен него хлорофилл, они переваривали его и превращали в тьму.

Откуда взялось такое извращение? Как это обычно бывает, мнения экспертов разделились. Одни считали, что это результат классовой борьбы, другие связывали это с распространением ростовщичества, третьи – с предоставлением женщинам права голоса. Однако все были согласны в том, что во многом этому способствовали падение веры и упадок государственности. Мессир Рафаил послал двух ангелов по имени Аф и Кезеф, чтобы

те разобрались на месте.

Вы знаете их: Аф, князь Гнева, выкованный из черно-красных огненных цепей, – тот самый, что в один прекрасный день проглотил Моисея до самого его обрезанного члена; Кезеф – один из пяти ангелов Разрушения; чтобы обуздать его, Аарон вынужден был запереть его однажды в Ковчеге Завета. Без малейшего содрогания они погрузились в зловонное облако.

Приземлившись посреди города, они удивились, хотя и были готовы к этому, не виданному ими доселе уровню непрозрачности. И если бы только непрозрачности! Казалось, что все вокруг весит вчетверо больше своего настоящего веса; перья птиц были будто свинцовыми; трудно было оторвать ноги от земли, чтобы сделать шаг, – так тяжел был воздух. У людей и правда есть такая особенность – влиять на то, что их окружает, и передавать этому свои собственные уродства.

– Какой ужас! – сказал Аф.

– Какая мерзость! – сказал Кезеф.

Они пошли.

На мостовых валялись с виду трудоспособные молодые люди, которые были не в силах удержать свой вес. Они курили анашу, зажав между колен плошку для подаяния. Из-под заскорузлых от грязи одежд были видны вызывающие татуировки, делавшие их кожу похожей на плакаты. Бесформенные самки со слоновьим изяществом вертели крупами в попонах из размалеванных тканей; волосатые самцы покачивались, щеголяя дряблой грудью и туго обтянутыми детородными органами. Небритый, одутловатый карлик, тяжелый, как чугунная болванка, предлагал прохожим таблички с картинками, изображающими необычные формы спаривания. С трудом передвигая ноги, как во сне, прошла по улице колонна демонстрантов: бескровные мужчины и женщины, некоторые без носа, выставляли напоказ свои язвы, заявляя при помощи транспарантов и выкриков свое право на свободную пропаганду их образа жизни. Совет судей приветливо встретил их на ступенях здания суда и поспешил присоединиться к их требованиям. В гимнасиях,[9] слепившись передами, задами, головой вверх, головой вниз, образуя что-то наподобие гроздьев, люди опробовали различные способы элементарного сопряжения тел. В тени портиков голые мальчишки соревновались, измеряя определенные части тела. У сточных канав недозрелые, но уже беременные девицы, железными щипцами выдрав из своего лона плод, бросали его в клоаку. Аф и Кезеф достаточно нагляделись на все это. Они полетели обратно.

Вернувшись, они представили отчет ангелам-экспертам, в основном престолам,[10] которые установили, что население

города больно обширным раком «я».

«Я» – это орган, о котором мы не имеем представления, но люди обладают им; он позволяет им судить о Добре и Зле, чаще всего с грехом пополам, из-за него Господь любит их больше, чем нас, но орган этот легко разлаживается и часто принимает чудовищные формы.

К несчастью, рак этого органа не смертелен. Опухоль «я» не может его уничтожить, а лишь обрекает на постоянное сильнейшее удушье. Все вместе горожане, скорчившись посреди продуктов своей жизнедеятельности и различных отбросов, с упоением мазались ими и должны были бы вот-вот утонуть в них, если бы, несмотря на размягченные мозги и осоловевшие от разврата глаза, внутри каждого из них, словно горящий уголек, не теплился неувядающий росток Божьего подобия. Одобрив доклад Афа и Кезефа, эксперты рекомендовали немедленно приступить к действию.

Естественно, велось и параллельное расследование. Необходимо было установить, не в состоянии ли сами жертвы помочь себе каким-либо действием. Не сохранилось ли в душе кого-нибудь из этих мужчин и женщин, менее других погрязших в пороке, тоски по миру, где бесконтрольное разрастание «я» не является единственным способом существования? Не было ли в их среде какого-либо более или менее здорового элемента, с которого могло бы начаться исцеление? Обратились за консультацией к почтенному информатору по имени Авраам, однако, вопреки своим самым добрым намерениям, он не нашел в городе и десятка человеческих существ, которые смогли бы стать, так сказать, ядром спасения сообщества. Все шло своим чередом. Вмешались силы и господства. Были изучены противоречивые предложения самого радикального и умеренного толка: недаром говорится, что «Божьи мельницы мелют медленно, но верно». Наконец в один прекрасный день Аф и Кезеф были вызваны к мессиру Михаилу, который ведает у нас исполнением постановлений.

– Запаситесь как следует состраданием, – приказал он им, – и отправляйтесь обратно.

– Какова наша задача?

– Вы узнаете об этом на месте.

На месте многое изменилось – к худшему.

Нам и отсюда было видно, как потемнело за это время облако, но, не побывав на месте событий, невозможно было представить себе тех бедствий, что обрушились на Содом. Горожане давно уже исчерпали запас удовольствий, часть которых не входит в число дозволенных, но пребывает при этом в полном

соответствии с природой. Нет, им взбрело в голову извратить ее, надругаться над ней и злоупотребить ею всеми способами. После этого они обнаружили ужасающее наслаждение в непристойностях и наконец пришли к последней степени сладострастия – жестокости.

Вечерело, когда Аф и Кезеф вновь коснулись земли. В переулках было уже темно, но печные трубы еще розовели. Ангелы двинулись в путь – косая сажень в плечах, гордая осанка, серебряные крылья поблескивают в полумраке. В трущобах, мимо которых они проходили, занимались только любовью. Какая насмешка! Эти существа как только не пользовали друг друга, а затем остервенело отталкивали, озлобленные собственной похотью. Любовь – это вид отношений, а значит, она подразумевает определенную дистанцию. Здесь же все было липкое нагромождение тел – зверь о тридцати шести хребтах. Нездешние путники обоняли омерзительное зловоние.

Наконец они вышли на главную площадь. При виде их по городу разнеслась молва: райские птицы слетели в Содом, и без всякой охраны!

Горожане обоих полов столпились на балконах и у входов в дома, в их запавших глазах, горящих из-под спутанных волос, которые они отбрасывали назад медленным движением пловца, читалось одно и то же темное желание. Эти крылатые существа, что шагали по пыльной дороге, несли с собой что-то новенькое, а сладострастие так однообразно, что даже ожидание новизны пробуждает чувства, как бы пресыщены они ни были. Поймать неуловимое, овладеть тем, кто свободен по самой сути своей, – как это сладко, даже если ты лопаешься от сытости! И содомиты стали наступать.

Тут-то и появился тот пьянчужка.

* * *

Вы должны знать, что люди имеют обыкновение злоупотреблять полезными вещами, и в том числе вином, созданным Господом для увеселения сердец, как говорит Псалмопевец. Чертики подметили это и завели привычку прятаться в бутылях и кувшинах. Благодаря этой уловке им удается причинять человечеству немало вреда. Но люди так странно устроены, что подчас от наложения одного зла на другое в них получается добро. Неизвестно, что в тот день нашло на Лота; по всей видимости, выпил он ровно столько, чтобы в нем проснулось чувство гостеприимства, и, увидев на своей улице

двух путников, он ощутил нестерпимое желание пригласить их к себе. Он вышел из пивной.

Он не пошатывался, нет, а наоборот, быстро засеменил, свесив голову набок, приоткрыв выпачканный едой рот, растопырив пальцы и распространяя вокруг себя кислый запах:

– Господа, окажите милость… мое скромное жилище… лучше, чем обратно… ваш дом – это мой… то есть я хочу сказать, мой дом – ваш дом…

Они взглянули на него, стараясь приглушить нестерпимый блеск своих глаз:

– Вы очень любезны, но мы не можем. Однако он не унимался:

– А как насчет омовения ног после тяжелого пути? А завтра, как только пожелаете, снова отправитесь в дорогу.

Ну, вы же знаете, какие мы: перед чистосердечной просьбой мы просто не в силах устоять. Итак, Аф и Кезеф вошли под кров этого человека. Он конечно же не был праведником, иначе Авраам указал бы нам на него, но уголек добра еще тлел в нем. Толпа, все еще предвкушавшая наслаждение от расправы над ангелами, осталась ни с чем. Лот запер дверь на ключ, задвинул засов и завалил вход всяким хламом: осторожность никогда не помешает, особенно, если ты за кого-то в ответе.

Масляная лампа уютно освещала стол, изрезанный многими поколениями предков Лота. Дымилась гороховая похлебка, в ней плавали хлебные корки. Вокруг, словно придавленные невидимым грузом, развалились домочадцы: папаша Лот разглагольствовал, мамаша с любопытством поглядывала на гостей, две придурковатые девицы – одна с облупившимся лаком на грязных ногтях, другая – неряшливо накрашенная дешевой помадой – посылали томные взгляды воздыхателям (каждая своему) – тучным парням, которые, отродясь не зная ничего, кроме разврата, окончательно потеряли к нему вкус и приходили сюда лишь затем, чтобы как следует набить брюхо за счет папаши Лота. Было жарко, душно… Одним словом, семья, как называют это люди. У них ведь всегда есть свои, непостижимые для нас тайны.

Закончив ужин, воздыхатели, – которые, надо сказать, вовсе не воздыхали, а просто рыгали, – убрались восвояси, гостей уложили на соломенные тюфяки, супруги удалились в спальню, а дочери – в свою комнату. Потушили свет. На улице бушевал праздник, грозивший вылиться во всеобщую вакханалию. Отблески разноцветных фонариков сквозь щели в ставнях причудливо окрашивали измятые льняные простыни. Гул нарастал. Ангелы не спали. Опершись спиной о подушку, Аф

смотрел прямо перед собой горящими, как раскаленные угли, глазами; Кезеф, задумавшись разглядывал потолок. Их беспокоила участь хозяина дома. Было ясно, что организм его поражен раком «я» лишь частично; какими бы ни были его пороки, все они искупались его гостеприимством; надо было сделать так, чтобы он и его семья избежали участи, уготованной их землякам.

Скрипнула дверь, и в комнату, держась за руки и хихикая, проскользнули девицы. Обе были в одних рубахах, при этом одна из них держала палец во рту, а другая приплясывала на месте. От жирных волос пахло дешевой парфюмерией.

– Бы не спите? Мы маленькие девочки. Мы боимся темноты.

И они расхохотались дурным смехом.

Ангелы посмотрели на них.

– Выбирайте любую из нас, – сказала та, что была понаглее, – нам все равно, вы оба такие душки.

Они разлеглись на ковре.

То, что они предлагали, в сущности, не было абсолютно невозможным: доказательство тому – племя гигантов, рожденных земными женщинами от ангелов. Конечно, определенную роль могли сыграть моральные устои или уважение к хозяину дома. Но у нас, ангелов, не бывает жалости без уважения, в то время как у людей жалость всегда сочетается с презрением. Эти извивающиеся на полу, терзаемые похотью, умоляющие самки являли собой верх убожества. Карающим ангелам хотелось взять их на руки, как плачущих девочек, привести в порядок, как разбитых кукол, и научить их любви, да-да, говорю я вам, именно любви.

– Научитесь уважать себя, – сказал Аф, прямой, как язык пламени.

– И других, – сказал Кезеф, пылающий как лед.

– Не вышло, – проговорила одна из девиц, – пошли.

– Смеешься? – отозвалась ее сестра. – Это уж совсем обидно. Надо же когда-нибудь покончить с этим, а то уж совсем будет смешно.

– И то правда – ответила первая, – мне пятнадцать лет, да и тебе уже исполнилось четырнадцать. Господа, вы правда не будете? А то наши парни ни на что не годны: они девчонку от пня не отличат. А папаша никуда нас не пускает. Мы так больше не можем! – хныкала она.

Ангелы только покачали головой: никто не качает головой так убедительно, как ангел.

В это мгновенье на улице стало особенно шумно, сильные удары сотрясли дверь. Казалось, перед домом Лота собрался весь

Содом, люди просто не могли больше жить, не изнасиловав небесных гостей и всячески не надругавшись над ними.

Спальня Лота находилась на втором этаже. Он вышел на балкон, оба ангела последовали за ним и встали в проеме.

– Посмотреть бы на них ощипанных! – выкрикнул кто-то из толпы.

Внизу похоть уступила место ярости. Дверь была крепкая, и от этого толпа еще больше расходилась, к своему пущему удовольствию. Человека всегда влекут запретные вещи, это составляет основу цивилизации; нам трудно понять это, ведь мы – протоки, а они – запруды. Атакующие орали до рвоты, разбивали кулаки о створки дверей, ломали ногти, пытаясь вскарабкаться по водосточным трубам, раздирали на себе одежду, тряслись до тошноты, в бешенстве размахивали цветными фонарями, посылавшими в толпу пестрые блики.

За ужином Лот еще хорошенько выпил, и к чувству гостеприимства у него добавился воинственный дух, чему он несказанно обрадовался. Стоя на ветхом балконе, шатающемся над головами разъяренной толпы, он стал подначивать соседей:

– Вам нужны мои гости? Не получите вы их! Они под моей защитой, под защитой Лота, сына Лота! Вот увидите, я ни перед чем не отступлю, чтобы защитить их!

И он побежал в дом за луком и стрелами.

– Не подвергайте себя опасности из-за нас, – сказал ему Аф. – Нам ведь на самом деле ничего не грозит.

– Гостеприимство – это святое, – ответил Лот, – и здесь я в грязь лицом не ударю.

Кезеф удивился:

– А нас уверяли, что во всем Содоме не найти ни одного праведника.

– Верно, ни одного! – согласился Лот.

– А ты?

Тот рассмеялся им прямо в лицо.

– Я? Праведник? Сразу видно, что вы пришли издалека!

Внезапно, взглянув исподлобья на дочерей, он нахмурился.

– Мы знаем, что от нас требуется. Вы – мои гости. Вот и всё.

Он вернулся на балкон и выстрелил. Стрела со свистом пролетела над морем голов, волнующимся у него под ногами.

Черни только того и надо было: не попавший в цель выстрел довел всеобщую истерию до крайней точки. Невзирая на чрезмерную тяжесть своих тел, люди забирались друг на друга, образуя пирамиды, которые, раскачиваясь, как в цирке, стали приближаться к балкону. Компания гермафродитов, вырвав где-то кусок бронзовой решетки, собиралась таранить ею дверь. Отряд

лесбиянок подносил хворост и солому.

– Муж мой! – кричала за спиной у Лота его жена. – Ты хочешь, чтобы нас разорвали на куски из-за этих чужеземцев. Открой двери. Может быть, они иудеи или гоморреяне.

Девицы, объятые ужасом и восторгом, забились в угол комнаты. Что-то наконец происходило и в их жизни. С восхищением взирали они на отца, которого на сей раз пьянство довело до геройства.

Лот и правда видел, что дела его плохи, но ему было уже все равно. Круши, ломай! Гори всё синим пламенем! Пусть он погибнет, но чужеземцев он спасет! А тем временем живая пирамида уже покачивалась на уровне балкона и какой-то ярмарочный борец, устроившись на плечах своих приятелей, брызгал слюной ему прямо в лицо.

– Стоять! – закричал Лот и, схватив дочерей за волосы, выволок их на балкон. – Чего вам надо? Свежатинки, молодого мясца? Вот вам! А гостей моих не трожь!

На это нельзя было смотреть без смеха: старый пьяница, которого вот-вот зажарят в его собственном доме, предлагал в качестве выкупа то, что вышло некогда из его чресл. Весь Содом разразился безжалостным хохотом:

– Ишь чего выдумал! Да мы и так твоих дочек возьмем, и жену в придачу – пусть прокаженные позабавятся!

Ангелы стояли не двигаясь и не проронив ни слова. Ничто не мешало им подняться в воздух и исчезнуть среди звезд. Но не такова была их миссия.

Толпа, вконец развеселившись, орала:

– Ангелов в кастрюлю!

Очень уж искусительно это было – вроде как животина, а на самом деле совсем наоборот. Куда интереснее проскакать верхом на ангеле с его шуршащими крыльями и встопорщенными перьями, чем на какой-то там козе!

Дверь трещала под ударами. Горела солома. Борец уже ухватился за перила балкона.

– Глаза! Мои глаза!

Тысяча голосов – один крик.

Кезеф лишь поднял руку и выпустил одну триллионную заключенного в ней света. Пирамида рухнула, и все жители Содома завертелись на месте, зажав глаза руками; они толкались, шатались, пихались, валялись по земле, кусали друг друга и себя самих, в ужасе разевая рты, в которые тут же набивались помои из сточной канавы. Когда глаза перестают видеть, остается лишь ненавидеть, если только иные глаза, подобно павлиньему хвосту, не раскроются во мраке души: таков человек.

Аф и Кезеф не могли больше сдерживаться. Они заплакали.

Эти существа, которые еще час назад сплетались в диких объятиях, находя в этом радость и удовольствие, покрытые царапинами – то были ласки, и следами укусов – то были поцелуи, – все они кричали: «Мои глаза!», и ни один из них ни разу не воскликнул: «Твои глаза!» Да, несомненно, эти люди, созданные по образу и подобию Божьему, были смертельно больны, рак «я» сделал свое дело. Какая жалость!

Соленая вода струилась из ангельских глаз, покрывая землю бесконечно соленой солью Господа. Видно было, как горожане в мгновенье ока побелели и окаменели, как были, застыли они на месте: кто повалившись на землю, кто стоя на коленях, кто сжавшись в комок, кто на бегу, с поднятыми руками, раскрытым ртом… А горячие слезы двух ангелов все катились на мир – четыре неиссякающих потока.

Заслонив рукой глаза, Лот воскликнул:

– Что принесли вы нам, чужеземцы?

Сквозь слезы Аф ответил:

– Гнев Божий.

А Кезеф добавил:

– Сострадание Божье.

И снова Аф:

– Когда же люди поймут, что это одно и то же?

Взошла луна. В Содоме все было бело, слабо поблескивали в лунном свете мохнатые кристаллики.

Поднялся ветер, и воздух наполнился кристаллической пылью. Легкой-легкой. В Содоме почти не осталось тяжести и непрозрачности.

Аф взял Лота за руку, Лот взял за руку жену; Кезеф взял за руку их дочерей. Они вышли из города. Шагая, ангелы повторяли им: «Не открывайте глаз, не оборачивайтесь, не смотрите назад», ибо они знали, что бывает с людьми, которые глядят на сострадание Божье. Лот, окончательно протрезвевший, повиновался беспрекословно. Дочери тоже послушно шли за ведущим их ангелом. Жена же Лота все думала о том, как тяжело будет начинать жизнь сначала на новом месте. Она была привязана к Содому, конечно, там были свои недостатки, но там она была дома. Она не одобряла Господа Бога, который принял для очистки города столь энергичные меры. Вдруг она вспомнила, что ее любимый котелок – она просто не представляла себе, как она сможет без него готовить, – так вот, этот котелок остался там. Она вырвала свою руку из ладони мужа:

– Погоди, я сейчас только схожу…

Она повернулась и открыла глаза.

Было уже утро. Сверкающая пустыня простиралась перед нею. Там и тут поднимался туман: это испарялись ангельские слезы. Похрустывали мохнатые от соли пальмы. На земле валялась кукла в одежде из соли. Вдали тихо завывал ветер. Бесчисленные призмы сияли всеми цветами радуги под солнцем, белый диск которого едва угадывался сквозь завесу облаков. В воздухе летала соляная пыль. Глаза женщины втянули ее в себя, как две. воронки. Она не успела вскрикнуть, превратившись в сталагмит каменной соли.

Товарищи

В 1920 году в Гранд-Отель-де-Рюсси на улице Сен-Поль пахло кипяченым кофе. По утрам повсюду раздавался нетерпеливый стук кулаков в двери уборных.

У Жермены все пальцы были исколоты латунными проволоками, которые она сгибала под прямым углом – по одной каждые три секунды – для органных педалей. Она носила стоптанные коричневые туфли, штопаные нитяные чулки, юбку по самые щиколотки и блестящую розовую кофточку из искусственного шелка, плоскую, как мужская рубашка. По воскресеньям она надевала шляпку. У нее никого не было, но, тем не менее, она блюла себя. Отец ее погиб на войне в 1917 году. Мать просто умерла. Скорее от усталости, чем от горя.

Жермена боялась мужчин. Старшего мастера, хозяина-овернца, хулиганов, полицейских, господ с нафабренными усами. Вообще мужчин. Чтобы не видеть их, она ходила опустив глаза.

В первый раз она увидела того иностранца на лестнице. Она поднималась, а он спускался. Много месяцев их подошвы стряхивали уличную грязь на один и тот же коврик у двери, их ладони полировали одни и те же шаткие перила, но они ни разу не встретились, потому что она сгибала свои проволоки днем, а он мыл вагоны для перевозки скота ночью. Он прижался к стене.

Она не привыкла к таким проявлениям воспитанности и испугалась, что он может ухватить ее за талию, когда она будет проходить мимо. Между ними был целый лестничный пролет, и какое-то мгновенье они смотрели друг на друга. Она знаком предложила ему спуститься первому. Он знаком ответил, что не спустится. Тогда она почти злобно прокричала ему: «Да спускайтесь же!» Но он только покачал маленькой головой с выступающими скулами.

Когда, набравшись храбрости, она стала наконец подниматься, то почувствовала запах одинокого мужчины. Маленький иностранец без возраста был одет в куртку с огромными накладными карманами на груди – слишком длинную, слишком широкую для него, с прорехой на рукаве – и в брюки защитного цвета, стянутые на лодыжках резинками. Верхняя часть ботинок была примотана к подметкам проволокой. Изможденное лицо, на котором непонимание граничило с ужасом, обернулось вслед Жермене, как если бы мимо пронесли дароносицу со Святыми Дарами.

Через неделю они встретились опять. На этот раз она решилась произнести: «Добрый день, мсье».

Он ответил легким поклоном. Мелкие оспинки вперемежку с веснушками покрывали его потрескавшиеся щеки.

Жермена попробовала навести справки у хозяина-овернца. В ответ она услышала имя, которое невозможно было выговорить. «Знаете, он из этой, как ее…» Он назвал страну, географию которой Жермена знала наизусть еще со школы: «Обширная равнина, богатая пшеницей, населенная варварами…»

Вечером она поднялась наверх, постучала в дверь маленького иностранца, вошла, не дожидаясь ответа, и стала его любовницей.

Уже в его объятиях она увидела, что на правой руке у него – обручальное кольцо, а на левой не хватает трех пальцев.

Она долго гладила лысоватую голову своего первого возлюбленного с редкими, рыжими с проседью волосами. «Мой маленький, только мой», – шептала она, а он всхлипывал, шмыгая носом, прижавшись лицом, как к подушке, к ее тощей плоской груди.

В первый раз эти слезы удивили и чуть ли не обидели ее. Но она ведь сама пришла к нему – такому, какой он есть. Она привыкла.

Иностранец овладевал ею всегда тяжело вздыхая и только в темноте. После недолгих объятий – это походило на физиологический рефлекс – он начинал плакать и бормотать, задыхаясь, непонятные слова, которые она истолковывала как «Нет-нет, я не имею права».

– Это из-за этого? – иногда сочувственно спрашивала она, трогая его обручальное кольцо.

Он с раздражением протестовал, причем она переводила его ответ по-своему: «У тебя только женщины на уме!»

Любовники говорили на разных языках и поэтому не вели бесед. Непривычные к роскоши, они и не целовались. Когда мужчина, всхлипывая, засыпал, она долго лежала, прижимая его к себе и глядя в темноту. Она научилась улыбаться в одиночестве, упиваясь расцветшим внутри нее новым миром, радуясь этой здоровой способности быть счастливой. Она не узнавала себя.

Однажды вечером она пришла, когда он еще ел. Он собрал с газеты, служившей ему скатертью, крошки паштета и хлеба и благоговейно, прикрыв глаза, высыпал их себе в рот.

В порыве неведомого ей доселе сострадания она бросилась к нему и, когда он уснул, дольше обычного укачивала его всем своим телом. Она видела, как блестят в падающем из окна синем свете лысый череп, покрытый капельками пота, мокрое от слез костлявое плечо и два расплывчатых глаза, казавшиеся большими-большими под увеличительными стеклами слез. Наконец они закрылись.

Тогда Жермена увидела сон.

Сначала она увидела натянутую до предела и мучительно пульсирующую малиновую слизистую оболочку. Не ведая откуда, но она знала, что это – ноздри скачущей во весь опор лошади. Неровные хрипы сотрясали бока лошади. Она была на грани смерти. Но она все скакала. Ее вены набухали все больше и больше, готовые разорваться, но этого не происходило.

На поверхности земли показались человеческие лица. Коричневые пятна покрывали лбы. У некоторых рот был открыт, черная земля обволакивала язык, скрипела на зубах. Вокруг покачивались на травинках навозные жуки с жесткими кольчатыми брюшками. Один из них вполз в чье-то ухо. Остановившиеся прозрачные глаза все еще занимали свое место в глазницах.

И все эти мертвые глаза были обращены в одну точку в пространстве, находившуюся очень высоко позади Жермены. Она обернулась и, чуть не свернув себе шею, увидела парящую в небе птицу.

«Гриф», – подумала она.

И удивилась: «Откуда я это знаю? Ведь я никогда не видела грифа».

Ангел обетования

Не было, казалось, человека, менее предрасположенного к чудесам, чем Симеон из колена Завулонова.

Знатный, одаренный, он прилежно посещал Храм, был щедр к бедным, заботился о том, чтобы ноги его всегда были умащены благовониями, а одежды шафранно-желтого или золотисто-розового цвета ниспадали до земли красивыми складками: поистине то был достойный человек. Никто не соблюдал субботу с большей строгостью, чем он, но в другие дни он умел веселиться. Он не грешил ни саддукейской умеренностью, ни фарисейской кичливостью. Он не ел ни мяса хамелеона, ни улиток,[11] но знал толк в винах острова Хиос – родины великого Гомера. Он не отрицал бессмертия, но и не настаивал на его существовании. Он знал наизусть Закон и Пророков, но в беседах с просвещенными друзьями чаще цитировал Анакреона.

Если и была в его иудейском благочестии какая-то странность, она заключалась в его постоянном, каждодневном, страстном ожидании Мессии – того самого Мессии, чье пришествие предсказывали Моисей, Исайя, Иеремия, Захария, Михей и Псалмопевец. Но он никогда не говорил об этом. Никому. Лишь во время ночной молитвы в тайниках своей души он осмеливался шептать:

– Если б только даровано мне было увидеть Мессию прежде, чем умереть!

Симеона связывали узы дружбы с первосвященником Елиазаром. Когда он видел его в полном облачении, сверкающего драгоценными камнями, звенящего колокольчиками, подвешенными к подолу ризы, украшенного пекторалью с двенадцатью самоцветами – символом двенадцати колен Израилевых, увенчанного диадемой с начертанным на ней Именем Господа, он благоговейно преклонялся пред его величием. Во время же дружеских встреч неизменное уважение его принимало более непринужденный оттенок. Однажды Елиазар сказал ему:

– Я хотел посоветоваться с тобой, Симеон, относительно царского приказа, который я только что получил.

Симеон, естественно, мечтал о независимости Израиля, но александрийская династия Лагидов всегда так благосклонно относилась к еврейскому народу, что Симеон не мог не питать доброго чувства к правившему в ту пору царю Птолемею.

– Ты оказываешь мне великую честь, – ответил он. – Зачем столь мудрому мужу спрашивать совета у скромного схолиаста,

[12] каковым я являюсь? И не Господь ли должен быть твоим советчиком?

Они сидели рядом на террасе, устроенной на кровле Симеонова дворца. Вся терраса была усыпана цветочными лепестками, которые Симеон лениво ворошил пальцем ноги. Солнце уже село, и Иерусалим из розового медленно становился лиловым. Вокруг порхали почти невидимые рабыни: оставив опахала из пальмовых листьев, они держали теперь наготове прохладительные напитки. Елиазар понимающе улыбнулся. Симеон и не думал провести священника своей чрезмерной скромностью.

– Да, правда, ты не левит и не священнослужитель, – сказал Елиазар, – но ты ведь не будешь отрицать, что тебе даровано особое вдохновение? Неужто, переводя на арамейский язык мысли, высказанные по-сирийски, или излагая по-еврейски содержание трактатов, написанных в заморских краях римлянами или пунийцами, ты просто заменяешь одно слово другим. А может, это ангел, перелетая с одного языка на другой, помогает тебе переводить и то, что сокрыто между словами?

– Если и есть такой ангел, – ответил Симеон, – первосвященник должен знать его лучше, чем я, ибо это – Загзагиил, князь Мудрости, открывший Моисею неизреченное имя и пришедший затем за его душой. Известно, что ему ведомы семьдесят языков, почти в десять раз больше, чем мне, и я всегда считал его покровителем толмачей и переводчиков.

– Приказ Птолемея как раз и касается перевода, – сказал Елиазар, не желая обсуждать столь деликатную тему.

Симеон, любивший поддразнить своего именитого друга, ответил:

– Кстати о Птолемее, говорят, он воздвигнул на острове маяк невероятных размеров, на свет которого плывут корабли от Триполи, Кипра и Крита. Будто бы также он задумал построить в Александрии библиотеку и Мусейон, каких еще не видывали во всем свете.

– Он еще не то задумал. Маяки рушатся, библиотеки горят, а музейные коллекции в конце концов рассеиваются по миру, Птолемей же собрался содеять непреходящее благодеяние. Он решил дать свободу ста тысячам евреев, вывезенных его предками и обращенных ими в рабство. Царь выкупит этих рабов у своих подданных по двадцать драхм за голову и предоставит им по их выбору либо жить свободными людьми в Александрии, либо вернуться на родину.

– Двадцать драхм! Недорого же он ценит евреев! Или же наши собратья окончательно обессилели на александрийских

хлебах?

– Ты все шутишь, Симеон. Наши братья – лучшие солдаты в армии царя Птолемея, и он милостиво решается расстаться с ними лишь для того, чтобы доставить нам удовольствие. А ведь это будет стоить ему не меньше четырехсот талантов серебра!

– Царь добровольно расстается с богатством? Неужто что-то новое произошло под этим солнцем? – удивился Симеон, разглядывая свою ступню с удлиненными и красиво очерченными пальцами.

В это мгновенье легкий ветерок пробежал по долине, прошелестел в кипарисах, всколыхнул пшеничное поле, покрыл рябью водоемы с питьевой водой, вымел городские валы и замер среди лепестков на крыше. Сам не зная почему, Симеон вдруг задрожал всем телом, как если бы это донесшееся ниоткуда дуновенье принесло ему ответ на только что произнесенные слова.

– Да, произошло что-то новое, – серьезно произнес Елиазар. – Ты знаешь, Птолемей – государь просвещенный, страстно приверженный всяческим наукам. Его посланцы ездят по всему миру в поисках новых книг. Знаешь ли, сколько томов и свитков хранится в его библиотеке? Назови цифру.

– Не имею представления.

– Представь себе, он тоже, ибо он хочет иметь все, что было написано где бы то ни было, когда бы то ни было, на каком бы то ни было языке. Он считает, что библиотека, не содержащая в себе всех книг, написанных в мире, просто смешна. В Александрии должно быть собрано все знание, вся мудрость мира.

– Почему бы и нет? Ему только трудно будет угнаться за новинками при той-то скорости, с какой греки пекут свои великие творенья.

– До греков нам дела нет. Угадай, чего он хочет от нас.

– Откуда мне знать, – отозвался Симеон, который уже догадывался, в чем дело.

– Закон и всех Пророков.

– Ну что ж. Прикажи переписать их для него.

– Ты не понял, Симеон. Царь Птолемей хочет иметь Закон и Пророков… по-гречески.

Старцы переглянулись.

– Я всегда считал, – сказал Симеон, – что Тора не может быть доступна ни на древнееврейском, ни на арамейском, ни на мидийском, ни, конечно же, на греческом, что она должна существовать только на еврейском языке и при этом в ассирийском написании… Но ты – первосвященник, – добавил он с той почтительностью, из-за которой многие считали его

человеком равнодушным или даже скептиком.

Елиазар поднялся и подошел к краю крыши. – Иногда я спрашиваю себя, – промолвил он, – веришь ли ты хоть во что-то.

– Правильнее было бы сказать, что я верю в Кого-то, – ответил Симеон на этот раз совершенно серьезно. – Я верю в незримого Господа, имя Которого неизреченно. И верю я в Него потому, что все остальные верования кажутся мне смехотворными. Как можно верить в двенадцать богов, как это делают греки, или в двух, как последователи зороастризма, или же вообще ни в одного, как афеи? Выбирая между абсурдом и тайной, я ставлю на тайну, Елиазар. В любом случае, – заключил он уже в более легком тоне, – имея такого ревнивого Бога, как наш, так спокойнее.

Елиазар нахмурился: его друг зашел слишком далеко. Впрочем, Симеон и сам это почувствовал.

– Да простит мне Сущий мои речи. Надо верить в Бога, раз уж ты им не являешься, и ты прекрасно знаешь, с каким рвением я совершаю все наши обряды.

Но он был поистине неисправим, а потому прибавил:

– Даже когда я их не совсем понимаю.

– То есть?

– Ну, например, почему нам можно есть голубей, кузнечиков и жвачных животных, а тушканчиков – нельзя? Нет, правда, меня всегда как-то непреодолимо влекло к тушканчикам.

– Все очень просто, – ответил Елиазар. – Ни голуби, ни кузнечики не прибегают ни к какому насилию для уничтожения своих собратьев; пережевывание же пищи символизирует память, а мы должны постоянно помнить о Господе и о тех чудесах, что он совершает ради нас; что касается тушканчика – это зловонное животное зачинает через уши, а производит потомство через рот. Согласись, что это не способ.

Елиазар говорил в высшей степени серьезно, и Симеон, понимая, что друг хочет напомнить ему о незыблемости Закона, ответил ему в том же тоне:

– Я позабыл об этой особенности тушканчика. Но вернемся же к переводу. Так ты думаешь, что нам позволительно делиться нашим наследием с язычниками?

Елиазар снова сел.

– Я не уверен, что это позволительно, но убежден, что это необходимо. Ты же не думаешь, что Птолемей со своей жаждой обладания всею мировой культурой может меня провести. Он, конечно же, государь просвещенный и любознательный, но что он хочет прежде всего, так это узнать как можно больше о верованиях подвластных ему народов, чтобы крепче привязать их к себе. Это говорит о том, что он – хороший царь, но, в общем-то,

это не наше дело, ибо Диаспора – это тоже мы, и чем менее она будет эллинизирована, тем лучше. Однако вещи надо принимать такими, каковы они есть. Как ты думаешь, сколько иудеев из тех ста тысяч, что вот уже на протяжении нескольких поколений живут в Александрии – не считая других ста тысяч, что будут скоро освобождены, – так сколько из них, думаешь ты, понимают еще еврейский язык? Ну, раввины, конечно, да и то не все… Ну, кое-кто из стариков… Но чтобы бегло читать по-еврейски… Нет, Симеон, если мы действительно хотим, как это нам надлежит, чтобы народ наш читал Закон и Пророков до скончания времен, они должны быть переведены на греческий язык. Птолемей считает, что он работает на себя; на самом же деле он работает на нас. И это мне нравится.

У Симеона не было твердого мнения по этому вопросу. Надо ли открывать всему свету слова Господа, обращенные к Его избранному народу, или же следует продолжать хранить их в тайне? Он не знал. Просто он не очень-то верил в возможность сохранять что-то в тайне слишком долго, кроме того, он был знаком с множеством ученых самых разных племен и не имел против них никакого предубеждения. Он не осмеливался говорить об этом вслух, но для него действительно не имело особого значения, прошел ли Платон обряд обрезания или нет.

– Я охотно разделяю твою точку зрения, – сказал он Елиазару. – Еврейский язык действительно более священен и могуществен, чем остальные, ибо именно его избрал Господь для того, чтобы дать Моисею Свои заповеди, но, если его перестали понимать, надо со смирением воспользоваться другим. Впрочем, что плохого в том, что греки узнают, кто мы и во что верим? Мне не хотелось бы, чтобы они все вдруг обратились в нашу веру, – боюсь, тогда мы захлебнулись бы в таком количестве новообращенных, – но наш Закон столь строг, а они так привержены наслаждениям, – нет, не думаю, чтобы нам грозило что-либо подобное.

– Я счастлив, что мы пришли к согласию, – промолвил Елиазар, – ибо, если говорить начистоту, я очень рассчитываю на тебя. Надеюсь, ты не откажешься войти в состав корпуса переводчиков, который отправится в Александрию, как только оттуда прибудут царские послы. Птолемей просил, чтобы вас было по шестеро от каждого колена Израилева. Очевидно, он опасается, как бы по сговору текст не был извращен в том или ином смысле. Но мы будем играть с язычниками открыто. Они хотят знать нашего Бога – они узнают Его, чего бы им это ни стоило.

На этом первосвященник удалился.

Проводив его с подобающим почтением, Симеон вновь поднялся на террасу и остановился в раздумье. Небо, усеянное звездами, казалось, стало ниже. Странное ощущение! Симеон принялся молиться. По правде говоря, Елиазар заронил сомнение в его душу: неужели Мессия, когда он наконец явится миру, должен будет говорить по-гречески? Ужасно ли это или просто немного странно?…

В смятении Симеон стал повторять вполголоса свои любимые псалмы – те, в которых особенно ясно говорится о пришествии Мессии:

«Господь сказал мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе…

…Сказал Господь Господу: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие Твое.

…Там возращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику Моему».

С каждым стихом ему казалось, что темневший все больше и больше небосвод опускался все ниже и ниже. Еще немного – и он сможет, подняв руку, дотронуться до него.

Это происходило – это нелегко осмыслить нам, ангелам, которым ведомы лишь молнии и зоны, – за две или три сотни лет до пришествия на землю Сына Божьего.

* * *

Возвратились из Александрии отпущенные на свободу евреи, и в Иерусалим приехали царские послы, нагруженные великолепными дарами.

Был среди этих даров жертвенный столик из чистого золота, инкрустированный драгоценными камнями, которые образовывали гирлянду из виноградных гроздьев, колосьев, яблок, оливок и гранатов, опоясывающую его со всех сторон. Четыре ножки в форме лилий словно вырастали из постамента, увитого плющом и виноградом. При всей роскоши и великолепии столик выглядел скромно, в полном соответствии с предписаниями иудейской веры.

Были там и два кратера, покрытых золотой чешуей и украшенных сетчатым орнаментом с вделанными в него кабошонами, а также три кратера из серебра, таких гладких, что в них можно было смотреться, как в зеркало.

Было там пятьдесят чаш: двадцать – золотых с чеканным изображением венков из винограда, плюща, мирта и олив и

вставками из драгоценных камней, а тридцать – серебряных, восхитительных в своей простоте.

Кроме того, было там сто талантов серебра, предназначенных для приобретения жертвенных животных.

Подарки были выставлены для всеобщего обозрения, и народ проникся к царю глубоким уважением.

Елиазар повернулся к Симеону и шепнул ему на ухо:

– Не менее пятидесяти тысяч камней, а ведь они в пять раз дороже золота! Воистину эти язычники заслуживают хорошего перевода!

Симеон не ответил. Сначала отпустить на свободу сто тысяч рабов, потом эти непомерно дорогие подношения, хотя, в конечном счете, ни один подарок не стоил и одной строчки Торы… Во всем этом угадывалось какое-то языческое коварство, смысл которого ускользал от Симеона, а может, еще что-то более таинственное, какой-то переворот в мировом устройстве, космическая перетасовка, новое истолкование Божьего промысла. Означало ли это, что иудеи были правы, собираясь поделиться с другими народами одним им ведомой истиной, или все это приведет к неслыханным бедствиям?…

Возможно ли, чтобы каким-то непостижимым образом события эти были связаны с пришествием Мессии?

Симеон все повторял слова своей молитвы:

– Господи, даруй мне увидеть Его, прежде чем я умру.

* * *

Переводчики отправились в Александрию с караваном, но Симеон и еще несколько человек предпочли ему удобство и опасность морского путешествия.

Как только нос корабля разрезал воды «фиолетового моря», Симеон, знавший «Одиссею» почти так же хорошо, как и Книгу Бытия, почувствовал, что он попал в иной мир и пути назад ему, возможно, уже не будет.

Сын пастуха, выросший в каменистой пустыне и знавший ее как свои пять пальцев, он ощущал, как деревянный настил колеблется у него под ногами, видел, как поблескивает на солнце простирающаяся вокруг морская стихия, и то повторял про себя «Thalassa, thalassa![13]», вспоминая Фукидида, то шептал вслед за Псалмопевцем: «Как многочисленны дела Твои, Господи!.. Это море – великое и пространное: там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими…» Ему казалось, что не осталось в мире ничего незыблемого, определенного, кроме той

истины, что все неопределенно. За исключением, конечно, того, что само понятие определенности, заложенное в человеке Господом, требовало, чтобы эта определенность существовала хоть где-нибудь.

Днем, наклонившись поверх кормы, Симеон восхищенно наблюдал за прыжками сопровождавших корабль дельфинов, с умилением вспоминая о чудесных приключениях создателя дифирамба Ариона, вынесенного их собратом из пучины, и смеясь над Эзоповой басней «Обезьяна и дельфин». Ночью, стоя на носу, он любовался отражением Артемиды – искрящейся бороздой на глади моря, а затем возвращался на корму, чтобы увидеть, как заря раздвинет своими розовыми перстами завесу, скрывающую восток. Бриз, напоенный запахом йода и ароматами пищи – дозволенной (морские животные, наделенные плавниками и чешуей) и недозволенной (морские животные, не имеющие плавников и чешуи), наполняя паруса, щекотал ноздри Симеона, ерошил его легкие, седые как лунь волосы, раздувал его одежды, сладострастно нашептывая ему на ухо, что вот он и попал в мир, где никто никогда не слыхал ни о Завете, ни о Левите, ни о Второзаконии.

– Ну так вот, – отвечал он, – они и прочтут их.

И каждый день, лежа в постели, в ночной тиши, не нарушаемой ничем, кроме тяжелого плеска волн, он молился ангелу Загзагиилу:

– Загзагиил, – обращался он к нему, – ты, ангел Неопалимой Купины, ты, Наставник ангелов, ты, кто так часто приходил мне на помощь, когда я сталкивался в моих переводах с несравнимо меньшими трудностями, сделай так, чтобы я не дрогнул в этом испытании. Я прекрасно понимаю, что мне и моим товарищам предстоит преобразить мир, ибо истина Господня не прольется на него, пока не будет вскрыта форма, в которой она заключена. Буду ли я трудиться вместе с остальными над всеми священными книгами сразу или на меня будет возложена ответственность лишь за один из текстов, – сделай так, прошу тебя, чтобы моему разуму был доступен не только еврейский язык – язык оригинала, но и сама мысль Господа, что в нем содержится, ибо и оригинал в данном случае есть только перевод. В сущности, что такое перевод, как не восхождение от языка оригинала к идее, что может быть выражена на любом наречии, и последующее нисхождение к языку перевода? Ведь речь идет не о каком-то снование туда-сюда, от одного языка к другому, а о движении сначала восходящем, затем нисходящем, о тройственной игре, в которой задействованы два языка и одна идея, а не просто два языка. Иначе и быть не может. И если вначале язык управлял

мыслью, а не наоборот, то как сделать, чтобы язык перевода привел бы нас в конце концов к той же самой мысли? Что ты об этом думаешь, ангел Загзагиил? Скажешь, нет идей, есть только языки и следует довольствоваться той приблизительностью, которую они могут нам дать? По сути, кто мы такие, мы – переводчики? Плуты, идущие на разные уловки, искусные мастеровые или поэты, ищущие в словах истину, готовые перевернуть каждое словечко, чтобы понять, что за ним сокрыто?

Море по-прежнему покачивало с легким плеском корабль, Загзагиил молчал.

Однажды ночью, когда Симеон стоял на палубе, ему показалось, что он обнаружил новую звезду, сиявшую низко над горизонтом на юго-западе, прямо по ходу корабля. Она горела красным огнем, одновременно сильным и бледным, то вспыхивая, то затихая.

– Что это? – спросил Симеон у лоцмана.

Тот ответил:

– Мы почти у цели. То, что ты видишь, – это новый маяк, который велел построить наш государь, чтобы мы плыли на его свет. Теперь наши корабли больше не будут разбиваться о береговые скалы.

Кивая, как лошадь на манеже, корабль мчался по мелкой зыби на свет новой звезды, зажженной в небе по воле царя. Рассвело, поднялось солнце, и Симеон увидел шестигранную трехъярусную башню белого мрамора, стоявшую посреди порозовевшего моря; на вершине ее горел невидимый при дневном свете фонарь. Он прикинул, что головокружительная высота этого сооружения равнялась примерно тысяче локтей, почти столько же было в Великой Пирамиде. Грекам было мало, что они избороздили все Средиземное море, они стали расставлять в нем свои маяки. Вот уж действительно знак новых времен. Симеону это и нравилось и не нравилось.

Маленький взъерошенный человечек рядом с ним презрительно сопел, пожимая плечами. Это был Исах из колена Гадова, переводчик, являвший собою полную противоположность Симеону. Неуклюжий грубиян и ворчун, убежденный в превосходстве Израиля над всем остальным миром не только в религии, но и во всех других областях, он преуспел в изящном искусстве перевода лишь благодаря своему упорству.

– Ах-ах! – проворчал он, с ненавистью разглядывая башню, похожую на белую восковую свечу, розовеющую в лучах восходящего солнца. – Помнишь, что случилось с Вавилонской башней из Книги Бытия? Так вот с этой будет еще хуже.

– Почему же хуже? – спросил Симеон.

– Потому что ее построили гои, – отрезал Исах.

Обогнув остров Фарос, корабль входил в александрийскую гавань.

* * *

У царя Птолемея была большая трапециевидная борода, слегка загибавшаяся кверху. Ни один волосок не выбивался из нее. Он носил белые льняные одежды, затканные золотыми нитями. Своих гостей он принял с самой утонченной светскостью.

Не заставляя семьдесят двух старцев ожидать в течение, по крайней мере, пяти дней, как это было обычно принято, он велел призвать их к себе, как только прибудут и те, кто плыл на корабле, и те, кто ехал с караваном. Когда все старцы выстроились перед ним полукругом на порфировых плитах, отполированных так, что казалось, будто их не семьдесят два, а сто сорок четыре, он приветствовал их в самых изысканных выражениях.

Тогда евреи достали из чехлов привезенные ими тридцать шесть свитков с тридцатью шестью книгами Закона и Пророков и с хрустом развернули их перед царем. Все заглавные буквы были выведены чистым золотом, а пергамент склеен так искусно, что казалось, будто свитки сделаны из цельного куска. Царь благоговейно переводил взгляд с одного свитка на другой. Затем он распростерся на полу, поднялся, снова пал ниц, и так семь раз.

– Благодарю вас, друзья мои, – промолвил он, – а еще больше – тех, кто вас послал, и превыше всех – Господа Бога, от имени Которого вещают эти письмена.

Старцы были тронуты столь лестным приемом – все, кроме Исаха, который пробурчал про себя:

– Интересно, какую из своих штучек приготовил нам этот лицемер.

– Друзья мои, – вновь заговорил царь, – скоро вам предстоит приняться за работу, и вот как мы поступим. Вас семьдесят два человека из двенадцати колен Израилевых, таким образом, выходит, что на каждую книгу, независимо от ее величины, приходится по два переводчика. Чтобы отвести от вас малейшее подозрение, мы сделаем так, чтобы эти два переводчика не принадлежали одному племени. Наоборот, мы соединим представителя первого колена с выходцем из двенадцатого, второго – с одиннадцатым и так далее, чтобы старец из колена Левия трудился бок о бок с потомком Нефталима, а потомки Иуды и Дана протянули друг другу руку помощи. Между собой

эти пары общаться не будут так, чтобы каждая сполна отвечала за свою работу. Угодно ли вам будет разбиться на пары указанным мною образом?

В зале послышалось движение. В отличие от евреев Диаспоры, евреи Иерусалима не придавали особого значения своей принадлежности к тому или иному колену, так что все эти предосторожности Птолемея показались им если не обидными, то, по крайней мере, несерьезными. Но в конце концов они согласились. Старцы из рода Рувима встали напротив потомков Вениамина и выбрали себе партнеров, а потомки Завулона объединились с потомками Гада. И поскольку Симеон не придавал этим пустякам ни малейшего значения, он оказался в одной команде с Исахом, которого никто не хотел брать себе в напарники.

– Поостерегись, сын Завулона, – приветливо сказал ему этот провидец, – даже в угоду ста языческим царям я не спущу тебе ни одной неточности, так и знай.

Симеон снисходительно взглянул на него:

– А я-то думал, что искусство перевода – единственное в мире совершенно чистое искусство, ибо оно меньше других затрагивает гордыню!

Исах ответил ему исподлобья разъяренным взглядом.

– Друзья мои, – сказал царь, когда каждый избрал себе напарника, – а теперь вы разыграете между собой тридцать шесть книг Завета вашего Господа, или, если вам так больше по душе, Моисей, Иисус Навин, Иезекииль и остальные разыграют по жребию ваши команды.

С тихим любопытством Симеон ожидал, какая часть Завета выпадет на его долю. Он любил и почитал все Писание, но были у него и особо любимые места. Суждено ли ему передать по-гречески аллегорическую краткость книги Ионы или глубоко символичный эротизм Соломона? Он часто думал, что, родись он греком, он хотел бы стать поэтом. Благочестивому иудею такое роскошество не пристало, а Симеон признавал, что тот, кто любит Бога больше, чем себя самого, не должен помышлять о творчестве. Однако он находил утешение в своем ремесле переводчика: перевод не создает никакой опасности чрезмерного разрастания «я», но опьяняет при этом не хуже сочинительства. Переводчик – всего лишь раб, умеющий угадывать желания своего господина, а это не запрещено.

Когда пришла очередь Симеона и его напарника тянуть жребий из золотой плетеной корзины, он послал Исаха. Тот вернулся сияющий: они вытянули Исайю.

– Ну, по крайней мере, здесь невозможен никакой

компромисс! И никакой жалости к Вавилону.

Симеон тоже был в восторге, ибо из всех пророков Исайя лучше всех предсказал пришествие Мессии. Однако в приступе интеллектуальной горячки он все же призадумался о том, каким образом переведет он пышную образность этого духовидца. Как математически точным языком Платона поведать о «горящем угле», которым коснулся уст пророка серафим, или о шести крыльях этого самого серафима, двумя из которых он закрывал лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал? Не станут ли греки смеяться над столь причудливыми видениями?

В первый вечер царь пригласил своих гостей на пир, где предложил им занять ложа в порядке старшинства: тридцать шесть по его правую руку и тридцать шесть по левую.

– Пусть ничто вас не тревожит, – сказал он им с особой предупредительностью. – Меню составлено с учетом ваших священных обычаев. Вам не подадут ни одного кушанья, которое считается у вас нечистым. Пейте и ешьте в свое удовольствие.

Чтобы завязать разговор, он обратился к своему соседу справа – то был древний беззубый старик, самый старый из всех, борода росла у него только с одной стороны, – и спросил его:

– Как думаешь ты, друг мой, каким образом смогу я сохранить до самого конца мою власть незыблемой?

Когда старец в ответ посоветовал ему воспользоваться примером Господа Бога с его бесконечным милосердием, царь горячо поздравил его с таким ответом, сердечно поблагодарил и обратился к соседу слева, тучному старику, который ел как людоед:

– А ты, друг, как думаешь: как следует мне поступать в любом деле?

Толстяк прервал на время поглощение пищи и заявил, что, взяв за принцип страх перед Господом, царь убережется от малейшей ошибки. Царь поблагодарил и его, польстив его мудрости, и обратился к третьему старцу по порядку.

После того как десять человек было опрошено и все хорошо поели и попили, царь подал знак, и все разошлись. На следующий день решено было не работать, а как следует отдохнуть после долгого и утомительного путешествия. Вечером всех снова созвали на пир.

Так продолжалось семь вечеров подряд. В шестой и седьмой день Птолемей задал свои вопросы не десяти, а одиннадцати человекам, так, чтобы все семьдесят два старца имели возможность высказаться. Симеон внимательно вслушивался в вопросы. «Как сделать, чтобы мои друзья походили на меня? – спрашивал царь. – Как снискать похвалу тех, кто остается в

проигрыше передо мной? Что такое на самом деле – быть царем? Что заслуживает определения „прекрасное"? Как быть в ладу со своею женой?…» Все ответы, более или менее точные, более или менее остроумные, сходились в том, что Бог есть решение всех проблем, и Симеон радовался единодушию и благочестию, с которыми его соотечественники ответствовали царю. Он надеялся, что Царь задаст трудный вопрос и ему, и в то же время его беспокоил ответ, который ему предстояло дать без всякой подготовки. «Не следует выставлять себя на посмешище». Когда настала его очередь – в соответствии с возрастом (ему было шестьдесят) он был опрошен на четвертый день, – он даже ощутил легкий нервный озноб, что обрадовало его, напомнив школьные годы, когда за плохим ответом следовало хорошее наказание.

– Друг мой, – сказал царь, любезно оборотившись к нему, – я знаю, что царю следует знать обо всем, но подчас дела навевают такую скуку. Как, по-твоему, могу я научиться хорошо слушать?

Симеон задумался.

– Государь, – ответил он, – тебе надо осознать, что в любом знании есть польза. Неважно, интересно тебе то, что тебе говорят, или нет: ты должен все сберегать в глубинах твоей памяти, ибо по сути ты есть лишь первый слуга Своего Величества. А затем, выбирая из этой массы сохранившихся в твоей памяти сведений то, которое тебе будет нужно в тот или иной момент, ты сможешь справиться с любой непредвиденностью, конечно, если на то будет воля Божья, ведь результат наших действий зависит от Него. Если, слушая докучливого докладчика, ты будешь помнить, что царство твое неделимо, что все твои подданные равны перед тобой и стоят один другого, что для государя нет ни маленьких людей, ни маленьких дел, ты будешь с удовольствием выслушивать все, что будут тебе говорить, – и потом тебе останется лишь разложить приобретенные сведения по полочкам.

Симеон был в общем-то доволен своим ответом, хотя ему хотелось бы, чтобы он был поострей. Но, по крайней мере, он тоже сослался на Бога. Царь поблагодарил его, как и остальных, и перешел к следующему.

На седьмой день царь задал свой последний вопрос младшему из старцев:

– Что самое главное в царской власти?

Семьдесят второй ответил:

– Чтобы люди жили всегда в мире, как, впрочем, и живут твои подданные, ибо Господь соблаговолил сохранить твою душу чистой от какого бы то ни было зла.

Поблагодарив его, как и других, может, чуть больше ввиду

его юного возраста, царь Птолемей поднял чашу и предложил осушить ее за здоровье своих гостей.

– Ваш приезд дал мне очень много. Ваша мудрость, которой наградил вас Господь и которую вы столь любезно здесь показали, принесла мне немалую пользу. Отныне каждый из вас будет получать по три таланта серебра в знак моей признательности. С завтрашнего дня вы приметесь за работу. У вас будет семьдесят два дня, чтобы закончить ваш труд, после чего вы дадите его мне на прочтение. Мой библиотекарь Деметрий позаботится о вашем удобстве и снабдит вас всем необходимым. Надеюсь, вам понравится, как мы вас устроим.

Вечер закончился при всеобщем подъеме. Старцы горели желанием поскорее приняться за работу. Все опасения, которые некоторые из них испытывали вначале, улеглись после почетного и ласкового приема, оказанного им царем. Последние сомнения рассеяли александрийские евреи, с которыми они повстречались днем: «Благодаря вам, – взволнованно повторяли они, – мы вновь сможем вкушать мед и молоко нашей веры».

На следующий день в первом часу за ними зашел величественный Деметрий, библиотекарь самой большой библиотеки мира, и препроводил все тридцать шесть команд на остров Фарос, где для них были приготовлены тридцать шесть совершенно одинаковых жилищ.

– Таким образом, досточтимые старцы, вам будет обеспечен полный покой, необходимый для вашего труда. Все кельи состоят из спальни на двоих и рабочего кабинета. Каждой паре будет предоставлена отдельная лодка, чтобы переплывать на ней пролив, а также два раба и писец. Вы будете трудиться до девятого часа вечера, а затем свободно можете заниматься своими делами или сходить прогуляться в город. Готовить для вас будут царские повара. Напоминаю, что команды не должны общаться между собой.

Даже не сходив взглянуть на возвышавшийся над островом маяк, который несколько дней назад вызвал его восхищение, Симеон закрылся в своей келье вместе с Исахом, писцом и свитком Книги Пророка Исайи.

– За работу, за работу, – согласился Исах, похрустывая фалангами пальцев. – Эти идолопоклонники дали нам только семьдесят два дня.

Они начали с заклинания:

«Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего; а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет».

– «Не разумеет»?! – возмутился Исах. – Что же мы, действительно, позволим грекам читать такое? Может, лучше нам написать «не понимает» или «заблуждается»?

– Нет, – сказал Симеон, – разумеет он или не разумеет, но Израиль – народ богоизбранный, надо поведать об этом всему миру и без всякого мошенничества. Пиши, писец!

Писец весело вонзил свой стиль в воск, покрывавший дощечку для письма. В белоснежных проемах окон ярко синело море.

* * *

Писец был совсем молодой юноша, смуглый и веселый, звали его Александром, как добрую половину мужского населения Александрии. Все его веселило и особенно эти два бородача, разговаривавших между собой на языке, из которого он – такой образованный и культурный – не понимал ни слова. Нет сомнений, что эти чужеземные мудрецы казались ему довольно неотесанными – они никогда не бывали в гимнасии, никогда не вели философских споров с прекрасной гетерой, от одной мысли, что человеческое тело можно изображать в виде скульптуры, у Симеона высоко поднимались брови, а у Исаха выступала на губах пена. Но, что бы ни думал Александр об этих евреях, он был рад услужить им и получал истинное удовольствие, когда они поражались его ловкости. Он писал под диктовку с головокружительной скоростью. «Диктуйте быстрее, господа! Не давайте мне простаивать!» – умолял он, сверкая улыбкой, пока ученые мужи бились над переводом таких слов, как «суббота», «серафим» или «престол Господень», спорили о ритме, ругались из-за порядка слов и приходили в конце концов к полному отрицанию всякой возможности перевести что-либо с одного языка на другой. Причем к выводу этому они всегда приходили врозь: то Исах, ероша свою шевелюру, то Симеон, поглаживая бороду. Тогда Александр тихо смеялся, прикрывшись плащом.

Размеры Книги Пророка Исайи позволяли с легкостью уложиться в отведенные семьдесят два дня при условии постоянной и ровной работы. Симеон подсчитал, по скольку строк они должны переводить ежедневно, чтобы успеть к сроку. На седьмой день они дошли до места, где на царя Ахаза со всех сторон пошли войной и Господь решил его ободрить:

«Проси себе знамения у Господа, Бога твоего; проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда сказал Исайя: слушайте же, дом

Давидов! разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил».

Симеон всегда перечитывал это место с глубокой радостью: он видел в нем пророчество о долгожданном пришествии Мессии.

Были тут, конечно, и сложности. О какой «глубине» и о какой «высоте» здесь говорится? «Искушать Господа» – что это: испытывать его, провоцировать, возмущать? Как следует переводить слово «люди»? Может быть, как «правоверные» или «сторонники»? Кто наречет имя новорожденному: Ахаз или мать? В этом месте смысл был неясен. Следует ли имя «Еммануил» оставить так, как оно написано, или перевести на греческий: «С нами Бог» или даже «С нами Бог, чтобы спасти нас»? После тысячи доводов, которыми неизменно спокойный Симеон и вспыльчивый Исах обменялись по-еврейски под веселым взглядом Александра, ученые старцы наконец пришли к согласию, а поскольку солнечные часы уже показывали приближение девятого часа, они решили расстаться до завтрашнего утра.

Исах поужинал дома и лег в постель; Симеон же велел подать лодку и отправился ужинать в четвертый квартал Александрии, где у него были друзья.

За столом, как это часто бывает, когда иерусалимские евреи встречаются с евреями Диаспоры, разговор зашел об ожидании Мессии. Нельзя сказать, чтобы это не понравилось Симеону. Невзирая на свою тоску по Земле Обетованной и тайное желание властвовать над миром, александрийцы выказали в этом вопросе скептицизм, считавшийся проявлением хорошего тона. По их мнению, родственные связи Мессии с Давидом – не что иное, как символ, да и, скорее всего, Мессия это не человек, а какая-то религиозная или, может быть, даже политическая система… Стараясь не выставлять напоказ своей эрудиции, Симеон напомнил им сказанное Иеремией:

«…В те дни и в то время возвращу Давиду Отрасль праведную, – и будет производить суд и правду на земле… Ибо так говорит Господь: не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева».

И из Захарии:

«Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се, Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной».

И из Михея:

«…Посему Он оставит их до времени, доколе не родит

имеющая родить… (Тут голос Симеона дрогнул.)…И станет Он и будет пасти в силе господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краев земли. И будет Он – мир».

На это все вежливо закивали, стали обсуждать эзотерический смысл этих текстов, ибо некоторые из александрийских евреев уже начинали мечтать о гебраистском гностицизме, где каждая буква алфавита была бы наделена космическим смыслом. Симеон, сохраняя светскость тона, не выказывал никакого раздражения, даже шутил насчет пророков, у которых просветленность души во много раз превосходила чистоту тела, придерживаясь при этом традиционной точки зрения: кровь Давидова скоро – возможно, завтра – произведет на свет нового Помазанника Божьего, который станет краеугольным камнем творения, и речь здесь, по всей видимости, идет именно о человеке, рожденном женщиной, к тому же царской крови. Он вступит в Иерусалим верхом на осле, по обычаю иудейских царей, всегда с недоверием относившихся к зубастым лошадям, на которых разъезжали завоеватели всех мастей.

Амфоры были полны кипрского вина, и рабы сбились с ног, наполняя чаши. Была уже глубокая ночь, когда Симеон велел подать лодку и отправился в обратный путь через пролив, освещенный красным оком маяка. Он задремал.

Однако как только ноги его коснулись суши, сонливость его как рукой сняло. Может быть, он и лег бы, но храп Исаха отбил у него всякую охоту ко сну, и он снова покинул свои покои. Он подумал было сходить к маяку и полюбоваться им вблизи, но, очутившись на молу, о камни которого с ласковым шорохом разбивались волны, оказался во власти ночи.

Он замер.

Ночь была удивительно светла, хотя и безлунна. Бархатная лазурь неба с неисчислимым множеством высыпавших на ней звезд создавали впечатление, что ночь эта – лишь иная форма дня, более таинственная и более прекрасная. Синева ее, словно наполненная звоном тысяч светильников с золотыми и серебряными подвесками, была подернута там и сям белыми пеленами, развернутыми от одного края неба до другого. Млечный Путь сливался с блуждающими туманами, с поднимающимися от волн испарениями, и фантастические световые вихри уносились в непостижимые молочно-белые расселины, отверстые во тьму.

Снежными хлопьями летели кометы, градом сыпались метеоры в облаках космической пыли. Сколько их попадало в море, но в небе оставалось ничуть не меньше, чем раньше! Все это

походило на беззвучную музыку чудесных кимвалов, арф и псалтерионов, а невесомые покрывала, мелькавшие среди этого звездного кружения, хочешь, не хочешь, приводили на ум мысль об ангелах с их легкими крыльями, исчезающими, едва успев показаться.

Медленно ступая, словно против воли, Симеон вернулся в душную келью, наполненную храпом и всхлипываниями спящего Исаха. Он велел рабу зажечь масляную лампу и сел, чтобы перечесть переведенный за несколько часов до этого отрывок. Стиль Александра четко запечатлел на восковой дощечке красивые греческие буквы, скромные и рациональные, выстроившиеся в обратном направлении, но столь чуждые варварской величавости и благородству прямолинейного еврейского письма, равняющего ряды в боевом порядке справа налево, так, как пишет Сам Господь.

Симеон стал читать:

«Проси себе знамения у Господа, Бога твоего; проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда сказал Исайя: слушайте же, дом Давидов! разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил».

На греческом языке текст показался Симеону почти таким же прекрасным, как и на еврейском. Ему даже понравилось, что здесь были обозначены гласные: так слова Исайи раскрывались во всей их полноте. Он вышел и посмотрел вверх, и ему показалось, что небо стало еще ближе. Он пошел по усыпанному галькой берегу, и ему почудилось, что он сейчас взлетит над волнами, которые всё раскручивали свои завитки. Он стал читать один из любимейших своих псалмов:

«Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы – Его, Его народ и овцы паствы Его».

* * *

На следующее утро Симеона разбудили громкие голоса. Постель Исаха была пуста, солнце сияло уже высоко в небе, и слышно было, как писец пытается оправдываться перед рассыпающимся в проклятиях Исахом:

– Ах ты мошенник, нечестивец, гадючье отродье, бегемот! Да знаешь ли ты, что и за меньшее зло наш Господь должен был бы превратить тебя в огненный столп!?

Симеон быстро вышел на крики.

– А, вот и ты, Симеон! Смотри-ка, на что этот филистимлянин осмелился поднять руку! – гремел Исах, вырывая у себя клочьями бороду. – Он испортил ночью всю нашу с тобой работу! Раз уж Господь его не покарал, я предлагаю предать его, в соответствии с Законом, смерти через побиение камнями.

– Я ничего не сделал, я не виноват! – кричал Александр. – Это не моя рука.

– Ты не узнаёшь, что ли, своего почерка, лицемер!? Ты отрицаешь, что это твоя дощечка?

Александр был смущен.

– Дощечка моя, но я прекрасно помню, как я писал *numphe,* а *не parthenos.* Вы же сами десять раз перечитали. Никто ни разу не произнес *parihenos.* – Он повернулся к Симеону: – Скажи ему, почтенный старец, ведь там было *numphe.*

Симеон взял дощечку. Она была нетронута: ее ни скребли, ни пытались растопить на ней воск, однако отчетливо можно было прочесть: *eparthenos en gastri lepsetai kai teksetai mon* – «се, Дева во чреве приимет, и родит Сына». А что же он сам читал этой ночью: *parthenos* или *numphe,* «дева» или «девушка»? Он только помнил, что всем своим существом принял старый текст в таком виде, в каком он прочел его в тот момент: «се, Дева во чреве приимет, и родит Сына». Он вспомнил также, что днем слово *parthenos* не звучало. Однако ему было ясно: *Исайя* хотел сказать именно «дева», и сейчас, пять столетий спустя, в переводе его намерение открылось самым чудесным образом. «Дева родит»: Симеон чувствовал, по мере того, как вникал в это противоречие, как им овладевает великий покой. – Послушай-ка, Симеон, – не унимался Исах, готовый, казалось, разодрать на себе одежду (однако, надев с утра свою лучшую рубаху, выкрашенную краской из морских ежей в красивый пурпурный цвет, он теребил ее на себе с большой осторожностью), – это скандал, ты что, заодно с этими необрезанными язычниками? Почему *parthenos*[7]. По-еврейски сказано *alma,* и там ничего не говорится, извини меня, о состоянии девственной плевы этой самой *alma. Alma* значит «незамужняя молодая женщина», и всё!

Симеон был уверен, что он обязан во что бы то ни стало сохранить в тексте слова «Дева родит». И он хладнокровно отвечал:

– Именно поэтому, Исах, мы неправильно перевели *alma* как *numphe,* что и у Эсхила, и у Платона означает «та, что носит покрывало», то есть «новобрачная».

– Так что же, это ты позволил себе изменить текст, созданный нами обоими?

– Нет, конечно. Но подумай сам, ведь, если ты отказываешься перевести «незамужнюю женщину» как «деву», ты тем самым даешь повод плохо подумать о чистоте еврейских девушек.

– Речь не об этом. Переводчик знает лишь свой текст, а текст не содержит никаких уточнений относительно девственности этой молодой женщины. Там говорится только о ее семейном положении. И не надо доискиваться дальше.

– Доискиваться надо ближе. В наше время всеобщего упадка слово *alma,* может быть, и оставляет место для сомнения. Но во времена Исайи выражения «незамужняя» и «дева» были синонимами. Наши предки в чистоте своей души не любили излишней ясности в некоторых вопросах, ты знаешь это не хуже меня. Говоря о «незамужней» (то есть *alma),* они, конечно же, имели в виду «деву» и уж никак не «новобрачную», что обозначается словом *numphe.* В конечном счете, Исах, в чем заключается акт бракосочетания, как не в лишении невинности? Будем говорить серьезно.

Симеон начинал против обыкновения горячиться. Александр, не понимая, глядел на двух старых иудеев, метавших друг в друга довод за доводом. Исаха понесло.

– Видит Бог, – сказал он, подняв руку, – я придерживаюсь текста и признаю, что в такой степени греческий язык не способен передать смысл еврейского текста, ибо в греческом нет слова, означающего «молодая-незамужняя-женщина-без-иных-уточнений». Так что же нам делать?

Симеон взял себя в руки.

– Тут встает другой вопрос: каким образом слово *parthenos,* которое я нахожу точным и относительно которого ты еще колеблешься, оказалось написанным на дощечке, если ни я, ни ты его туда не записывали? Я думаю, ты напрасно обвиняешь Александра, который не знает еврейского языка и не имеет собственного мнения относительно текста Исайи. Чудится мне, что мы соприкоснулись с тем, что называется тайной перевода.

– Нет никакой тайны перевода, – упрямился Исах, усаживаясь на табурет слоновой кости. – Переводить – это передавать на другом языке то, что автор высказал на первом.

– Я не вполне согласен с тобою, Исах. Это – говорить на другом языке то, что автор хотел сказать на первом. Дословный перевод переводом не является, коль скоро он непонятен, ибо оригинал несет в себе лишь одну функцию – быть понятым. Скажи, Исах, ты, как и я, думаешь, что сын, о котором говорит Исайя, – это Мессия, Спаситель Израиля?

На этих словах голос Симеона чуть дрогнул. Исах тоже принял строгий вид и перестал теребить свое платье. Не было во

всем Израиле ничего более важного, чем ожидание Мессии. Можно было подумать, что этот народ был создан единственно для того, чтобы из поколения в поколение ожидать Помазанника Божьего.

– Да. Пророк может говорить здесь только о Мессии, потому что он называет его «С нами Бог».

– И ты согласен, что рождение Мессии не может быть обыкновенным рождением, что ему, по крайней мере, должно предшествовать какое-то знамение?

– Именно так. И потому Исайя говорит о знамении, данном царю Ахазу.

– Ладно. Так если бы молодая женщина, не девственница, родила бы, какое было бы в том знамение? Такое происходит каждый день. Ахаз отказывается просить знамение, но Бог ему все-таки дает его. Какое? Беременную женщину? Ну, уж нет! Не кажется ли тебе, что, оставив в переводе *numphe* – «новобрачная», мы лишим его этого знамения, дарованного Господом? Осмелимся ли мы на такое святотатство? На такое извращение смысла? Ведь для нас, переводчиков, это почти одно и то же.

Симеон подошел к Исаху и положил руки ему на плечи:

– Можешь ты представить себе Мессию, появившегося на свет в результате обыкновенного плотского соития между обыкновенным мужчиной и обыкновенной женщиной? Не кощунствуй же! Не возводи хулу на Спасителя Израиля!

Исах снова взял со стола дощечку и обвел пальцем одну за другой, буквы слова *parthenos.*

– «Дева родит…» – прошептал он. – Этого не может быть.

– Всемогущий может все, – отозвался Симеон. Они посмотрели друг на друга, и взгляд их проник до самой глубины их еврейской души.

Исах повернулся к Александру:

– Ты уверен, что это не ты написал *parthenos?*

– Совершенно. У меня красивый почерк, правда, но ты же видишь, что рука, написавшая это, легче и тоньше моей. Восемь букв слова *parthenos* заняли не больше места, чем пять букв слова *numphe.* Эта «пи» едва касается воска А сравни с моими начало и хвостик этой «теты». А эта «сигма», похожая на извивающуюся змейку! Видишь, мои буквы более угловатые!

Для Александра не имело никакого значения, была или не была девственницей какая-то там еще не родившаяся иудейка, но ему вовсе не нужны были неприятности с его начальником, строгим библиотекарем Деметрием.

– Но кто же тогда, – спросил Исах, – написал на дощечке *parthenos?*

Александр пожал плечами, мол, не знаю. Симеон не ответил. Внутри Исаха развязался какой-то узел.

– Будь по-твоему, Симеон, – сказал он. – Но пусть это остается на твоей совести. И если нам суждено однажды предстать пред ангелом Загзагиилом, ты признаешься, что это ты пожелал оставить слова «дева родит».

* * *

В ту ночь Симеон проснулся в голубоватом сиянии, каким светится снег в сумерках, в ногах его постели сидел человек в белом.

– Симеон, – промолвил он, – я принес тебе обетование. Ты не умрешь, не увидев Мессию.

* * *

На семьдесят третий день царь Птолемей снова принимал у себя семьдесят двух старцев, которые принесли ему переводы Писания, тщательно переписанные на свитки. Греки и евреи многочисленной толпой теснились у входа во дворец. Деметрий и переводчики были встречены овациями. Отрывки из всех тридцати шести книг, прочитанные перед публикой, встретили горячее одобрение всех присутствующих. Было провозглашено следующее решение: «Теперь, когда правильный перевод наконец выполнен в полном соответствии со священным оригиналом, следует, чтобы произведение это оставалось отныне в том виде, в каком оно есть сейчас, без малейших изменений». Вынесенное решение не удовлетворило, однако, народ, который был единодушен. Тогда было объявлено, что проклятие падет на голову того, кто осмелится изменить хоть одну букву в тексте, делая его таким образом короче, длиннее или искажая его смысл. Чувство глубокой благодарности овладело Симеоном. Наконец-то Исайя стал Исайей, весть, которую пророк нес всему миру, как иудеям, так и язычникам, раскрылась теперь во всей полноте.

Царь, некогда падавший ниц перед оригиналом тридцати шести священных книг, теперь распростерся перед тридцатью шестью свитками перевода, признав тем самым их тождество. Он высказал пожелание, чтобы они хранились в соответствии с их святостью. Затем выразил сожаление по поводу скорого отъезда переводчиков, подарил им каждому по три роскошных наряда, по два таланта золота, по богато украшенной чаше и по полному

гарнитуру для трех диванов и пригласил приезжать, когда им пожелается. Елиазару он послал десять лож на серебряных ножках, сервировочный столик в тридцать талантов, десять туник, пурпурное одеяние, корону, сто штук льняного полотна, чаши, блюда и два золотых кратера.

В обратный путь Симеон решил отправиться с караваном. Преодолевая горы и пустыни, следуя напрямик там, где Моисею пришлось сделать большой крюк, он каждое мгновенье чувствовал, что возвращается домой. Пусть он говорил по-гречески так же свободно, как и по-еврейски, пусть он восхищался Пифагором, Платоном и Фидием – тем священным местом, где он родился и где хотел бы умереть, был Иерусалим.

«Да, возраст», – подумал он. Возможно, то был возраст, но то было также и Обетование. Где мог бы он в один прекрасный день увидеть Помазанника Божьего, как не на Сионе, в самом сердце Земли Обетованной, в самом сердце мира? И, словно боясь умереть в дороге, он невольно подгонял своего верблюда. В Иерусалиме все было по-старому. Симеон вновь вернулся к семье и к своим занятиям просвещенного человека. Однако для него самого все изменилось. Не было дня, чтобы, просыпаясь, он не сказал себе: «Может быть, сегодня», а засыпая, не подумал: «Несомненно, это случится завтра». Он никому не доверил своей тайны, даже Елиазару, но часто видел эту великую встречу во сне. Иногда Мессия являлся ему верхом на коне, и голова его ослепительно сияла, как солнце; в другой раз он видел Его сидящим на троне властителем двенадцати колен Израилевых; иногда Он более походил на архангела с шуршащими радужными крыльями, чем на человека; или же, не касаясь земли, Он входил в Святое Святых в полном облачении первосвященника с оракулом, хранилищами и тетраграммой; или, наконец, сверкая плюмажем, в окровавленном панцире, возвращался, как ратник, после Своей последней победы над врагами единственного истинного Бога. Шли годы.

Один за другим умерли друзья Симеона, Пришел черед его сыновей, внуков, правнуков. Сам он иссох и стал меньше ростом, но глаза и уши продолжали верно служить ему. Однако переводами он больше не занимался и покидал вновь отстроенный Зоровавелем[14] Храм только на время сна. У него больше не осталось ровесников: к кому еще ему ходить, к этим людям новых, сменявших друг друга поколений, в которых он не очень-то и разбирался? Храм же оставался все тем же, и Симеон ощущал там близость Духа. От одной мысли, что на земле есть такое святое место, у него навертывались на глаза слезы. Он был так стар, а жизнь его была так праведна, что священнослужители

позволяли ему молиться вместе с ними в отведенном для них месте.

Прошел век, затем другой, а Мессия все не появлялся ни в сопровождении громов и молний, ни в сиянии радуги. Александрийская династия Лагидов и правившие в Сирии Селевкиды вели войну за войной, по очереди предавая Иерусалим огню и мечу. Язычники оскверняли Храм. Иудеи вновь завладевали им и очищали его. Было образовано Иудейское царство, и, поскольку все привыкли видеть Симеона всегда на одном месте, а в Иерусалиме давно уже шутили на его счет: «Он ждет Мессию!», его спросили, не настало ли наконец долгожданное время. Но он только печально покачал головой. Он был прав. Иерусалим обрел свободу лишь для того, чтобы вновь стать добычей грубых завоевателей, пришедших с Запада, которые еще раз разграбили Храм – от этого он не перестал быть Храмом – и посадили царствовать нового царя, по имени Ирод, бывшего марионеткой в их руках. Ожидание Мессии стало еще острей. «Он прогонит римлян», – говорили простодушные иудеи. Но Симеон по-прежнему лишь качал головой. Он не ждал от Мессии никакого временного благодеяния, а лишь его пришествия, и не проходило дня, чтобы он не сказал: «Ну вот, ждать осталось на один день меньше».

Он прожил триста сорок четыре года, и уже детишки четырнадцатого из рожденных им поколений приходили приветствовать его, испытывая одновременно чувство гордости, какую-то неловкость и неудержимое желание рассмеяться. Он все так же верил: «Господь не лжет». Ему просто очень хотелось, чтобы Господь не слишком затягивал, так как ему не терпелось вновь погрузиться в лоно его далекого предка Авраама. Тем не менее, он будет жить ровно столько, сколько понадобится, чтобы свершилось обещанное. Тысячу лет или больше. Прожил же Мафусаил девятьсот шестьдесят девять лет, а ведь он-то никого не ждал.

Однажды, поднявшись по своему обыкновению перед самым восходом, Симеон прошел, опираясь на палку, через весь город, проковылял по мосту через Тиропеон и пришел к Храму.

Проходя вдоль портиков, вырисовывавшихся в косых лучах восходящего солнца, он промолвил: «Благодарю тебя, о сотворенное Господом светило, за то, что даешь свет моим трехсотлетним глазам, за то, что греешь камни, на которые я усядусь».

Затем он вступил на Двор язычников. Несколько греков приветствовали древнего старца, которого они в своем невежестве путали с Авраамом и Моисеем. Ему же всегда доставляло

удовольствие поговорить на этом столь любимом им языке, хотя новое произношение своей небрежностью действовало ему на нервы. Его преклонный возраст неизменно давал ему повод для шуток, сдобренных аттическим юмором, будившим в нем далекие воспоминания. «Скоро, – говорил он, – я смогу обходиться без хитона: вот увидите, как я буду заворачиваться в свою бороду, никого при этом не смущая». Или же: «Почему вы называете меня дедушкой? Вам следовало бы говорить мне „внучек", ибо, вне всякого сомнения, я скоро впаду в детство». Греки смотрели на него круглыми от удивления глазами, задаваясь вопросом, не был ли он в молодости знаком с Гомером или, быть может, с Орфеем. Были и такие, кто звал его Кроном.

Он прошел мимо Двора жен, пересек Двор мужей, произнося слова приветствия уже по-еврейски, и дошел наконец до Двора священников, где совершил омовение в «медном море».[15] Здесь он встречал менее приветливые взгляды: его возраст вызывал неприязнь со стороны новых старцев, выглядевших рядом с ним желторотыми птенцами. Кое-кто из фарисеев высказывал сомнение в том, что он действительно жил в те времена, когда Священное Писание было переведено на греческий язык. Он понимал, что в некотором роде докучает им, но это его только забавляло. «Когда они проживут столько же, их уже не будет так заботить величина их хранилищ[16]…»

Он уселся на ступеньке, прислонившись спиной к пилястре.

Он то закрывал глаза, созерцая внутренним взором сияние Сущего, то открывал их, направляя взгляд сквозь морщинистые веки в сторону святилища; он знал, что никогда не войдет туда, где находится благоуханный алтарь, семисвечники, стол с хлебами предложения[17] и Святое Святых, куда в свое время сам Елиазар входил лишь один раз в год. Симеон любил созерцать эту соподчиненность таинств. Вот так и должны храниться и открываться святые вещи. Он снова прикрыл глаза. Может быть, задремал?

Когда он открыл их, он уже знал – «Слава тебе, Господи!», – что сегодня он наконец-то умрет.

У входа во Двор священников стояли мужчина и женщина, скромно ожидая, когда им укажут, что делать. Мужчина, одетый очень просто, был статен; в сильных, натруженных руках он неловко держал двух куропаток. У необыкновенной красоты женщины на руках был младенец. Симеон легко поднялся, подошел к ним, на этот раз даже не воспользовавшись палкой, и протянул руки, чтобы взять ребенка.

Ребенок показался ему тяжелее золота. Симеон удержал Его, хотя Тот весил больше, чем все евреи и язычники вместе взятые,

больше, чем земля и все звезды. Но тяжесть Его была вся из света. Сколько всего Он построит, сколько разрушит, Он – Камень Преткновения и Знак Противоречия! «Как эта девушка, – благоговейно подумал Симеон, – выносила такую Тяжесть в своем чреве?»

Он взглянул на нее, и его благоговение обернулось состраданием, а вера – даром прорицания. У неба не было больше секретов от него, и он сказал:

– Мария, Мария! Что за кинжал пронзит твое сердце!

Доказательство

Пенсне профессора Петра Петровича Чебрукова, его трубка, дородная фигура, либеральная манера шепелявить, посасывать трубочку, сплевывать, наливать чай в блюдечко, а затем шумно выпивать его и, конечно же, знать все лучше всех были типичными чертами русского интеллигента его времени. Под этим внешним педантизмом скрывались, однако, робость и глубокая скромность, сочетавшиеся с физической неловкостью: он тратил полчаса на завязывание шнурков и не женился до сих пор из страха, что не сумеет должным образом обращаться с женщиной. В свою очередь робость и скромность скрывали один из величайших умов рубежа веков.

Да, Петр Петрович Чебруков, который при случае мог прочесть вам целый курс по сравнительной метрике или по категорическому императиву, который подавлял вас своими суждениями о нибелунгах или стрептококках, в которых ничего не смыслил, вне стен университета никогда не упоминал об истинной сфере своих научных интересов – неисследованной области, располагавшейся на границе физики и математики, области, в которой он действительно блистал своей гениальностью, в которой он был поистине гением.

С этой вершины, в которой сходятся, как кажется, все точные науки, ему случалось, так сказать, разбрасывать направо и налево объедки с барского стола. Рассказывали, что это он пятнадцатилетним мальчиком пролепетал, обращаясь к Менделееву: «А может, вам составить таблицу?», что это он подал Циолковскому идею создания реактивного двигателя и однажды задумчиво промолвил в присутствии Павлова: «Я хорошо знал Чайковского. Так вот он уверял, что от одного взгляда на бутылку водки у него улучшается настроение. Вы не находите, что это открывает новые горизонты?» Все это было похоже на правду, однако никакой выгоды он из этого не извлекал.

* * *

Как и пристало интеллигенту, Петр Петрович был убежденным атеистом, одним из тех, кого Митя Карамазов называл «Бернарами», и, будучи таковым, не мог не жаждать Революции всем своим сердцем.

Не то чтобы он был марксист. Надо отдать справедливость русским интеллигентам: после 1905 года за Неманом не

оставалось ни одного мыслящего человека, сохранившего веру в псевдофилософию великого Карла – одни недоучки и неудачники, – и в этом русские намного опередили Запад. Но профессор Чебруков с одного взгляда понял, что Революция – это атеизм в действии, а посему он не мог не испытывать к ней симпатии.

Февраль 1917-го – а среди сторонников Керенского у него было только несколько знакомых – дал ему кафедру метафизической физики, и с февраля по октябрь он был счастливейшим из смертных. Он поигрывал скоростью света; опережал время, исследуя механику волн; доказывая постулат Евклида, в то же время доказывал и его относительность; жонглировал квадратурой круга и вечным двигателем (которые вполне могли существовать в его, чебруковском, мире); предлагал алгебраическое решение антиномий Зенона Элейского, попутно изобретая то, что он называл «телемордой» – нечто вроде телефона с экраном, поточное производство которого люди не смогли организовать и спустя семьдесят лет. Он отважился даже затронуть в публичных лекциях две темы, которые прочно завладели его сердцем: Универсальное уравнение и Математическое доказательство несуществования Бога. Коротко стриженные очкарики-студенты одаривали его бурными аплодисментами.

Октябрь не удивил его. Будучи физиком, он достаточно разбирался в той биологической форме, какую представляет собой История, чтобы согласиться с тем, что Октябрь – это неизбежное последствие Февраля, так сказать, его внебрачное, незаконное дитя. Однако рука об руку с Октябрем заявились два головореза, игнорировать которых было трудно: звали их Голод и Террор.

Правда, поначалу присутствия Террора Петр Петрович не замечал, воображая, что тот применялся его друзьями против его врагов, а потому был вполне оправдан. Не очень он переживал и тогда, когда его пятикомнатная квартира на Арбате была превращена в коммуналку, где ему оставили лишь бывшую комнату для прислуги (к счастью, при царе комнаты для прислуги располагались на том же этаже, что и квартиры их хозяев, были достаточно просторны, имели окна и были снабжены удобствами). Голод тоже не сразу достучался до него, поскольку ему было совершенно все равно, что есть: капусту или конину – не было у него ни гастрономических пристрастий, ни предубеждений. Однако, когда не стало извозчиков, а следовательно, и лошадей, и конины, он начал беспокоиться, не скажется ли недостаток глюцидов на деятельности двадцати

миллиардов его нервных клеток: как будут они работать без рибонуклеиновой и дезоксирибонуклеиновой кислот и без милой барышни по имени мадемуазель Аденозина Трифосфат?

Но пришел наконец день, когда Петру Петровичу стало по-настоящему плохо. Это случилось, когда латыш в кожанке с наганом на боку принес ему напечатанное на машинке постановление, в котором говорилось, что ему запрещается читать лекции. Почему? Потому что одна из них начиналась словами: «Предположим, что Бог существует…», и, распечатав ее в нескольких экземплярах, он оставил слово «Бог» с прописной буквы.

– Но позвольте, – воскликнул Петр Петрович, забыв о своей робости, – Новая Власть не может запрещать абстрактные спекуляции…

– А вот это, – отозвался латыш, – я вам и вовсе не советую. Ильич велел расстреливать спекулянтов на месте.

С этого дня Петр Петрович притих, стал избегать общества и становился самим собой лишь в тишине своей комнаты, сидя над клочком бумаги, испещренным эзотерическими формулами. Время от времени он отправлялся на базар продать самовар или фамильный портрет, возвращался оттуда с несколькими гнилыми картофелинами, варил себе на примусе чашку желудевого кофе и принимался за работу, не снимая митенок, все еще радуясь тому, что пребывает в интеллектуальном согласии с нынешними победителями. Те распинали священников на Дверях церквей (добросердечный Петр Петрович морщился, представляя себе эти картины, ужасные, но, увы! необходимые для воспитания масс), а он вот-вот был уже готов доказать, как a + b, что Бога нет: достижение единой цели разными путями – это сближает.

И такова была его готовность служить верой и правдой Революции, что он допускал даже, что временный запрет на лекции по метафизической физике – как ни неприятен он был ему лично – был, очевидно, вызван очередной прискорбной необходимостью, связанной с невежеством, в котором пребывали трудящиеся массы по вине старого режима. Так что и эти времена не были для него наихудшими.

Как бы то ни было, за несколько месяцев бывший профессор Петр Петрович Чебруков изменился до неузнаваемости: он исхудал, щеки его обвисли, посерели; он не ел ничего, кроме очисток и кочерыжек; исписав уравнениями и формулами листок бумаги, он тут же сжигал его и всякий раз, заметив на улице кожанку и кобуру нагана, переходил на другую сторону.

* * *

Однажды вечером, когда он возвращался к себе, выгодно обменяв запонки из перегородчатой эмали на пару сушеных селедок, он услышал позади себя влажное поскрипывание голубого снега и в страхе обернулся. Кожаная куртка, вся в геометрических складках, притягивала к себе свет уличного фонаря. Он прибавил шагу, но лишь поскользнулся и чуть не упал в сугроб. Тот другой быстро приближался, бодро и широко шагая, как будто на ногах у него были семимильные сапоги.

– Петр Петрович! Профессор! Это я – Горшков!

Горшков был когда-то самым никудышным из его студентов. Петр Петрович никогда не ставил ему больше двойки и не лишал себя удовольствия выставить его на посмешище перед всей аудиторией. Встреча не предвещала ничего хорошего. Но как убежишь в насквозь промокших бальных туфлях? Петр Петрович остановился. Горшков бросился к своему бывшему палачу и, сжав его в медвежьих объятиях, трижды расцеловал в обвисшие, шершавые щеки.

– Петр Петрович! Сколько лет, сколько зим! Ах, золотые, невинные годы! Вспомните: все мы пребывали еще в плену мракобесия, а ваши идеи сверкали под сводами наших черепов, как электрические лампочки, которые сторож зажигал в аудитории после шести часов, когда начинало темнеть! Ну, профессор, как вы, процветаете с тех пор, как был официально провозглашен рай на земле?

Профессор совсем не процветал. Он позабыл склонность Горшкова к цветистому стилю. Еще не совсем придя в себя, он второпях ответил русской поговоркой, в народном духе, желая, по-видимому, скрыть свои далеко не разночинные корни или свои занятия, не имевшие ничего общего с пролетариатом:

– Не будем гневить Господа: бывало и похуже.

Да, в то самое время, когда кампания против опиума народа шла полным ходом, он машинально произнес запретное слово! Детским жестом он поднес ладонь ко рту и окончательно смешался. – Ну, вы понимаете, Горшков, это просто так говорят. Слава Богу, вы лучше других знаете, что, видит Бог, я никогда не верил в доброго Боженьку.

Тут он замолчал, убежденный в том, что только что трижды подписал себе смертный приговор. Мысли его неотступно возвращались к нагану, к которому за минуту до этого нежно прижимал его Горшков. Но Горшков, казалось, не собирался цепляться за всякие нелепицы. Он только похлопал Петра Петровича по спине.

– Ах, профессор, профессор! Жизнь – это качели, сделанные из плохо выструганной доски и бочонка. Ты вверх, я вниз; ты

вниз, я вверх. Вы были как орел, парящий в темном небе, а я – как бревно под вашими ногами. Теперь я, слава Богу (Горшков сказал «слава Богу»!), отлично устроен, учитывая политическую обстановку, и меня теперь боятся гораздо больше, – есть, чем похвастать! – чем вас когда-то. А вот вы… Не больно-то много мяса на этих костях, да и видок не ахти! (Свою речь он сопровождал дружескими, хотя и чересчур увесистыми похлопываниями по профессорской спине.) А что вы скажете, профессор, насчет оживляющего стаканчика нашей всеобщей любимицы – водочки? Мы служим народу в поте лица или, вернее, пальцев, но и он, наш батюшка-народ, нас не забывает, слава тебе Господи (Горшков не боялся славить Господа – решительно, он был большим начальником), и было бы грешно не поделиться с моим старым учителем чем Бог послал.

Они пошли вместе. Петр Петрович, наполовину пришедший в себя, согнулся в три погибели под своей ушанкой, выпятив высокомерно, как в старые времена, верхнюю губу; долговязый Горшков вышагивал на длинных, прекрасно обутых ногах, покровительственно обняв старика за плечи и извергая в морозный воздух вихри пара.

Когда Петр Петрович увидел, в какое место, на какую площадь и, наконец, в какое здание тащил его по заледенелым колдобинам бывший ученик, он печально подивился своей наивности: как он только мог подумать, что его помиловали?

Это вычурное здание, чей цокольный этаж с полукруглыми окнами, украшенный тремя рядами кольчатых колонн, поддерживал еще один этаж со сдвоенными окнами и еще один – с обычными, над которым возвышался ступенчатый фронтон, это здание, где при Николае Кровавом мирно торговали страховыми полисами, – так вот теперь никто не имел надежды, раз войдя, покинуть его (если только он там не работал), и всякий, кто по необходимости проходил мимо, суеверно старался не смотреть в его сторону.

Надо было бы убежать, но как уйти от полного сил Горшкова? Петр Петрович с фатальным любопытством поднял глаза на этот свадебный торт, на этот многопалубный пароход, ставший на якорь в ночи: все окна были зашторены и освещены изнутри – допросы при свете лампы были самыми невинными из тех, которым подвергались за этими шторами враги народа.

«Значит, здесь, – подумал он как-то отстраненно, – здесь мне и суждено умереть?»

Но не так-то просто было привести его в отчаяние. В конце концов, у профессора Чебрукова было незапятнанное политическое прошлое. Что же до его нынешних исследований,

так о них ведь никто не знает, правда? Можно будет все отрицать… Физик-метафизик постарался припомнить, не забыл ли он сжечь последнюю страницу уравнений, и его сердце сжалось от тоски.

* * *

Комната была просторной. Сквозь папиросный дым виднелась причудливая лепнина потолка. От изразцовой печи во всю высоту комнаты шел такой жар, что застывшим на морозе пальцам становилось больно. Выщербленный пол был весь засыпан подсолнуховой шелухой, рыбьими хвостами, куриными костями. На камине стоял мраморный бюст Александра II Освободителя, служивший мишенью при тренировочной стрельбе: нос и скула у царя были отбиты, а зеркало позади него было все покрыто звездами от неудачных выстрелов. Стол красного дерева ломился под разнообразными закусками, птицей, ветчиной, колбасами, бутылками водки, коньяка, шампанского, пива. На гобеленовых креслах и венских стульях сидели около дюжины расхристанных мужчин и ели руками.

– Вот, как говорится, и наша столовка, – пояснил Горшков неизменно дружеским тоном. – Братишки, позвольте представить вам настоящего старого русского интеллигента, на чьих лекциях в университете я просиживал штаны, когда был его учеником, и, Бог свидетель, хуже, чем я, у него учеников не было. Он ставил мне одни двойки с минусом, и то по доброте душевной. А ведь он – сами увидите – это ум на уме и умом погоняет. Накормим его и напоим, а потом, если он захочет и прочитает вам лекцию, слово даю, вы в ней ни черта не поймете – вот какой он умный, мой Петр Петрович! Садись, профессор. Вот осетринка, копченый угорек, икорка, а может, закусишь лучше пирожками или кулебякой? А вот – да нет, Сережка, чистый стакан давай, это ж для профессора, сукин ты сын! – вот и водочка – божья слеза.

Не очень-то впечатленные появлением настоящего старого русского интеллигента, братишки любезно потеснились, чтобы освободить для него место, кто-то придвинул к нему тарелки с едой. Однако, за исключением нескольких кратких всплесков общего веселья, каждый из них оставался сам по себе, на острове своей одинокой мечты: кто молча посасывал папироску, кто потирал с задумчивым видом огромные, покрытые ссадинами кулаки, кто сидел, уставившись тусклым взглядом в стакан, или же, наполнив тарелку всем, что попадет под руку, жадно пожирал это, глух и слеп ко всему, ни дать, ни взять – прямая кишка с

зубами. Время от времени кое-кто из них вставал со вздохом: «Ну, пора и обратно!» И, не переставая рыгать, неверным шагом шел к лестнице, ведущей в подвал.

Петр Петрович обратил на них внимания еще меньше, чем они на него. Похоже было, что он зря испугался: Горшков пригласил его от чистого сердца. Впервые за долгое время профессор мог есть и пить вдоволь. И он не стал сдерживаться. Немного стесненный отсутствием вилок, он жадно накладывал в тарелку с гербом Всероссийского страхового общества хрустящие пирожки с лососиной, заливных угрей, тетеревиные ножки, избавляясь одновременно от давнишнего чувства голода и от недавнего страха. Умиляясь аппетиту своего старого учителя, Горшков то и дело подливал ему водки в хрустальную рюмку с выгравированным на ней таким же гербом. И когда он счел, что профессор уже достаточно подкрепился, он провозгласил:

– Послушайте, братишки! Сейчас Петр Петрович расскажет нам про Единую Формулу!

– Мой бедный друг, это – формулировка невежды, – проговорил Петр Петрович, вытирая рот носовым платком. – Единая Формула! Что бы это значило? Мне думается, вы имели в виду Универсальное уравнение?

Горшков со счастливым видом подмигнул своим товарищам.

– Что я вам говорил? Мой Петр Петрович – настоящий ученый. Одни двойки с минусом, и те по доброте душевной.

– А что такое Универсальное уравнение? – спросил лохматый бородач с осоловевшим взглядом.

По жилам Петра Петровича вместе с зубровкой и перцовкой растекалась такая приятность, что он пустился объяснять Универсальное уравнение, думая при этом – ибо он сохранял еще какую-то ясность ума, – что никакой опасности в том нет. Разве он не среди друзей?

– Материи, – начал он, – как таковой не существует.

Все возмутились.

– Как не существует? – взревел бородач. – Вот я – материалист. Так ты хочешь сказать, что я тоже не существую? Полегче, профессор, думай, что говоришь!

Петр Петрович ничуть не смутился.

– Мой юный друг, – отвечал он, – вы только что сами себе выдали диплом невежды из невежд первой степени. Вы что, действительно воображаете, что этот стол – однородное твердое тело и что все пустоты в нем помещаются между его четырех ножек?

– Да уж конечно, твердое и без всяких там пустот! У меня глаза на месте. Ты и сам это поймешь, когда я вдарю тебе им по

башке!

– Ах, милостивый государь, вы все еще доверяете тому, что говорят вам ваши чувства? Но тогда, коли вы примитивны до такой степени, вы, может быть, станете утверждать, что воздуха не существует и что мы дышим пустотой? На первый взгляд, конечно, этот стол состоит из молекул, а те – из атомов, а те – из частиц, и все эти объекты отделены друг от друга расстояниями, сравнимыми разве что с межпланетными. Вы следите за мной? Но в действительности эти частицы не следует представлять себе в виде каких-то песчинок – это, скорее, вибрации. Материя – это сгусток энергии, то есть света. В конечном счете, химия – это все та же математика.

Бородач не знал, что ответить, но в остальных пробудилось любопытство, и они принялись задавать вопросы.

«Ты что, хочешь сказать, что этот стул – это сгущенный свет?» – веселились они, кусая соленые огурцы белыми зубами людей, которые всю свою жизнь ели только черный хлеб. И подталкивая друг друга локтями в бок, смеялись: «Вот загнул так загнул!» Петр Петрович, вновь обретший профессорские манеры со всякими там «И-и-итак!», «Не так ли?…» и поясняющими движениями руки, округлыми и изящными, нимало не смутился от такого успеха, вызванного скорее его велеречивостью, чем идеями.

– Ну, так нашел ты это самое Универсальное уравнение? – спросил Горшков.

– Grosso modo, да. Естественно, его следует еще отточить, ибо ничто не доказывает, что нам известны все существующие элементы, не считая того, что таблица Менделеева, несомненно, пополнится искусственными элементами, созданными путем синтеза.

– Так что это за формула? – спросил тощий очкарик. – Это как H_2O, только сложнее?

– Повторяю, дружок, что речь идет не о формуле, а об уравнении, – сказал Петр Петрович, накладывая себе еще икры. – В конечном счете, все можно выразить числами, не так ли? Если мы обозначим водород числом x, а кислород числом y, то математическая формула воды будет не H_2O, а $(x + 2y)$. И-и-итак, исходя из этого, а также из того, что сто три элемента имеют сходную электронную структуру, вы прекрасно видите, что строение Вселенной вполне можно выразить в виде единственного уравнения, поскольку даже расстояния могут измеряться в единицах времени и света.

– А что, и нос моего кореша Сережки можно измерить в единицах времени и света? – спросил белобрысый тип, давясь от

смеха и показывая на своего соседа – криворотого, с шишковатым лбом и длинным, унылым носом. – Или только Божью землицу?

– Боже сохрани меня обижать Сережку, коль скоро он есть, – ответил Петр Петрович, осмелев настолько, что произнес без оглядки имя Господа. – Сережка состоит из сгустка света, или, если хотите, энергии, или, если вам так больше нравится, электричества и может таким образом измеряться в единицах электричества, как и этот дом, эта селедка или звезды на небе.

– Сережка, ты у нас электрический. Осторожно, чтобы не замкнуло! – бросил Горшков, который был на седьмом небе от удовольствия. – А скажи, профессор, ты можешь нам написать твое Универсальное уравнение вот здесь, прямо сейчас? Сейчас мы найдем тебе бумажку.

– Мне потребовалась бы бумага размером с фасад этого здания, – ответил Петр Петрович.

И в этот момент алкоголь, бродивший у него в желудке, ударил ему в голову, и он забыл, где он находится, какое сейчас время и что за компания его окружает. Он внезапно покраснел, покрылся потом, в глазах у него зарябило, так что он не обратил почти никакого внимания на только что вошедшую в комнату странную пару, которую он видел как в тумане. Впрочем, сначала ему показалось, что то был человек с большой черной собакой на поводке, и лишь позже он разглядел, не придав, однако, этому значения, что это была вовсе не собака, а священник в сутане, на четвереньках, с цепью на шее, за которую его и вел его тюремщик.

– Иди сюда, Беззуб. Послушай профессора! – закричал Горшков. – Он нашел Универсальное уравнение.

– Да уж, так *интересно,* – подтвердил Сережка.

Беззуб подошел, сильно дернув за цепь. У него были плечи волжского бурлака, а огромная, стриженная под горшок голова, казалось, была начисто лишена лба. Кроме того, у него недоставало двух передних зубов.

– Чего, чего? – спросил он.

Священник следовал за ним с величайшим трудом, так как правая рука его была прикована наручниками к левой ноге, а левая рука – к правой ноге. Цепи звякали и стучали по паркету. У него были длинные светлые рыжеватые волосы и борода, костлявое, продолговатое лицо, покрытое кровоподтеками, и светлые, почти белые, непокорные глаза. Под грязной сутаной не было белья.

– Уж он мне скажет, куда запрятал всю эту золотую рухлядь от Иоанна Крестителя, – ворчал Беззуб. – У, собака, – и он пнул попа ногой. – Ладно, надо все-таки и пожрать. Так что там за Универсальное уравнение?

Он развалился в кресле напротив Петра Петровича, схватил целую колбасину и впился в нее зубами. Священник, рухнувший на пол у его ног, не сводил глаз с заваленного снедью стола.

– Универсальное уравнение, – проговорил Петр Петрович (он внезапно почувствовал, сам не зная почему, острое желание поразить Беззуба, возможно, потому, что Беззуб был очень похож на тот Народ, каким представляли его себе февралисты), – Универсальное уравнение, в любом случае, есть лишь начало. Уравнение представляет интерес лишь в том случае, если его можно решить.

– Бог в помощь, – вставил Горшков, все больше умиляясь, – ты решишь его, папаша.

– А можно узнать, – спросил Беззуб, с хрустом перемалывая зубами колбасную шкурку, – что это за решение такое?

Под влиянием алкоголя Петр Петрович стал раздваиваться. Это неправда, что у пьяных двоится в глазах, – они сами делятся надвое. Петр Петрович номер один, наиболее трезвый из двух, в этот момент беззвучно закричал караул. Он считал, что неосторожно было даже заводить разговор об Универсальном уравнении, а уж разъяснять пути его решения и вовсе было равно самоубийству. Петр же Петрович номер два чувствовал, что настал момент выйти из вынужденной отставки и снова начать удивлять толпу. Сначала верх стал одерживать Номер один: он попытался переменить тему разговора.

– Могу ли я со своей стороны узнать, гражданин Беззуб, – произнес он, с трудом чеканя слова, – как зовут вашу собачку и чем вы ее кормите?

И он залился икающим смехом, считая, что позволил себе тонкую шутку, которая к тому же даст ему возможность, никого не обижая, совершить акт гуманизма. Ну и что, что он недолюбливал поповское племя: этот, с его прикованным к ветчине бездонным взглядом, ничего, кроме жалости, не вызывал.

Беззуб не моргнув глазом ответил:

– Я стараюсь кормить его как можно реже и только тем, что не надо жевать, потому что у него больше нет зубов. А зову я его Поп-Собака.

Речь Беззуба и его повадки были нарочито простонародными, однако за всем этим чувствовался недремлющий ум. Петр Петрович номер один задумался, как ему предложить сидящему на полу священнику кусочек ветчины или осетрины и при этом не обращаться с ним ни как с собакой (что было бы обидно для него), ни как со священником (что было бы обидно для Беззуба, чье благорасположение было так важно для Петра Петровича номер два).

– Вы п-п-позволите, – произнес он утонченно-светским тоном, – вы п-п-позволите, товарищ Беззуб, п-п-пригласить его п-п-преосвященство разделить нашу с-с-скромную т-т-трапезу?

Согласные давались ему все труднее, но ирония должна была завуалировать учтивость, а учтивость иронию.

Беззуб пожал плечами.

– Что, собака, жрать хочешь?

Из изуродованного рта донеслись первые звуки:

– Пить. Воды.

Горшков поспешил раздобыть стакан, который Петр Петрович номер один, в восторге от своей находчивости, пожелал наполнить собственноручно. Звякая цепями, священник выхватил стакан у него из рук. Когда его распухшие, потрескавшиеся губы втянули последнюю каплю, он вернул стакан и прошелестел:

– Ну а решение, решение-то?

– Верно, – подхватил Беззуб. – На кой оно нужно, ваше уравнение? Для электрификации деревни?

Тогда Петр Петрович номер два, внезапно выскочив из-за спины Петра Петровича номер один, полностью завладел разговором, сопровождая свою речь интеллектуальными гримасами.

– Хе-хе-хе, товарищ Беззуб, вы и не подозреваете, как верно то, что вы сказали. С тех пор как существует человек, он не устает задавать одни и те же вопросы: откуда я взялся? зачем живу? зачем существует все на свете? и что было бы, если бы ничего этого не было? И это его беспокойство вполне оправданно. Но, возможно, он зря обращается со своими вопросами к философам и основателям религий. Возможно, обратись он к людям науки, он уже давно получил бы на них ответы. А? Как вы думаете, разве люди науки не наиболее компетентная инстанция, способная помочь ему?

Тут Петр Петрович номер два с хитрым видом склонил голову набок.

– Ну и что же ответили люди науки? – отозвался Беззуб, как прежде невозмутимый и как прежде настороже.

Где-то на заднем плане Петр Петрович номер один, заламывая руки, умолял своего двойника пощадить его, пощадить самого себя, изо всех сил стараясь напомнить ему, где он находится и с кем говорит, но Номер два, едва различавший в тумане эту отчаянно жестикулирующую немую фигурку – как на перроне вокзала или в кошмарном сне, – даже не удосужился ответить ему, что он прекрасно понимает, что делает, что он среди друзей и что, в конце концов, он будет говорить завуалированно, так что никто ничего не поймет.

– Люди науки, – начал он напыщенно, – не знаю, как донести до вас эти понятия, так сказать, чуточку сложные для вашего понимания, – так вот, люди науки начинают собирать все составляющие этой проблемы, именно все, говорю я, не подвергая их предварительному субъективному отбору, а затем принимаются их сортировать. Это называется составлением уравнения. Для решения такой универсальной задачи нужно, естественно, универсальное уравнение. Именно то, о котором шла речь. Если позволите, я выпью еще водочки. Что касается меня, мои расчеты еще не полностью завершены, но уже сейчас я могу поделиться с вами тремя неоспоримыми выводами, к которым я пришел. Неоспоримыми, ибо они объективны, то есть, если бы другой математик повторил бы те же вычисления, он обязательно пришел бы к тем же заключениям.

Согласные по-прежнему застревали где-то между верхними и нижними зубами Петра Петровича, но поток его речи успешно огибал эту преграду, а привычность слов компенсировала некоторую затрудненность дикции.

– Пункт первый. Видите ли, господа студенты, первая задача, встающая перед ученым, констатировавшим существование мира, заключается в том, чтобы узнать, является ли этот мир направленным, представляет ли он собой некий вектор, идущий из одной точки в некоем направлении, не так ли? или же – просто случайный беспорядочный вихрь, нечто вроде раковой опухоли из атомов, как я думал долгое время. Так вот, имею честь и удовольствие сообщить вам, что я глубоко ошибался: анализ Универсального уравнения доказывает не только то, что свет и энергия, из которых состоит мир, имеют своим источником некий начальный взрыв, расположенный в точке альфа, но и то, что он пребывает в Движении. И-и-итак, иными словами, упрощая, скажем, что пространственно-временной континуум, в котором мы пребываем, представляет собой пучок кривых, исходящих из точки 0 на пересечении абсцисс и ординат и куда-то направленных. У этих кривых есть начало, у них будет и конец.

– А я-то, дурак, думал, что кривые уходят в бесконечность! – воскликнул Горшков, жалея самого себя.

– Да, уходят, но они там сходятся, а это, рассуждая антропоцентрически, означает, что мир имеет некий замысел, то есть что он сам и есть замысел.

В это мгновенье священник на полу прошептал: «София! София!», но на него никто не обратил внимания. Беззуб недоверчиво спросил:

– Чей замысел?

Петр Петрович ответил, как ему показалось, с тонкой

улыбкой:

– Это одному Богу известно.

Слушатели, которых тон профессора вначале позабавил, понемногу начали утомляться. Некоторые попросту встали и ушли, но остальные, чей внутренний спиртометр достиг метафизической отметки, сгрудились вокруг бродячего оракула и, всем своим видом выражая внимание, побудили его продолжить свою речь.

– Доказав, что Вселенная имела источник, – вновь заговорил он, – вполне естественно задаться вопросом, а что же это за источник, не так ли? который можно определить лишь следующим постулатом: *он есть то, что он есть.* И вот тут, господа студенты, происходит нечто весьма и весьма любопытное. Все, так сказать, нормальные расчеты, где мы допускаем, что 1 = 1, приводят к заключению, что источник этот равен нулю, то есть что его не существует. Но если его не существует, то не существует ни самой Вселенной, ни исследователя, который в ней пребывает, что является совершенным абсурдом. Тогда эмпирически, на ощупь мы приходим к следующему. Чтобы этот источник был, чтобы была Вселенная, и, соответственно, чтобы был исследователь, надо предположить…

Петр Петрович понизил голос и поднял палец. Его глаза увлажнились, как это бывает, когда мы находим или открываем для себя что-то в величайшей степени прекрасное.

– Надо предположить, господа…

– Здесь господ нет, – перебил его бородач, – здесь только товарищи.

За неуместное замечание Петр Петрович испепелил его взглядом. В эту секунду Номер один, почувствовав, что это последний шанс на спасение, потянул Номера два за рукав: еще можно было разыграть обиду и замолкнуть: «Раз вы так, то я вам ничего не скажу». Но Номер второй слишком хотел говорить. Он облизнул губы.

– Ну, ладно, ладно. Надо предположить, товарищи, что на уровне источника, в полном противоречии с принципом тождества в вульгарном его понимании…

Он сделал паузу и закончил, отбивая ладонью по столу каждое слово:

– …один равняется трем. Если мы это допускаем, товарищи, все остальное сходится.

И он обвел их лукавым взглядом фокусника, доставшего из цилиндра сразу трех кроликов.

Бородач скривился. Сережка пожал плечами. Два других «товарища студента» жестами выразили свое разочарование. Они

все ждали невесть какой сенсации. Один равен трем, подумаешь! Однако Беззуб тяжело оперся о стол и перестал есть, Горшков вдруг помрачнел, а в воцарившейся тишине откуда-то снизу донесся странный звук: это тихонько засмеялся священник.

– Ладно, – сказал Горшков, – думаю, пора нам отправить профессора в постельку. Что-то он заговаривается.

И он стал подниматься.

– Ну, ты, не двигаться, – проговорил Беззуб. – Интересный у тебя профессор.

– Пойдемте, Петр Петрович, домой пора, – настаивал Горшков, – уверяю вас. Один равен трем! Еще чего! Пойдемте же, ну…

Его глаза тоже увлажнились, но по другой причине. Он вдруг понял, что любит этого потрепанного, напыщенного человека, который ни разу не поставил ему больше двойки с минусом, и что, несмотря ни на что, ему очень хочется спасти его. Но Петр Петрович номер два не желал ничего слушать.

– Горшков, – сказал он ему, – вы всегда были лодырем, а вот этот гражданин, – и он подбородком указал на Беззуба, – как мне кажется, стремится к знаниям.

Беззуб ухватил Горшкова за рукав и силой усадил на место.

– Ну да, я, как он говорит, стремлюсь к знаниям. Это тебя удивляет? (Левой рукой он схватил селедку и, держа ее над широко раскрытым ртом, стал откусывать от нее куски.) Валяй дальше, профессор.

– И-и-итак, – проговорил профессор, поблагодарив Беззуба изящным кивком головы, – мы установили, что, во-первых, Вселенная перемещается из точки альфа к точке омега и что, во-вторых, – тон Петра Петровича стал еще более кокетливым, – опыт подтверждается лишь при условии, что мы предположим существование некоей первоначальной монады, одновременно являющейся триадой. Выпью-ка я еще водочки.

– Хватит, профессор, – застонал Горшков, отодвигая от него бутылку, но Беззуб, как всегда настороже, налил ему.

– Остается определить, не так ли? связь между этой первоначальной монадой и Вселенной, такой, какой мы ее знаем, иначе говоря, что это за движитель, который сообщил нашей Вселенной движение или, если вам угодно, который продолжает – ибо понятие времени в данном случае неуместно – мотивировать это движение вперед на каждом, бесконечно малом, отрезке его длительности. Не знаю, поспеваете ли вы за моими рассуждениями.

– Давай, давай, – проговорил Беззуб.

– В таком случае крайне сложные вычисления каждый раз

выводят нас на крайне простую структуру, которая, тем не менее, производит то, что можно было бы назвать математической энергией: это просто-напросто обыкновенная пропорция.

– Обыкновенная… чего?… – переспросил Беззуб, щуря свои калмыцкие глаза.

– Ну, $a/b = b/c$, не так ли? – ответил Петр Петрович, удивленный тем, что кто-то может не знать такого элементарного отношения. Однако, будучи либералом, либералом до мозга костей, он был всегда готов все объяснить Неграмотному Народу, встав на один с ним уровень, каких бы усилий это ему ни стоило. – Ну, как вам лучше объяснить? Отношение между созидающей силой и созданным ею субъектом кажется невозможным, но как только вы принимаете в качестве движителя… Знаете старую загадку: две матери, две дочери, одна бабушка и одна внучка, сколько это человек?

– Шесть, – крикнул бородач.

– Пять баб, – пробормотал Сережка, который уже спал, уткнувшись лицом в недоеденные шпроты.

– Четыре? – спросил Горшков.

Беззуб молчал.

– Три, конечно же, – торжественно проговорил профессор. – Отец относится к сыну так же, как сын относится к внуку. Вся тайна мирозданья заключена в этой старой шутке.

Долгое молчание повисло в комнате.

И тут священник пролаял из-под стола:

– Ты же Бога доказал, мерзавец!

* * *

В тот день по всей стране были разрушены все церкви. В городах машинами разворачивали кирпичные стены, купола падали на землю, вздымая снопы розовой пыли, битых стекол и позолоченных щепок. В деревнях рабочие решительно приставляли лестницы к крытым лемехом главкам шестивековой давности, венчавшим деревянные церквушки, и в остервенении принимались рубить их топором: бах! бах! На кресты накидывались веревки, и мужицкая артель во главе с комиссаром в кожаной куртке в несколько рывков – раз! два! – разделывалась с ними. Сто тридцать епископов умирали в это время в тюрьмах нового режима. В тот год были истреблены 2691 священник, 1962 инока, 3447 инокинь. В школах дети твердили наизусть: «Составляющие тела человека весом 70 кг: мышцы – 50 кг; кости – 15 кг; внутренние органы – 5 кг, душа – 0 г».

* * *

За столом воцарилось молчание. Ученый подтвердил правоту священника. Атеист доказал справедливость христианской веры. Кто же из них был победителем?

Наконец Беззуб повернулся к Горшкову:

– Это твой друг, верно?

Горшков вздохнул всей грудью.

– Ага, – выдохнул он. Он понимал свою ответственность за происшедшее. – Пойду звонить.

Он поднялся и, переваливаясь, потащился к висящему на стене телефонному аппарату. Горшков принадлежал к тем редким людям, кому дозволялось напрямую звонить Ильичу, что было предметом его немалой гордости. Правда, теперь он с радостью отказался бы от этой привилегии. Ему было мерзко доносить на своего старого учителя, которого он только-только так полюбил, обогрев, накормив и напоив его. Но математически доказать существование Бога – это было даже не великой изменой, а изменой абсолютной. И узнать об этом Ильич должен был как можно скорее. Если бы не Беззуб, Горшков, может быть, и рискнул бы отвести Петра Петровича домой в надежде на то, что остальные, проспавшись, позабыли бы то немногое, что они поняли из его разглагольствований. Но Беззуб не был пьян, Беззуб понял, и Беззуб никогда ничего не забывал. Чего же вы хотите, не зря старая русская пословица гласит: своя рубаха ближе к телу.

Он набрал номер.

На другом конце провода, в маленьком кабинете отчаянно замигала лампочка, заменявшая звонок, чтобы тот не раздражал слух великого вождя.

* * *

~ А вот этого не надо, не надо.

Ильич с отвращением указал на наручники, которые латыш-охранник из лучших побуждений надел на человека, доказавшего существование Бога. Горшков с облегчением ловко снял наручники и, услышав: «Оставьте нас, мой мальчик», с еще более явным облегчением вышел из комнаты.

Опьянение Петра Петровича давно прошло. Подскакивавший на сугробах ледяной автомобиль вернул ему ясность ума. Руководствуясь всю свою жизнь соображениями разума, он и теперь сохранил способность насладиться пирамидой из парадоксов, на вершине которой он сейчас примостился. Он,

атеист, доказал существование Бога, и теперь его, революционера, везут к вождю революционеров-богоборцев. Все это было до того абсурдно, что, когда его вводили в святая святых безбожников, он даже позабыл испугаться. И это понятно. Комиссар-чекист пытал бы его или всадил бы ему пулю в затылок, но Владимир Ильич, человек образованный, правовед и даже немножко дворянин, поймет, что речь идет, в конечном счете, всего лишь о логическом, умозрительном построении, о котором следует просто молчать, и оно станет совсем безобидным. Присутствие, вид, сама личность Владимира Ильича вызвали в нем приступ такого унизительного физического ужаса, что он чуть не попросил разрешения на минутку выйти. Физического или метафизического?

Однако в маленьком человечке, устроившемся за небольшим столом с тремя телефонами – видно было, что носки его ботинок едва касаются расстеленной перед ним на полу овечьей шкуры, – не было ничего внушительного. Лысый череп, рыжеватая, загибающаяся кверху бородка делали его похожим на деревенского учителя. Увидев Петра Петровича, он учтиво вскочил на свои маленькие ножки и улыбнулся, как бы извиняясь за причиненное неудобство. Трудно было представить себе, что этот маленький господин был более могуществен, чем все попранные государи вместе взятые, но в животе у вас образовывалась пустота вовсе не от сознания этого могущества.

Так отчего же?

Что было известно о нем? Что с его благословения на больничной койке были убиты Кокошкин и Шингарев? Что рассказы о расправах над реакционерами и либералами вызывали у него приступы веселья? Что он с упоением дилетанта употреблял выражения, которых профессионалы обычно избегают: «расстрел на месте», «беспощадный террор», «массовый террор», зная, что они будут немедленно приведены в исполнение? Что по его тайному приказу в подвале были зверски убиты царь, царица, больной царевич, четыре юные царевны и их слуги? Нет, Петр Петрович всегда знал, что мозг Ильича одновременно мог сосредоточиться лишь на одном предмете, словно заключая его в свою оболочку и не выпуская, пока не разделается с ним, и он видел в этом благо для Революции, ради которой этот революционер мог в любую минуту пожертвовать всем. Что-то другое леденило его кровь, и это был даже не тот, вполне оправданный страх за свою собственную жизнь, который он сейчас испытывал. Даже если бы ему нечего было опасаться этого человека, он бы все равно боялся его.

Прищурив левый глаз и выгнув дугой правую бровь, Ильич

несколько мгновений разглядывал своего гостя. Затем он любезно указал ему на плетеный стул с прямой спинкой.

– Садитесь, Петр Петрович. Ведь ваше отчество Петрович, не так ли? Чебруков, да? Профессор? «Это хорошо. Метафизическая физика, да-да. Присаживайтесь.

Как только Петр Петрович уселся, Ильич взял другой стул, поднял его одной рукой за спинку, демонстрируя силу, которую трудно было предположить в таком маленьком человеке, поставил его напротив первого и устроился на нем, дружески касаясь своими коленями колен собеседника.

– Ну, скажите-ка мне, – начал он дружелюбно, и его лысина заблестела, как нимб, под зеленым стеклянным абажуром, – вы действительно считаете, что доказали Его существование?

Петру Петровичу жизнь была дорога, и он поспешно, слишком поспешно ответил:

– Нет-нет, глубокоуважаемый Владимир Ильич, нельзя говорить, что я доказал что-то подобное. То есть ничего подобного.

Ильич откинулся назад.

– А жаль, – сухо сказал он. – Если так, то я напрасно заставил вас потратить время и прошу меня извинить. Вы знаете, в наше время опасно шутить такими вещами, да еще прилюдно, и теперь дело Чрезвычайной Комиссии провести расследование. Короче, сейчас вы вернетесь «в места не столь отдаленные», откуда вы ко мне приехали (этот эвфемизм, использовавшийся при старом режиме для обозначения Сибири, вызвал у него невеселый смешок), и вполне возможно, что там вам будет не так удобно. (Он говорил складно, как книга, написанная человеком из хорошего общества.) Тем не менее, я надеюсь, дорогой Петр Петрович, что вы просто страдаете излишней скромностью или не вполне уместной робостью, и что, с Божьей помощью, нам удастся помочь вашему мозгу разродиться в этом относительно культурном месте.

Петр Петрович обвел взглядом увешанные картами стены, окна без занавесей, этажерки, уставленные словарями и атласами, портрет Маркса, надпись «Не курить», гудящую от жара голландскую печь и внутренне согласился, что в этом спартанском кабинете, и правда, было гораздо уютнее, чем в бетонном подвале Всероссийского страхового общества. Давно подсчитано, что в центре циклона и в бомбовой воронке человек подвергается наименьшей опасности.

Ильич встал со своего стула и расшагивал теперь по комнате, скрестив руки на груди, что придавало ему вид шагающего бочонка, вроде тех, в которых в провинции возят воду.

– Петр Петрович, – сказал он, – Я наслышан о вас. Вы – ученый милостью Божьей, а не какой-то там фигляр, вы перестали *верить* в шестнадцать лет, вы блистали в Феврале, по глупости мы отстранили вас от ваших занятий, но вы не очень досадовали на нас за это, короче говоря, я доверяю вам и, если вы скажете, что доказали существование Бога, я поверю вам без разговоров. Но прежде скажите, это открытие изменило каким-либо образом вашу жизнь?

Петр Петрович задумался. Ильич настаивал:

– Вы не бросились целовать стены, набивать себе шишки на лбу, отбивая земные поклоны, прощать всех на свете, даже царя?

– Нет, Владимир Ильич, мне это даже не пришло в голову.

– Хорошо, очень хорошо. Говоря, что вы доказали существование Бога, вы хотите сказать, что составили уравнение, взяв за основу Вселенную такой, какова она есть, и что в результате решения этого уравнения получили некую величину, скажем для простоты *X,* которая и есть Бог?

– Владимир Ильич, я надеюсь, вы понимаете разницу между бескорыстными научными исследованиями и политическим заказом. Действительно, мои вычисления, так сказать, увели меня в том направлении, о котором вы только что говорили, но даю вам честное слово, что я никому не раскрою полученных результатов. Я слишком дорожу завоеваниями Революции в этой области, да и во всех других…

– Погодите, погодите. Ответьте сначала на такой вопрос. Открытый вами Бог – это что же, просто «Часовщик» Вольтера, «Даймон» Платона, Великий Футболист, который ударом ноги забросил в игру мяч под названием Вселенная?

– Гм, ну не совсем так, Владимир Ильич. Я математически доказал, что Бог одновременно един и триедин, что Он сотворил мир, которым руководит через разум.

– Короче, тот, чье существование вы доказали, это не просто какой-то там бог, а именно Тот, Который воскрешает мертвецов, заставляет девственниц рожать и запрещает есть мясное в Великом Посту?

Петр Петрович не осмеливался ответить. Ильич перестал ходить по комнате и разглядывал его, слегка покачиваясь, как будто собираясь упасть в обморок. Из вежливости Петр Петрович попытался встать, но Ильич рассеянно толкнул его обратно на стул. Глаза его метали молнии, особенно левый, прищуренный.

– Да, какая удача! Какая удача! – пробормотал он. – Теперь-то Ты попался, дружок. Я всегда говорил – кто кого! Теперь-то уж точно – я Тебя! Увидишь, Твое распятие – ерунда!

Он залился заразительным смехом, мрачный огонь в его

глазах исчез, и он смеялся от души, пока Петр Петрович не стал ему угодливо подхихикивать, поняв вдруг, что же в этом человеке было такого устрашающего. Все люди любят, некоторые при этом ненавидят, но любят все же больше, чем ненавидят. Этот же человек ненавидел, но не любил. Ничего. Никого. И не любил никогда раньше. Он прекрасно мог играть с детьми в «кошки-мышки», мог рассеянно гладить свою собаку, но не было у него ничего и никого, ни друга, ни женщины, к чему или к кому он когда-либо испытывал любовь. Он даже себя не любил. Любил ли он Революцию? Нет, вся его энергия уходила на ненависть к Богу.

– Ты чуть было не вывернулся, Иисусик, – продолжал он разговаривать сам с собой. – Но на этот раз Ты в ловушке.

Петру Петровичу подумалось, уж не свихнулся ли вождь Революции. Но трудно было представить себе более ясный взгляд, чем тот, с которым он вернулся за письменный стол, аккуратно переложив ножницы и разместив их справа от линейки и слева от красно-синего карандаша.

– Ну, меньше слов – больше дела. Если вы покажете ваши вычисления другому математику, все равно какому, – так ведь определяется научная истина, – он придет к тем же результатам, что и вы?

– Владимир Ильич, я не сохранил своих расчетов и клянусь вам…

– Но вы могли бы их восстановить?

– Я не буду делать этого. Честное слово.

– У вас, насколько мне известно, не бывает расстройств памяти?

Петр Петрович решил, что ему протягивают спасительную соломинку, благодарно забубнил:

– Да, да, время от времени, все чаще…

– Ну, на этот раз у вас их не будет, – холодно произнес Ильич. – Это в ваших же интересах, – добавил он, заговорщически посмеиваясь. – Сколько вам понадобится времени, чтобы произвести все вычисления заново?

– Не знаю… Несколько часов…

– Хорошо. А есть ли в этой стране математики, способные воспринять ваши умозаключения?

– И не один. Хотя бы Капица. Он самый молодой, но, пожалуй, самый сильный…

– Прекрасно. (Ильич снова поднялся и стал ходить по комнате, обхватив себя руками.) Дорогой Петр Петрович, Революция знавала мрачные времена. Случалось, что она висела на волоске. Если бы Колчак был не моряком, а сухопутным генералом, я, вместо того чтобы говорить с вами, уже давно

сыграл бы в ящик, а его Императорское Высочество Великий Князь Кирилл Владимирович был бы батюшкой-царем всея Руси. Сейчас дела идут лучше, но все еще ни шатко ни валко и не только по причинам экономическим. Слава Богу, русских сейчас только и занимает, как бы не подохнуть с голоду. Впрочем, с НЭПом станет полегче. Нет, тот, кто может перебить нам хребет на последнем рывке, это – Он!

– Кто? – спросил Петр Петрович, испугавшись, что понял, боясь не понять.

– Да все тот же, конечно.

– Кто же, кто? – не унимался ученый, почти впадая в истерику.

Ильич недобро прищурил левый глаз.

– Да Тот, против Кого мы и совершили нашу Революцию. Вы же не думаете, что все было задумано против царя? Единственный достойный нас враг – это Назарянин, как называл его Юлиан Отступник, признавая себя побежденным Им. Царь иудейский. Слово. Логос. Сын Человеческий. Мессия. Помазанник Господа. Называйте как хотите.

– Прошу прощения, Владимир Ильич. Это, наверное, усталость, или водка – я ведь не привык, – а может, поздний час, или просто потому, что я очень испугался… Но мне показалось, что я услышал такое, чему просто невозможно поверить… Вы верите в Иисуса Христа? Вы?

Ильич, казалось, не расслышал вопроса. Он все еще пребывал в размышлениях.

– Но, хвала Господу, – проговорил он, – с вашей помощью мы перекроем Ему все пути. Ваш приход сюда сегодня, дорогой Петр Петрович, так неожидан. Я бы сказал, он ниспослан провидением. Вы знаете, что мы не стесняемся в средствах. По сравнению с нами Нерон и Диоклетиан – мальчишки. А я-то, дурак, не извлек из истории должного урока. Я решил: они просто слишком мало убивали. Будем убивать больше и разделаемся с Ним. Но ничего не вышло. Он слишком силен, понимаете? Когда Он торжествует, Его дела начинают идти не слишком гладко, но только начните Его преследовать, истязать – и с каждым ударом Он становится сильнее и сильнее. Я этого раньше не понимал. Тогда я решил подорвать то, что называется Церковью. Я создал другую, где попы могли разводиться со своими старыми усатыми попадьями и брать себе в жены молоденьких. Но и тут не выходит. Он всегда остается сильнее, потому что сила Его – в Его слабости. А вот вы, если Богу будет угодно, вы и загоните Его в тупик. Да уж, вас, верно, и в самом деле Бог послал. Наконец-то я знаю что делать.

Тут Петр Петрович выпрямился со всем достоинством

человека науки и обратился к вождю стовосьмидесятимиллионного населения с такими словами:

– Уважаемый Владимир Ильич, может быть, вы просто насмехаетесь надо мной, ибо то, что вы говорите, просто уму непостижимо. Будьте так любезны объясниться.

Владимир Ильич понимающе рассмеялся.

– Я открою вам один секрет. Я никогда ничего не понимал во всей этой петрушке. Но имея в руках факты… Факты, которые на нашем уровне…

Он снял трубку с одного из трех телефонов и набрал двузначный номер.

– Кажется, вы дали нам в руки оружие. Единственное оружие…

И в трубку:

– Феликс Эдмундович? Ради Бога, простите, что заставил вас ждать. Нет, думаю, вам не придется отправлять нашего друга Петра Петровича обратно в ваши мрачные владения. Похоже, он намерен говорить и так, без применения ваших методов убеждения. Конечно, он со своей стороны несколько удивлен, взволнован – да это и понятно. Думаю, что вы с большей компетентностью, чем я, сможете ввести его в курс дела. Это и правда не мой конек, вы понимаете, о чем я говорю. Жду вас.

Ильич положил трубку с искренним, наивным смешком.

– Видите ли, Петр Петрович, я не знал, как вы себя поведете. Посему, прошу прощения, я из предосторожности попросил великолепного Феликса Эдмундовича быть наготове. Ведь это архиважно… Если бы вы стали колебаться, он понадобился бы нам, чтобы заставить вас говорить. Но вы, слава Богу, оказались таким симпатичным, и теперь он, наоборот, сам расскажет вам обо всем. Вот увидите: он великолепен.

* * *

Подвалы Всероссийского страхового общества уходили в глубину, образуя несколько подземных этажей – этажей со знаком минус – бетонных камер. Некоторые из этих камер, длинные и низкие, служили склепами для живых еще трупов. Другие представляли собой шкафы, где можно было только стоять вытянувшись. Третьи, так называемые дисциплинарные, имели особую форму, не позволявшую узникам ни встать, ни сесть, ни лечь. Когда-нибудь из всего этого получится хороший музей.

Священника, которого допрашивал Беззуб, бросили в камеру более просторную: метр на два. Стоя на коленях, гремя цепями,

он то бил земные поклоны, стеная и тяжело дыша, до крови разбивая лоб о бетонный пол, то вдруг останавливался, откинув назад голову и уставив взгляд в бетонный потолок, словно это был купол храма или небесный свод. Какое-то время спустя он увидел, как из угла камеры льется неясный свет; ничуть не смутившись, он повернулся к этому свету со слабым стоном благодарности.

– Пошли Твоих ангелов, Господи! Пошли Твоих ангелов! Я извещу Тебя. Чтобы у него не вышло! Чтобы он не посмел! Останови его, Господи! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, убей его! Ибо нет иного средства.

* * *

Профессор знал, кто такой Феликс Эдмундович. Все знали, кто такой Феликс Эдмундович – главный палач Нового Режима. Но, будучи сторонником Нового Режима, профессор избегал таких выражений. Этот человек, думал он, жертвует собой, выполняя грязную, но необходимую работу, одну за другой он давит головы гидры империализма. Не будем сентиментальны. Как говорят в народе, «лес рубят – щепки летят».

Ни скрипа двери. Ни сквозняка. Ни мигания лампочки. Он появился в комнате внезапно, словно прошел сквозь стену. Черные брюки, черный свитер, черная рубашка, черные волосы над овальным лбом, тонко очерченные, как у китайца, брови, холеная бородка клинышком: было в нем что-то одновременно и от Дон-Кихота, и от Мефистофеля.

– Феликс Эдмундович, вот Петр Петрович Чебруков. Да, Феликс Эдмундович, я думаю, ему можно доверять. Ему тоже следует объяснить. Вы же знаете, это не моя епархия. Вот вы учились у католиков. *Seriös. Gründlich* [18]. Не то что мы, с нашими жирными женатыми попами. Я, конечно, предполагал, да и Маркс, должно быть, тоже, но я так признателен вам за то, что вы мне открыли… Объясните ему.

Петру Петровичу вдруг стало холодно. Холод исходил от этих людей. Один из них, с задорной бородкой, сидел за письменным столом, заложив руки под мышки, посмеиваясь и щурясь, – ни дать ни взять карикатура из сатирического журнала. Другой стоял, и его оленья голова возвышалась над зеленым абажуром, словно была отделена от черного туловища; от него также веяло холодом, как из погреба. Или же, если они и не выделяли холода, то, значит, они поглощали тепло. Любая поверхность, стена, игральная карта, кожа вашего собеседника – все отражает

излучаемое вами тепло. Они – нет.

Феликс Эдмундович заговорил вкрадчивым голосом с легким польским акцентом: легкое ударение на предпоследнем слоге, «у» вместо «л».

– Позвольте вопрос. Вы – атеист?

– Ну конечно же. Вы принимаете меня за отсталый элемент?

– И вы доказали существование Бога?

– Доказывают, милостивый государь, то, что существует на самом деле. А не то, что хочется.

– Очень хорошо. Но вы продолжаете оставаться атеистом?

Петр Петрович никогда не ставил так вопрос. Тем не менее, ему сразу открылось все его значение и возможные последствия.

– Мое *Weltanschauung* [19] всегда остается атеистическим. Но мне приходится смириться с математической очевидностью того, что *Бог существует,* или, поскольку слово «существует» усложняет проблему, скажем: *Бог есть.* Универсальное уравнение иначе не решается.

– А ваше *Weltanschauung осталось* неизменным после признания этого факта?

Любовь Петра Петровича к научной истине была так сильна, что он позабыл про страх и про холод. Он на мгновенье задумался, Феликс Эдмундович вежливо ждал.

– Знаете, – учтиво улыбаясь, произнес наконец профессор, – я прекрасно понимаю, к чему вы клоните. На первый взгляд было бы совершенно естественно, если бы я повел себя как уверовавший христианин. Но мне это даже не пришло в голову. Уверенность и вера – это совершенно разные вещи. То есть я хочу сказать, что $x/y=D$ – это одно, а поститься по пятницам – совсем другое.

– Так вы даже не подумали, – спросил Ильич, – что теперь бессмертие вам обеспечено? Или, скорее, что вам придется теперь вечно лизать в аду раскаленные сковородки?

– Представьте себе, нет. Я просто сказал себе, что вот, уравнение наконец решено. И все.

Два поглощавших тепло человека переглянулись и кивнули друг другу.

– Что вы знаете о Евангелии? – спросил голосом патера Феликс Эдмундович.

– Когда я был маленький, меня, разумеется, заставляли читать его, – ответил Петр Петрович, колеблясь между желанием сохранить объективность суждений и страхом, что эти атеисты, в чьей власти находились сейчас его жизнь и смерть, примут его за верующего. – Боюсь, я не много запомнил. Там все время были какие-то чудеса.

– Чудеса. Прекрасно. (Феликс Эдмундович словно поставил ему хорошую оценку.) Может быть, не столько, сколько вам представляется. Там еще есть и учение. Но с интересующей нас точки зрения, вы абсолютно правы: главное – это чудеса.

– Я никогда в них не верил, – проговорил Петр Петрович, словно пытаясь защититься от оплеухи.

– Вы и сейчас в них не верите? – поинтересовался Феликс Эдмундович. – Несмотря на ваше открытие?

– Ну, это… Очевидно, вы правы. Сменив гипотезу, нельзя рассуждать, как прежде. Когда исходишь из того, что 1 = 1, это одно, но когда Вселенную можно объяснить, лишь имея в основе 1 = 3, то, конечно… То, что в мире, где 1 = 1, абсурдно, то совершенно естественно в мире, где 1 = 3.

– Мы явно продвигаемся вперед. Но я не на это хотел обратить ваше внимание. Кстати, о чудесах, вы ничего не заметили? Нет?

– Не могу сказать, что…

Петр Петрович взглянул на Ильича, который, плотно обхватив себя руками, склонив набок бородку, напоминая зловещего гнома, не лишенного, однако, чувства юмора, казалось, искренне забавлялся происходящим.

– Мы плохо понимаем чудеса, – снова заговорил Феликс Эдмундович, – потому что смотрим на них с антропоморфической точки зрения. Позвольте мне, наоборот, взглянуть на них как на улики – простите мне этот профессиональный перекос. Чудо – это то, что нас удивляет. Но Иисус Христос пришел из мира, где то, что для нас является необычным, – обычно. Нас удивляет, когда мертвец воскресает. Ему же было поразительно видеть, как люди умирают. Нас удивляет сила веры у некоторых людей. Он удивлялся всеобщему неверию. Добавьте к этому, что Он хотел если не удостоверить Свою личность, то по крайней мере дать людям возможность узнать Его. А ведь Он еще и жалел их, Его приводили в возмущение их страдания, смерть… Он легко мог бы справиться со всем этим, творя чудеса. Однако Он сделал относительно мало, часто заставляя себя упрашивать. Невероятно вовсе не то, что Иисус Христос творил чудеса, а то, что Он не творил их гораздо больше. Все это отметили евангелисты, но еще более ясно об этом говорил реакционный писатель Федор Михайлович Достоевский. Чем Сатана пытается искушать Иисуса? Превратить камни в хлебы? Чудо. Броситься вниз с крыши Храма и не разбиться? Чудо. Царить силой волшебства над миром? Чудо. Мы должны представить себе Иисуса, ежесекундно преследуемого искушением сотворить чудо. Он исцелил десять прокаженных, но их было десять тысяч. Он воскресил Лазаря, но в

Израиле люди умирали ежедневно. Иисус только и делал, что запрещал Себе творить чудеса. Поймите, что для Него, создавшего этот мир, сделать из двух рыб пять тысяч было не сложнее, чем нам умножить две тысячи пятьсот на два. Надо уяснить себе, что, воплотившись, Логос оказался в положении секретного агента, заброшенного со спецзаданием. Каким? Вот вопрос. В любом случае, секретным. Он сам сказал, что мог бы избежать казни: по одному Его слову к Нему на помощь были бы посланы двенадцать легионов ангелов. Но Он не стал просить Центр о помощи. А ведь Он не хотел быть распятым. Он сам говорил и об этом. Если вас это интересует, я могу указать вам точное место в тексте. Чем вызвано такое поведение, совершенно не понятное для непрофессионала? Тем, что тайна составляла неотъемлемую часть Его задания. Фарисеи кричали Ему: «Сойди с креста, если можешь!» Конечно, Он мог. Но Он не сошел. Потому что тем самым Он раскрыл бы тайну. А это провалило бы Его миссию. Когда я засылал к Колчаку своего шпиона, а Колчак сажал его в тюрьму, шпион, даже имея возможность связаться со мной, не просил меня прислать ему на выручку Красную Армию, потому что, если бы его послание перехватили, задание было бы провалено. Шпион умирал, не сказав ни слова. Если что его и беспокоило, так это почему я ничего не делаю для его спасения. А я ничего не делал потому, что польза от раскрытого агента равна нулю. (Феликс Эдмундович говорил бесконечно терпеливым тоном, словно имел дело с умственно отсталым.) Не знаю, понятно ли я изъясняюсь: я не привык разговаривать с учеными.

– Я прекрасно вас понимаю.

– Хорошо. Как видите, секретность имеет первейшее значение. Отец соглашается, чтобы Сын умер на кресте для того, чтобы сам факт, что Он – Сын, не был раскрыт, раскрыт до времени, а ведь Он – единственный повелитель времени. Замечаете? Но вернемся к чудесам, начнем с самого первого. В Кане Галилейской не хватило вина. Мария обеспокоена, зная, что Сын может спасти положение. Но Он сначала отвечает ей: «Еще не пришел час мой. Я даже не приступил к выполнению задания. Как же ты хочешь, чтобы я раскрыл карты, показал, что могу превращать воду в вино, ибо и вода, и вино принадлежат мне, и мне так же просто превратить одно в другое, как сказать: „Вот вода, простите, я хотел сказать вино". Ты разве не понимаешь, что я выдам себя?» Однако Он делает это, потому что невозможно исполнить какую-либо миссию, не выдавая себя на каждом шагу; потому что, не рискуя выдать себя, невозможно ничего сделать; потому что бывают моменты, когда приходится браться за нож, или за телефонную трубку, или попросту рыться в корзине для

бумаг. Но важно, чтобы такие моменты были сведены до минимума. И вот это-то искусство, это чутье, эта профессиональная тяга к минимальному особенно ярко выражены в Священном Писании. Сын ставит на ноги паралитиков, возвращает зрение слепым, воскрешает мертвых, да, но с какой сдержанностью! Только по просьбе. И очень часто призывая к соблюдению тайны: «Не говори никому об этом. Храни твой секрет». И лишь иногда: «Покажись священникам». Как будто сообщает пароль. Вполголоса. Всегда вполголоса. Почему? Очевидно, потому что без тайны не было бы и тайной миссии. Он мог бы сказать: «Я – Мессия. Доказательство? Сейчас я велю этой горе обрушиться в море…» И гора тотчас обрушилась бы в море, ибо, когда я хочу щелкнуть пальцами, я щелкаю. (И он щелкнул.) Но Он не сделал этого. Почему? Даже Своим агентам, которых Он набирал по одному для того, чтобы Его миссия продолжалась и после Него, Он говорил о Себе лишь намеками, вопросами. «Как вы думаете, кто я?» «Это ты сказал». «Мой отец» – да. Но никогда открыто: «Я – Сын Божий». В лучшем случае: «Я – Сын Человеческий». Почему? У богословов есть готовый ответ: чтобы не попирать нашей свободы. Точно, но что это значит? Разве мы останавливаемся перед тем, чтобы попрать чью-либо свободу ради его же блага? А ведь у него в руках было благо абсолютное.

В этот момент изможденный аскет и его кругленький вождь, раскачивавшийся на стуле, обменялись таким странным взглядом, что Петр Петрович поежился от суеверного страха. Теперь он вовсе не был уверен, что эти двое – такие же люди, как и все.

– Тут, профессор, нам следует вернуться – не знаю, говорите ли вы об этом на своих лекциях, – к истории творения. Любое творчество предполагает определенный риск. Леплю ли я горшок, сочиняю ли поэму, я всегда рискую испортить этот горшок или эту поэму. С другой стороны, творчество означает, что творению дается шанс. В противном случае это не творчество, а производство. Шанс дается любому творению, даже неудачному – выродку, уроду. Бог – не промышленник. Бог – поэт, Он не зачеркивает написанное. Вы вот только что подумали, кто мы такие? (Петр Петрович почти не удивился, что его мысль так легко угадали.) Мы – Владимир Ильич, я и кое-кто другой – Риск Божий.

Вы можете сказать, в некотором смысле, что Он всемогущ, но в один прекрасный момент, возможно в момент расстройства, Он отказался от Своего всемогущества, и мы воспользовались этой лазейкой. И вот мы здесь. У нас тоже есть шанс. У нас есть шанс победить Его. Он Сам дал нам его. А коль скоро мы Его

ненавидим, мы не преминем воспользоваться оказией, которую Он по наивности Сам нам предоставил. Понятно я говорю? Вы за мной поспеваете?

Петр Петрович иронично пробормотал, что он понимает производные и даже, с некоторым усилием, интегралы.

Феликс Эдмундович невозмутимо продолжал:

– Какова цель Бога? «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Киприан Карфагенский. История спасения лишь частный случай в истории обожения человека. Если Богу не удастся обожить человека, Он проиграет всю партию сотворения мира. Не скрою, это доставило бы нам удовольствие… (Ильич кивнул и постучал по бумагам своим красно-синим карандашом.) Однако для богостановления человека необходим движитель. Мы, как можем, стараемся понемногу вывести этот движитель из строя… Получалось пока неважно… Но вот появились вы и принесли нам средство, которое позволит уничтожить его раз и навсегда.

– Минутку, минутку, – перебил Петр Петрович. – Вы рассуждаете так, как будто Бог существует. Но вы ведь не математики. Стало быть, вы не доказали Его существования. Так что же вы… верующие?

Взгляд его переходил с одной маски на другую. Ильич дружелюбно рассмеялся.

– Не думайте об этом, любезный Петр Петрович. Мы с вами не совсем на равных. У нас другие источники информации, чем у вас. Знаете ли, кроме математических доказательств и веры простого угольщика, есть кое-что еще… Продолжайте, прошу вас, Феликс Эдмундович.

– Продолжим. Вы знаете, что Бог никогда не показывался людям. Моисей увидел Его, но со спины. О чем это говорит? Богословы считают, что увидеть Бога было бы для нас все равно что оказаться рядом с солнцем: такое количество света ослепило бы нас, сожгло на месте. Действительно, вполне возможно, что такое зрелище уничтожило бы человека в его современном состоянии. Возможно также, что все это сродни байкам о сидящем в буфете «сереньком волчке», которые рассказывают детям, чтобы они не лазали туда без спросу за вареньем. Неважно. Человек не должен видеть Бога, потому что это противоречит Его, Бога, плану. Все говорит об этом. В вашей гипотезе нет ни слова о том, что мы можем Его увидеть, а значит, мы не рискуем ослепнуть от Его сияния. Речь идет о познании Его, что не несет для нас никакой опасности, но что также не входит в Его планы. Понимаете, почему нас это так интересует? Вернемся к движителю обожения человека, имя которому вера. Это действительно движитель в физическом смысле слова: когда

Иисус говорит о вере, которая двигает горы, понимать Его следует буквально. Вера – это бульдозер. Я еще раз напомню вам о чудесах. Они происходят лишь в тех случаях, когда вера реципиента или просителя находится на достаточно высоком уровне. Аврааму вера зачитывается как добродетель. Вера дает человеку ключ к потустороннему миру. Возьмите монахов, которые ради нее добровольно отказываются от реализации своей мужской природы. Возьмите мучеников, которые ради нее дают себя распилить надвое. Вера – это защита от падения. Вера в нашем мире – это крапленая карта Господа Бога. Вся она целиком заключена в одной фразе, столь же гениальной, как формула Эйнштейна: «Отче наш, Иже еси на небесех». Если бы он был не «на небесех», то есть не в мире ином, *не было бы и веры.* Как вы сами видите, вера предполагает отсутствие какой бы то ни было уверенности иного порядка. Вспомните апостола Павла. Греки, говорит он, требуют доводов разума, иудеи – чудес, мы же можем им дать лишь распятого Господа. Что же это значит, как не то, что вера – единственный путь? Мы приложили все силы, чтобы уничтожить веру, благодаря которой только и могут осуществиться планы Господа Бога. Мы работали в трех направлениях: террор, пропаганда, подрыв изнутри. Однако эти методы, отлично зарекомендовавшие себя в политической борьбе, – мы уничтожили монархистов, либералов, меньшевиков, а скоро склоним на свою сторону иностранные державы, – эти методы бессильны в борьбе против веры. Ее не сокрушить. Необъяснимо? Это опять одна из Христовых штучек, вроде «проигравший выигрывает». Но мы с ним играем в разные игры. Владимир Ильич – человек практический, и мы с ним решили (тут они обменялись почти игривым взглядом), что нам тоже пора научиться играть в эту самую игру. Но мы не знали как. Впрочем, как бы это сказать, это нам вовсе не по темпераменту. Наша цель проста: добиться, чтобы Бог оставил человека в покое, чтобы Он перестал стучаться в дверь. Самое простое для этого – открыть эту дверь настежь. Но как? Кажется, вы пришли дать нам для этого средство.

* * *

Камера священника была залита светом, таким, что ему пришлось закрыть глаза, но веки не могли защитить зрачки от этого сияния, и он заслонил глаза руками. Он все твердил, задыхаясь:

– Пошли Твоих ангелов, Господь Саваоф! Пошли Твоих

ангелов, или мы пропали. Спаси нас. Спаси новоявленного Иуду.

* * *

– Тут встает следующий вопрос, – продолжал Феликс Эдмундович. – Что произойдет, когда человек уверится в том, что Бог есть? Все, конечно, не смогут понять ваших математических доказательств, но люди доверяют тем, кто ученее их. Никто не сомневается в открытиях Ньютона и Эйнштейна, и, если однажды космонавты высадятся на Луну, человечество единодушно примет это на веру, несмотря на то что все произойдет без свидетелей. Но заметьте, это доверие – явление совершенно иного порядка, чем вера. Оно принадлежит к так называемому опосредованному знанию, это совсем другое дело. Поверив на слово нескольким ученым, люди примут, что Бог есть, так, как они приняли, что $e = mc^2$. Изменится ли от этого их жизнь? Они, надо думать, примут меры предосторожности. Они постараются наладить связь с божеством, чтобы узнать, по какой цене будут отпускаться наказания за грехи и награды за добродетели. Если они узнают это, то постараются использовать наилучшим образом в своих интересах. Если нет, то будут угадывать, прибегать к пророчествам, идти на риск: ведь инстинкты у них останутся все те же. Мы прекрасно знаем, что на свете есть милиция, но это не мешает нам идти на правонарушения. Не пойман – не вор. Я знаю, что в интересующем нас случае мы по определению «пойманы». Но Бог не может всерьез требовать от нас совершенства, – Он же сам нас создал и знает, какие мы, – а это предполагает определенный запас терпимости. Люди будут надеяться на растяжимость этого запаса и не много изменятся к лучшему. Возможно, по субботам, воскресеньям и по праздникам они будут ходить в церковь. Надо будет настроить побольше церквей. Но люди будут ходить туда так же, как служат в армии. По обязанности. Чтобы им это зачлось в заслугу. А ведь даже я, вышедший из римско-католической церкви, знаю, что все эти заслуги – сплошная фикция дисциплинарного порядка, Святым Духом там даже не пахнет. Ну, может быть, они еще будут подавать милостыню, вроде как платить налог. По воскресеньям причащаться… как будто лекарство принимать. Как видите, все это очень далеко от планов Иисуса Христа, сказавшего: «Возьмите крест ваш и ступайте за Мной». В вере есть динамика, поскольку в ней есть надрыв. А в уверенности, стабильной по определению, динамики нет. Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то умер за математическую формулу?

– Ну, Галилей… – робко пролепетал Петр Петрович.

– Галилей? Да он ведь отрекся! А Джордано Бруно если и умер на костре, так не за науку, а за свободу, а значит, все за того же Христа. Есть другое. Вы скажете, добрые люди не станут больше записываться в откровенно атеистические политические организации, а это означает победу благотворительных движений над коммунистами и их соратниками. Шутите? Что нам эти соратники, да и сами коммунисты? Мы от всего сердца предпочтем любую благотворительную организацию, в которой нет места Христу, большевистской ячейке, все еще поглощенной борьбой с Ним. Владимир Ильич любит повторять: «Кто кого?» Это самое главное. Да, добрые люди будут совершать паломничества вместо пробежек, петь священные гимны вместо «Интернационала», поклоняться иконам вместо чтения стенгазет. Ну а нам-то что? Мы раньше их обратимся в веру. Многоуважаемый Владимир Ильич будет избран патриархом, – а как вы знаете, по части подрывной деятельности ему нет равных, – ну, а поскольку мы будем ставить на экуменизм, через годик-другой он пройдет в Папы Римские. Вот Логос и попался! Он ведь может действовать только через Церковь – Он сам придумал это правило, – а если Церковь – это мы? Надеюсь, вы не питаете иллюзий относительно преемственности связи Маркс – Ленин? Маркс – всего лишь подставное лицо, и в иные времена Владимир Ильич мог бы называться Арием, Юлианом Отступником, Константином V Копронимом, папессой Иоанной – неважно. Он – Антихрист, и никто другой. (Ильич, казалось, от души забавлялся происходящим; он покачивал головой, и когда его лысина попадала в падающий из-под абажура световой круг, она отбрасывала блики.) Хотите знать, что будет, если люди узнают, что Бог есть? Христос проиграет партию, Свою главную партию, в которой главные ставки – любовь и свобода. Там, где есть уверенность, нет больше свободы. Там, где нет свободы, нет любви. Адам прекрасно мог и не вкушать от древа познания Добра и Зла. Более того, – заметил Феликс Эдмундович (он все время невольно повышал голос, словно внутри него поднималось что-то, что заставляло «кипеть его разум»), – если человек уверится в существовании Бога, вторым Адамом станет наш Ильич, а вовсе не Христос. И все это благодаря вам. Ну, а в результате, конечно, полная невозможность спасения, поскольку движитель спасения прекратит свое существование. Но и это еще не всё, Петр Петрович. Есть кое-что получше, более эффективное. Вы согласитесь со мной, что человек был создан с некими физическими и духовными потребностями: ему необходимо есть, пить, размножаться; кроме того, ему необходимо верить. Это как

если бы у него была особая железа, выделяющая гормон под названием «вера», та самая вера, о которой мы только что говорили и которая столько раз будоражила человечество. Естественным объектом этой веры является Бог. Бог, понимаемый так или иначе, личный или безличный, добрый или злой, единосущный или многоликий – одним словом, Бог. Но представьте себе, что этот инстинкт, может быть, самый сильный из тех, которыми мы наделены, вдруг оказывается неудовлетворенным. Так сказать, вакантным. Что этот мощный поток веры, который бьет из нас день за днем, вдруг не находит себе больше применения. Что происходит в таких случаях?

– Атрофия, – невнятно прошептал Петр Петрович.

– Да, матери теряют молоко, девственники становятся импотентами. Но это только если для выделяемых ими веществ не находится другого выхода. Понимаете ли вы, что, доказав существование Бога, мы получаем в свои руки и орган веры, ну вроде как машиностроительный завод, который затем можно переоборудовать для производства пушек? Тогда мы сможем заставить людей верить в то, чего нет, потому что в то, что есть, они уже верить не будут. Неважно, что они будут знать, что что-то существует на самом деле, верить они предпочтут в нечто иное, ибо они всегда предпочитают веру знанию. В этом и проявляется величие их души, качество, в корне противоположное мещанству. Впрочем, так-то оно и лучше, потому что мы заинтересованы в действии, а чтобы управлять действием, вера лучше уверенности.

Петр Петрович был поражен таким взглядом на вещи.

– Честно говоря, – сказал он, – я об этом не подумал.

– Человек, – продолжал Феликс Эдмундович, – любит верить. Отнимите у него Юпитера, он поверит в Изиду. Отнимите Изиду, он будет верить в Богородицу. Отнимите у него религию, он обратится к искусству, деньгам, спиритизму, дзен-буддизму, йоге, марксизму, психоанализу. Как видите, человеку, потерявшему веру, можно навязать все что угодно.

Петр Петрович признал, что такое преобразование веры открывает широкие горизонты.

– Однако, – прошептал он, – зная, что Бог существует… они будут держаться настороже.

Впервые за весь вечер плотно сжатые губы Феликса Эдмундовича сложились в улыбку.

– Именно, – сказал он. – А если они будут держаться настороже по отношению к Господу Богу, для Христа они будут потеряны. Если нам удастся довести их до этого, мы победили. Невеста Агнца возьмет в любовники Антихриста.

И святой чекист, палач-аскет вежливо хихикнул в кулак.

– Товарищи, – сказал Ильич, – время позднее. С Богом мы все решили, но остаются колчаковцы.

Лев Давидович, должно быть, давно пытается мне дозвониться. Благодарю вас. Феликс Эдмундович, позаботьтесь об организации международной пресс-конференции денька через два-три. Пригласите журналистов – немецких, французских, английских, итальянских, американских. Петр Петрович, вам предстоит сделать небольшой доклад о вашем доказательстве в популярной, но безупречной форме. «Бог существует: то, чего не смогли доказать попы, с блеском доказали большевики, едва успев вступить в игру». И все в таком духе. Ну, а после этого – что вам больше по душе? Три месяца в Сочи, например? А мы пока подготовим для вас новую кафедру большевистского христианства.

И Ильич залился долгим людоедским смехом.

– Я уж не говорю о наших бородатых попах. А вы только представьте себе физиономии этих римских кардиналов, красных, бритых, – или самого Святейшего Отца, Папы Римского! Хорошо бы их сфотографировать, когда они узнают. А – еще смешнее – все эти лавочники-атеисты, аптекари-вольнодумцы, ветеринары-вольтерьянцы, которые насмехались над своими верующими мамашами и воображали, что, препарируя лягушку, доказывают, что Бога нет! А неверующие семинаристы, вроде этого мужика, Иосифа Виссарионовича в своих валенках! Вот уж кто взбесится! То-то смеха будет! Ах, Петр Петрович, дайте-ка я вас расцелую от всего сердца! С сегодняшнего дня все ваши желания будут исполняться. Ну, не знаю: книги там, охрана, удобства, может, женщины, – некоторым это нравится…

Ильич поднялся, обошел вокруг стола и припал губами к бескровной, шершавой щеке Петра Петровича.

– Погодите, погодите, – проговорил профессор, – я только сейчас начинаю осознавать… Если Бог есть и если я буду помогать вам с ним бороться, я ведь рискую и даже очень…

Ильич опять заразительно рассмеялся.

– А-а-а! Признаю: есть, есть горошина под матрасом! Ну и что! Вы же – ученый! Вы не можете отступать перед правдой. А потом, знаете ли, – левый глаз его совершенно закрылся, – всегда есть способ провести Его. Скажете только: я бедный грешник. Он просто будет вынужден вас простить. Ладно, я с вами прощаюсь. С завтрашнего дня в вашем распоряжении будет машина с двумя охранниками. Попы, насколько я их знаю, способны перерезать вам глотку. Они, думается, отреагируют быстро. Сначала, конечно, – ликование. «Видишь, – скажет поп Макарий своему соседу-учителю, – видишь, Моисеич, все эти годы прав был все же

я». А потом они поймут, что их провели. В общем, никогда не знаешь, чем все кончится. До свиданья, до свиданья.

И, вцепившись в плечи профессора, человечек стал дружески подталкивать его к выходу. Следом за ним, держась очень прямо, вышел, покручивая остроконечную бородку, Феликс Эдмундович.

* * *

Сводчатый подвал казался «китайцам» очень большим и высоким, потому что сами они были маленькие.

Как смогли, они украсили его кирпичные стены, приклеив, прибив, приколов, подвесив к ним все самое яркое и блестящее из того, что наворовали и что еще не успели обменять на еду. Елочные бусы, разнообразные зеркала, расшитые блестками платья, пряжки со стразами, ордена с бриллиантами, шелка, испанские гребни, восточные веера, поповские рясы, медные и серебряные подносы, украшения, бальные мантильи, конфетные бумажки.

Главарю «китайцев», Федьке, было тринадцать лет. Остальным и того меньше. Родителей почти у всех убили большевики, и только у некоторых – белые. «Китайцам» это было все равно. Девчонки у них попрошайничали и воровали по мелочи. Мальчишки попрошайничали и убивали. Иногда, когда не хватало народу, в убийствах принимали участие и девочки. Они нападали на улице на какого-нибудь биржевого маклера или пьяного гуляку, срывали с него шапку, одежду, белье и забивали насмерть зажатыми в маленькие кулачки острыми камнями, как пещерные люди – мамонтов.

У них были свои законы. Тот, кто нарушал их, изгонялся из ватаги. Такому оставалось лишь умереть от голода или холода. Однако для верности предателя топили в канализационном люке, засунув туда его голову и продержав ее так столько, сколько нужно.

Вот уже несколько дней они пребывали в состоянии боевой готовности. Кое-кто из промышлявших в одиночку недавно попался, их отправили в детприемник, а затем разбросали по невесть каким исправительным колониям. Но у «арбатцев», их противников, дела были еще хуже. Чекисты окружили триста человек – мальчишек и девчонок, – отвезли их в карьер и расстреляли. Кое-кто из тех, кому удалось спастись, примкнул к «китайцам», где, несмотря на прежнюю вражду, были встречены по-братски.

Федька разжег костер из куска деревянной панели,

притащенной из Юсуповского дворца. Было дымно, но дым так приятно пахнет жильем. Мерцавшая в полутьме золотая и серебряная мишура придавала сводчатому подвалу вид семейного очага: то ли пристанище Стеньки Разина, то ли пещера Али-Бабы, а для многих – просто изба или спальня в родительском доме, где перед иконой мирно теплится лампадка.

В радиусе трехсот метров от очага на всех направлениях Федька расставил часовых. Растянувшись на ворованной шкуре белого медведя, он гладил по волосам свою возлюбленную, двенадцатилетнюю Надю, и слушал своего шута, интеллектуала Свена, или Свинью, тоже двенадцати лет, в очках с одним-единственным стеклом и одной дужкой, чудом державшихся на оттопыренном ухе, который, брызгая от возбуждения слюной, рассказывал о приключениях Рокамболя.[20] Танцующие языки пламени то и дело выхватывали из темноты полдюжины детских рожиц: грязных, закопченных, рябых, до времени состарившихся.

– Тогда, понимаешь, когда этот, ну тот, приходит в подземелье, тот ему и говорит, так спокойненько, прямо в морду, а тот, другой, в карман за кинжалом…

– Погоди, Свинья. Говори-ка яснее, – строго сказал Федька. – Прямо в морду – кому? А этот, тот и тот, другой – кто они все?

– Ну, этот – это Рокамболь, а тот…

Снаружи послышался свист. Сначала короткий. Потом еще два раза – длиннее: старик. Потом тишина и еще один короткий свисток: буржуй.

– Погодь, Свинья. Потом. Четверо со мной. Сейчас пустим ему юшку.

Федькин голос не дрогнул.

– Если вы будете пускать ему юшку, – на грубом слове Надя запнулась, – я с вами: я ни разу еще не видела, как ее пускают.

Это была бледная девочка с глазами цвета морской волны, выглядывавшими из-за вздернутого веснушчатого носика. У нее совсем не было бровей, отчего она выглядела то испуганной, то бесстыжей.

Сводчатый подвал сообщался с улицей люком. Они поднялись по железной лестнице, и Федька высунул наружу голову, оказавшуюся на уровне мостовой. Старик приближался торопливыми шагами. Вдруг он остановился как вкопанный: ему, очевидно, показалось, что на мостовой лежит отрезанная голова. Впрочем, тогда все было возможно.

Вид у старика был довольно-таки голодный, но на нем была лисья шапка. Бархатная шуба была потерта. Но бархат был хорошего качества, и очень возможно, что подбита шуба была если не соболем, то уж белкой точно.

Тактика у Федьки была разработана: отвлекающий маневр спереди, атака сзади и окончательный удар опять спереди.

Он остановился на мостовой прямо перед стариком. Сзади один за другим выскакивали его товарищи, занимая позиции по заранее разработанному плану: один справа, один слева, потом еще один справа, еще один слева, образуя вогнутую дугу, концы которой смыкались, по мере того как они бесшумно продвигались вперед в своих справных ворованных валенках, – хоть и мальчишки, от горшка два вершка, а ночью-то все равно страшно. Старик сделал шаг назад.

– Дети, – сказал он, – детки, Господи Боже мой, деточки…

Федька свистнул в тот самый момент, когда из люка стала вылезать Надя.

Трое мальчишек бесшумно подошли к старику сзади. Один прыгнул ему на спину, другой бросился в ноги. Как только он повалился на землю, третий ударил его по голове свинцовой трубой.

– Мне! Оставьте его мне! – скомандовал Федька.

Он научил их беспрекословно подчиняться. Они отошли в сторону.

Федька знал, что за ним стоит Надя и смотрит на него и что в один из этих дней ему придется доказать ей, что он – мужчина. Несмотря на все усилия, до сих пор ему это еще не совсем удавалось.

Он нагнулся над распластавшейся на снегу шубой и отогнул воротник. Да, это была белка, а на шее блестела золотая цепочка. Все они одинаковые, эти старые буржуи: верят они в Бога или не верят, монархисты они или республиканцы, но крестильного крестика, повешенного им на шею их матушкой, они никогда не снимают. А за золото Яков Яковлевич давал шоколадные конфеты, которые неизвестно откуда брал. Федька любил шоколадные конфеты.

– Ну, что, дедуля, – сказал он, сплюнув через дырку с той стороны, где у него не хватало зуба, – как здоровье? Неважно, да? Старость не радость, как говорят? Погодь, щас мы все устроим. Ну, а политикой-то ты хоть доволен? Да? Жить в России становится все лучше, а? Лучше, ну, ты, дерьмо собачье?!

Федька взглянул через плечо на Надю, которая, сложив ручонки, просто умирала от нетерпения.

Лежа на снегу, Петр Петрович выпученными глазами смотрел на кривлявшуюся над ним мальчишескую физиономию. Очень милый мальчик, вот только рук его ему не было видно. Ему вспомнилось, каким он сам был когда-то.

– Послушай-ка, мальчуган, – пролепетал он, – ты же видишь,

я старый. Помоги мне встать. В наше время нас учили старым помогать.

Федька расхохотался.

– Времена изменились, дедуля. Ты разве не знаешь?

Тут стало видно, что у него в руках. Это была доска, утыканная большими гвоздями. Остальные мальчишки были вооружены таким же образом.

– Валяй, ребята, – крикнул Федька. – Он ваш. Только – слышь? – бить по голове, чтоб шубу не попортить.

Ангел ищущий

Посвящается Софи-Лоранс Руа

Возложенная на него миссия была наиважнейшей во все времена от сотворения мира. А если по правде, то и до сотворения мира.

Он располагал неограниченным полем действия: все планеты, все светила, все миры, созданные и не созданные, современные или будущие, реальные или потенциальные, все исторические эпохи, сложившиеся и те, которым еще предстояло сложиться.

Ничто не должно было ограничивать его исследований – ни время, ни пространство, ни бесконечное множество вариантов.

Лишь бы не была попрана свобода той, которую заинтересует его предложение.

Но вот составлены досье, собраны сведения из наилучших источников, проанализированы, перетасованы, классифицированы, занесены на карточки. Ему подумалось, что там, наверху, явно переоценили сложность его миссии; ему показалось, что у него теперь появятся трудности с выбором.

Но он быстро понял, что ошибался.

Из тех, что хотели, ни одна не могла, а из тех, что могли, ни одна не хотела.

Читаные-перечитаные карточки подходили к концу. Он остановил свой выбор на одном из немногих пространственно-временных континуумов, которые еще оставались у него в запасе.

* * *

Леди Меган блистала в этом сезоне. Под ее светящейся кожей текла чистейшая голубая кровь, доставшаяся ей от отца-нормандца, а белокурые косы, уложенные короной на голове, отливали медью, точь-в-точь как у матери, передавшей ей эту наследственную ирландскую рыжинку. Леди Меган была гибкой и стройной, она в совершенстве пела и танцевала, играла на арфе и писала маслом, при этом без тени претенциозности. Ни отец ее, ни мать, ни гувернантка, ни горничная, ни подруги по пансиону никогда не могли пожаловаться на нее ни по какому поводу, а преподобный, раз в неделю отправлявший культ перед священным деревом Иггдрасиль[21] в присутствии представителей лучших семейств, не мог упрекнуть свою юную прихожанку ни в чем, кроме, разве что, излишнего рвения в ее отношении к

религии.

Было у леди Меган еще одно качество, которое она старательно скрывала, боясь прослыть синим чулком: ее незаурядный ум, питаемый ученостью, которой могло бы позавидовать немало мужчин, в том числе знаниями по медицине – науке, которой она особенно увлекалась, соблюдая при этом надлежащую тайну.

Как только леди Меган была представлена ко двору королевы, весь Лондон оказался у ее ног, а поскольку в те времена Лондон был столицей империи, имевшей свои владения на пяти континентах, леди Меган оставалась в течение некоторого времени самой известной девушкой в мире.

Обычно, правда, светила такого рода не задерживаются подолгу на небосводе, но и второй сезон леди Меган завершила благополучно, нимало не утратив от первоначального своего блеска, хотя он уже был не нов в обществе. Ни один пышный бал, ни одна псовая охота, ни одна премьера в опере не обходились без того, чтобы на них не была приглашена леди Меган. Светские газеты – от Лондона до Парижа, от Нью-Йорка до Санкт-Петербурга – без умолку твердили о ней, и только в восторженных выражениях. Лучшие женихи Великобритании и Соединенных Штатов увивались вокруг нее, при этом она ни разу ничем себя не скомпрометировала. Ее гладкий лоб, незамутненный взор, длинные, целомудренные рукава белого или лазурного цвета, завершавшиеся изящными кистями рук, излучали уникальную, совершенную чистоту, которая притягивала взгляд и останавливала дыхание. Ее прозвали леди Парангон.[22]

Она проводила лето на берегу Ла-Манша, когда ей представили человека по имени капитан Даббс Высокий и без определенного возраста, то был джентльмен до мозга костей, хотя его манера одеваться только в белое некоторым и могла показаться эксцентричной. Кроме этого, его упрекали еще в нежелании открыть, от каких именно Даббсов он ведет свой род, из какого графства происходит его семья, в каком частном колледже он учился, к какому полку приписан. Однако материальный достаток и безупречные манеры капитана сделали свое дело, и ему скоро простили эти странности. Напрасно шептались за его спиной, будто он родился на Востоке и был незаконным сыном какого-то полковника и махарани,[23] – он был повсюду принят, хотя никто не знал, кто и кому представил его впервые. Леди Парангон не раз встречала его у своих родителей, а также в лучших домах округи и потому могла свободно видеться с ним, когда ей того хотелось, и даже без компаньонки.

У них вошло в привычку ежедневно гулять вместе по взморью во время отлива, когда море отступало, оставляя на влажном песке, усеянном задыхающимися крабами и раками-отшельниками, темно-зеленые кружева водорослей в обрамлении белой пены. Иногда им случалось взбираться вместе на призматические базальтовые скалы, ведущие к заброшенному маяку, до которого они все время собирались дойти, но всякий раз из какого-то невысказанного суеверия откладывали эту экспедицию на завтра.

В отношениях величественной девственницы и таинственного капитана не было ничего похожего на то, что обозначают глаголами *cant* или *flirt* [24]. Часто они молчали. А если говорили, то о прочитанных книгах, и поскольку леди Парангон читала в основном книги по философии или по истории различных религий, а капитан Даббс, казалось, знал их наизусть, они беседовали главным образом о Гильгамеше, Лао-цзы, Конфуции, Осирисе, Ваале и Будде. Впрочем, они открывали рот лишь тогда, когда им было что сказать. В остальное время они хранили молчание, даже с каким-то особым упорством, легко нарушая его только в стоящих того случаях. Разумеется, затрагивая любимые темы, они говорили о них в высшей степени отвлеченно, никогда не выказывая своего отношения к ним. Поэтому леди Парангон была крайне разочарована, когда капитан Даббс позволил себе однажды весьма неуместный вопрос.

В тот день они наконец решили – вернее сказать, они ничего не решали, все решилось само собой, – проникнуть на заброшенный маяк. Капитан Даббс нажал на железную дверь, она заскрипела на ржавых петлях и издала глубокий звук, напоминающий театральные громы и молнии. Попавшие под створку камни завизжали, оставляя борозды на мощеном полу. Внутри оказалась винтовая лестница, вся затянутая паутиной, которую капитан галантно разорвал своей тростью. Однако, несмотря на это, несколько паутинок повисли на полях его панамы и даже, – а следует отметить, что он, естественно, стал подниматься первым, чтобы никто не заподозрил, будто он желает полюбоваться со спины изящными формами леди Меган, – на кружевной шляпке его спутницы. Они долго поднимались в полутьме, прорезаемой время от времени светом, который лился из бойниц, пригодных более для вентиляции, чем для освещения. Карабкаясь по выщербленным кирпичным ступеням, они размышляли о том, что, вероятнее всего, как только они окажутся наверху, их отношения изменятся и то, что до сих пор они сохраняли в тайне, откроется, и задавались вопросом, не лучше ли будет прямо сейчас повернуть назад. Но, поскольку они не смогли прийти к этому заключению одновременно, они

продолжили восхождение до конца.

– Ну, вот мы и пришли, – произнес капитан Даббс, выдав этой бесполезной фразой всю глубину своего волнения.

Все приспособления, служащие обычно для разведения и поддержания огня на маяке, куда-то исчезли. Наверху оставалась лишь открытая каменная терраса, без крыши и парапета, где они почувствовали себя во власти небесной стихии и головокружительной высоты. Небо в тот день было пасмурным; далеко-далеко, где-то там, где прилив готовился к штурму прибрежных дюн, темно-серый простор моря окаймляла белая полоска пены. Боясь упасть, Даббс и леди Меган вынуждены были стоять в самом центре круглой террасы, окруженные со всех сторон такой же округлой линией горизонта. Вот тогда капитан Даббс и спросил:

– Вы верите в Бога?

От этого вопроса у леди Меган должно было захватить дух, как если бы он спросил ее, носит ли она нижнюю юбку, но, хотя такое пренебрежение здравым смыслом и шокировало ее, она все же была достаточно умна, чтобы не выказывать своего возмущения.

– Конечно, – ответила она. – Было бы ребячеством воображать, что человек – венец мирозданья.

– Но верите ли вы, – после некоторого молчания вновь заговорил капитан Даббс, – что Бог – это личность, имеющая волю, намерения, желания, или вы представляете Его себе совершенно отдельно от мира как от эпифеномена, не имеющего последствий? Как вы думаете, леди Меган, человечество – всего лишь бородавка на теле Бога, или мы Его хоть в какой-то степени интересуем?

Леди Меган задумалась.

– Я читала, – сказала она, – этого иудея по имени Моисей, и мне думается, что Бог вполне способен сказать: «Я есмь Сущий». Впрочем, с нашей точки зрения, кто такой Бог? Создатель. И с Его стороны было бы верхом легкомыслия создавать нас лишь для того, чтобы потом потерять к нам всякий интерес.

– Вы облегчаете мне задачу, ссылаясь на такую малоизвестную книгу, как Тора, – сказал капитан Даббс. – Надо признать, что некоторые из встающих перед нами вопросов представлены там с достаточной ясностью, вы не находите?

Леди Меган нечего было ответить на это, а посему она и не стала отвечать. На самом деле кровавой Торе она предпочитала Бхагаватгиту и, особенно, египетскую Книгу мертвых, которая просто дышит человечностью. Она продолжала глядеть на море, стягивавшее силы на горизонте. Тогда Даббс заговорил снова:

– Не думаете ли вы, что миф о грехопадении, последовавшем за обретением человеком свободы, является одним из наиболее удовлетворительных объяснений того состояния, в котором сегодня пребывает человечество, подверженное болезням, смерти и, что еще опаснее, почти неминуемой деградации вследствие пристрастия к такому прискорбному образу жизни? Нет ли у вас такого чувства, что человек – не то, чем должен бьш бы, чем мог бы быть? И не приходила ли вам мысль, что этот глубочайший недостаток мог бы – должен был бы – быть однажды исправлен?

– Грехопадение человечества – это не стрелка на чулке, – произнесла леди Меган, со свойственной ей прямотой упомянув о столь интимной детали женского туалета.

– Возможно, абсурдно задавать такие вопросы вам, чья исключительность признана всеми, – вы не подчиняетесь общим для всех законам, и это гипотетическое грехопадение ничуть не запятнало вашей чистоты. Я не хочу шокировать вас, леди Меган, но сама мысль о том, что вы можете… например, умереть или даже просто чихнуть, кажется мне до крайности дикой. Однако рассуждение методом сопоставлений и подсчет возможностей приводят меня к выводу, что однажды с вами может случиться и то, и другое. Впрочем, смешно думать, что Бог мог создать человека для того, чтобы он…

– Чихнул, – отрезала леди Меган, заботясь о том, чтобы разговор держался на приличном, то есть развлекательном, уровне, тогда как тема смерти, увы, не отвечала ни одному из этих требований.

Леди Меган и капитан избегали смотреть друг на друга; зная, что им, возможно, предстояло сейчас произнести роковое слово, они не желали скреплять его взглядом.

– Допустим, – сказал Даббс, – что вы – существо, наиболее близкое к совершенству, из всех, кого производила эта земля. В этом нет ничего невероятного, ибо такое существо должно быть на свете, и есть много данных, говорящих за то, что это вы.

– Предположим, – сказала леди Парангон, которой истинная скромность не позволяла впадать в скромность ложную.

– Так вот, если подобное существо должно разделить судьбу, общую для всего человечества, не думаете ли вы, что Бог – как бы это сказать? – должен был бы что-то предпринять по этому поводу? В конце концов, Бог ведь не ребенок, который пытается сделать что-то, а после того, как у него ничего не выходит, отказывается от новых попыток.

На этот раз леди Меган хранила молчание дольше прежнего. Она думала о своем братишке, который лишь плакал, когда море разрушало построенный им замок из песка. Да, совершенно

очевидно, что такое поведение было недостойно Господа Бога. Наконец она призналась:

– Преподобный Хайнс в своих проповедях никогда ничего не говорил на эту тему, а мой личный опыт чтения рун Иггдрасиля…

– Присядем, – предложил Даббс.

Он расстелил на лежащем около лестницы грубо отесанном камне белоснежный носовой платок, помог леди Меган усесться на него, а сам устроился на ступеньке у ее ног. Они сидели в три четверти оборота друг к другу на разной высоте так, что длинное худое лицо капитана находилось на уровне прикрытых голубой льняной тканью колен леди Меган.

– Предположим, – сказал капитан, и леди Меган показалось, что его голос на мгновенье дрогнул, – что Бог создает мир и остается доволен своим творением, что Он создает человека по своему образу и подобию, то есть наделенного свободой, что Он посылает его царствовать над этим миром, что человек, злоупотребив своей свободой, не выполняет своего предназначения, портится сам и портит Божий мир.

Леди Парангон молчала, прислушиваясь к далекому рокоту собиравшегося с силами моря и трогая камешки концом своего кружевного зонтика, совершенно ненужного в этот пасмурный день.

– Предположим, – вновь заговорил Даббс после минуты молчания, – что наш Бог, полный решимости, если хотите, исправить положение или преследуя иную цель, слишком глубокую, чтобы мы были способны понять и оценить ее, решает принять для этого определенные меры, а именно стать частью созданного Им мира, чтобы навести в нем порядок, а точнее, стать человеком, чтобы показать людям, какими они должны были бы быть.

– Это интересно не только в дидактическом аспекте, – неожиданно быстро, как молния, вставила леди Меган. – Если бы проект, о котором вы только что говорили, и имел смысл, Бог не ограничился бы лишь тем, что стал бы учить людей своим примером, поскольку Он понимал бы, что некоторые из них отказались бы следовать Ему. Он сделал бы больше. Он стал бы не просто человеком, а Человеком с большой буквы, встав бы в некотором роде на его место, вроде как мой учитель рисования дорисовывал за меня глаза на портретах, когда мне удавалось в них все, кроме одухотворенного взгляда.

– Именно так, – сказал Даббс. – Мы подходим к главному. Несмотря на помощь вашего учителя, рисунок все же оставался вашим, правда?

– Только избыток гордыни заставил бы меня утверждать

противное.

– Ну, а если наш предположительный Бог, создавший человека и давший ему свободу, на которой тот обжегся, решил бы вдруг его спасти, как вы думаете, стал бы Он это делать насильно, рисуя, так сказать, портрет вместо него, или, напротив, прибег бы к услугам того самого Человека с большой буквы, довольствуясь тем, что поддерживал бы его в слабости, и дал таким образом человечеству возможность самому участвовать в своем спасении?

– Думаю, что именно так Он и поступил бы.

– Так – это как?

– Прибегнув к услугам этого Человека.

Даббс надолго умолк. Волны в сопровождении эскадрилий крикливых чаек уже ринулись на песок, и их глухой рев, прерываемый сильными всплесками, покрыл все остальные звуки. Скоро узкая полоска, отделявшая берег от моря, исчезнет в волнах и путешественникам, задержавшимся на верхней террасе старого маяка, будет казаться, что они в открытом море.

– А что, по-вашему, Он попросит у человечества взамен? – спросил капитан бесстрастным голосом.

На самом деле ответа он не ждал.

Он поднялся на ноги, не отряхнув пыли со своих брюк, чтобы не привлекать к ним внимания леди Меган, и протянул ей кончики пальцев, помогая ей встать. Они постояли еще несколько мгновений, вдыхая запах прибывавшей воды. Затем спустились по лестнице: на этот раз капитан шел сзади, чтобы не увидеть невзначай щиколотки леди. Не торопясь, они поспели к самому чаю, не более многословные, чем бамбуковая трость и кружевной зонтик, которые они молча опустили в бронзовую подставку для зонтов своими узкими, затянутыми в перчатки руками.

* * *

Прошли недели. Леди Меган и капитан все так же прогуливались по берегу, большей частью молча, не сомневаясь, что между ними зреет нечто такое, к чему следовало относиться с наивысшим уважением. Знакомые остерегались нарушать это одиночество вдвоем, словно догадываясь о его значимости.

Никогда леди Меган не бывала более красива и более величественна. Обратив взгляд внутрь себя, она словно наблюдала, как там, в глубине, распускается какой-то невиданный цветок. Капитан оставался прежним, пряча напряженность ожидания под флегматичной внешностью. За все

это время они не возвращались на маяк, каждый раз, словно сговорившись, поворачивая назад за сто футов до базальтовых скал.

Ранняя осень пришла в те края. Сделанные заранее приготовления заставляли всех жить еще на побережье, но разговоры шли только о Друри-Лейн и Ковент-Гардене.[25] Даббса спрашивали, увидят ли его снова в Атенеуме, будет ли он бывать в Роу.[26] Он отвечал уклончиво. Кое-кто начал подшучивать над его неизменно белыми в белую же полоску костюмами, которым был явно не на пользу моросящий целыми днями дождик.

За день до отъезда Даббс по обыкновению зашел за леди Меган, чтобы отправиться с ней на прогулку. «Вы же не пойдете гулять в такую погоду, Меган?» – спросила ее мать. «Нет, мама, пойду», – ответила та. Они скрылись в тумане – белое платье и белый костюм под белым плащом, верные себе во всем, только вместо кружевного зонтика и трости они держали теперь в руках по большому зонту. Покрытый изморосью пляж казался розовым. Море сильно пахло омарами.

В тот день, дойдя до конца пляжа, леди Меган, ни слова не говоря, пошла дальше. Вершина маяка была скрыта туманом. Это не остановило ее, и она стала взбираться на скользкие базальтовые скалы, не приняв предложенной капитаном руки. Она первая толкнула металлическую дверь, которая загремела, как и в прошлый раз. Они поднялись наверх. Там не было видно ничего: ни земли, ни моря, ни неба. Это было похоже на лондонский смог, только более легкий, как бы протертый сквозь более мелкое сито, в котором неисчислимые капельки воды не были отягощены частицами гари. Страшно было сделать шаг, того и гляди – упадешь в бездну.

– Если предположить, что Бог руководствуется той же логикой, что и мы, – начала Меган, – что не невозможно, если мы принимаем Моисееву гипотезу, согласно которой мы созданы по Его образу и подобию, тогда если бы Бог – я имею в виду воображаемого Бога, принадлежащего сформулированной нами гипотезе, – захотел принять человеческий облик, то он не удовольствовался бы лишь внешним обликом, как это часто делали античные боги. Он должен был бы разделить с человеком условия его появления на свет, то есть прежде чем начать какую-то деятельность, должен был бы попросту родиться. Иначе это был бы просто ряженый.

Капитан Даббс ответил молчаливым согласием. Подумав, он попросил разрешения закурить и, получив его, разжег свою трубку.

– Человеческое существо рождается от мужчины и

женщины, – вновь заговорила леди Парангон в полной безмятежности, как если бы затронутая ею тема вовсе не была столь скабрезной, – поэтому следует предположить, что Богочеловек должен родиться с одной стороны от Бога, а с другой – от человека, унаследовав таким образом природу и того, и другого. Правда, порознь мужчина и женщина не обладают всеми чертами, присущими человеческой природе, которыми мужчина и женщина обладают лишь в совокупности. Но природой этой они все-таки обладают, поскольку о Джеке и о Джил одинаково говорят, что они – люди. Так что мы должны принять, что Богу достаточно будет иметь одного отца или одну мать, чтобы быть полноценным человеческим существом того или другого пола. Поскольку в нашей гипотезе ничего не говорится о том, какому полу принадлежит Бог, нам остается определить, родится ли Богочеловек от Бога и мужчины или от Бога и женщины.

Даббс курил и слушал.

– Итак, учитывая, что Бог явно не пребывает среди нас, а беременность у человека длится около девяти месяцев, похоже, Бог и правда не имеет выбора и, если он хочет, чтобы человечество приняло участие в своем собственном спасении, он будет вынужден прибегнуть к помощи женщины, которая воссоздаст ему человеческую плоть. В любом случае легче себе представить это, чем мужчину, вводящего каплю спермы в лоно Бога. (Да-да, леди Парангон, не краснея, употребляла подобные выражения.) Есть и другие причины. С одной стороны, всякий акт творчества представляется нам скорее мужским, чем женским, что позволяет предположить, что так оно и есть на самом деле. С другой стороны, трудно представить себе, чтобы Бог, в своем желании быть совершенным человеком, лишил бы себя этих девяти месяцев такого удобного и явно созидательного жития: ведь, как сказал Шекспир, может ли называться человеком человек, не рожденный женщиной?

– Я добавил бы к этому, – сказал капитан Даббс, – что женщина – существо более тонкое, чем мужчина, более благородное, более способное к самопожертвованию, а значит, она ближе к Богу. Остается лишь проблема э-э-э…

– Оплодотворения, – спокойно произнесла леди Парангон. – Представив себе любое спаривание божества с человеком, мы опять неизбежно опустились бы до уровня античной мифологии: Юпитер и Алкмена, Диана и Эндимион, и все такое… Какие-то любовные шалости во французском духе. Нет, тут должен быть совершенно иной подход: зачатие должно осуществляться без всякого шутовского соития. Что касается механической стороны дела, думается, должен быть какой-то способ: электрический

разряд или, не знаю, что-то в этом роде. Бога, вызвавшего из небытия целую Вселенную, должно быть, не затруднит решение этого вопроса.

Даббс был восхищен. Он не ошибся в этой мудрой девственнице. Разумеется, она ни за что не произнесла бы столь вульгарного слова, как «штаны» или «лямки», но слова «соитие», «сперма» слетали с ее уст, не оставляя на них грязи, что, несомненно, было связано с ее познаниями в области медицины, а также с тем, что чистота ее крови ставила ее вне мещанских условностей. Если, по всеобщему утверждению, истинный джентльмен – аристократ во всем – может делать все что угодно, то истинная аристократка может говорить все что угодно. Даббс подождал, пока она не заговорит снова.

– Короче, – сказала леди Парангон, – отвечая на ваш давешний вопрос, попросит ли Бог у человечества что-либо взамен, отвечаю: Он попросит женщину.

Какое-то время Даббс молча курил и наконец спросил:

– А как вы себе эту женщину представляете? Должна ли она быть просто женщиной, неважно какой – ведь речь идет лишь о передаче человеческой природы? Подойдет ли для этого первая попавшаяся пьянчужка, способная к деторождению? Может ли Бог вытянуть для Себя мать по жребию?

– Я думала об этом.

Они продолжали стоять посреди террасы, боясь встретиться глазами и потому делая вид, что смотрят вдаль; клубы тумана вились вокруг, окутывая их с головы до ног, под которыми зияла пропасть.

– На первый взгляд – конечно да, но по зрелом размышлении, не думаю, что наш гипотетический Бог сможет или захочет – в нашем случае эти слова должны быть синонимами – воплотиться в любой женщине. Достаточно уже и того, что сфера божественного и сфера человеческого обретают точку соприкосновения. Бог, видите ли, не может легкомысленно играть с созданными им самим законами: если Он придумал наследственность, значит, она существует, и Он не может прийти в этот мир с любыми генами – простите мне это новое, варварское слово. Конечно, как Бог Он должен опуститься как можно ниже, это понятно, чтобы привлечь к Себе всех людей, но как человеку Ему следует стоять, так сказать, на крайнем фланге человечества. В противном случае ничего не выйдет. Таким образом, необходимо, чтобы Его родительница была как можно ближе к образу и подобию Божию, то есть к тому, как Бог представлял себе человечество в момент его создания.

– Ну, тут Бог мог бы немного помочь самому Себе, – произнес

Даббс. – Он вполне мог бы избавить ту, которую собрался бы взять себе в матери, от последствий первородного греха.

– Нет-нет, это было бы мошенничество, – ответила леди Меган, едва заметно волнуясь. – Бог хочет, чтобы человечество участвовало в собственном спасении и чтобы оно при этом было таким, каково оно сейчас, на самом деле, а не таким, каким было когда-то, когда в спасении этом не было никакой надобности. Я хочу сказать: гипотетический Бог.

– Пусть так, – произнес Даббс, – но какой, по-вашему, должна быть личность той, которая…

– Прежде всего, – перебила его леди Меган, – вне всякого сомнения, эта женщина не должна была бы знать мужчины ни до, ни после того – в моисеевом смысле, если вы понимаете, что я хочу сказать.

Выпустив несколько колец дыма, Даббс спросил:

– Почему?

– Потому что, чтобы родить Бога, надо быть абсолютно свободной, а поскольку Бог существует вне времени, надо быть свободной до, во время и после. Женщина, любящая мужчину, или женщина, которую может удовлетворить мужчина, не может удержаться на той заоблачной высоте, где, по нашей гипотезе, человечество должно причаститься божества. Вы можете представить себе Бога, у которого есть соперник в любви?

– Нет, конечно, – промолвил Даббс, вытряхивая пепел из трубки и вновь разжигая ее. – Ну, а что вы еще думаете о личности этой женщины?

– Я думаю, что она должна обладать очень сильным материнским инстинктом. Мы недалеки от истины, когда говорим, что некоторые из нас – больше матери, чем супруги, а другие – наоборот, больше супруги, чем матери. Я отнесла бы нашу молодую женщину к первой категории, капитан Даббс, более того, я скажу, что архетип девы-матери, так часто встречающийся в восточных религиях, кажется парадоксальным лишь на первый взгляд. В действительности же не материнство, а, скорее, инстинкт супруги, или любовницы, если называть вещи своими именами (тут леди Меган заметно покраснела), находится в противоречии с девством. Конечно же, англосаксонская семья – в современном нашем понимании – позволяет объединить эти три стороны женской природы.

Долгое время на террасе не было слышно ничего, кроме тоскливого шума невидимого моря. Вода поднималась. Казалось, она вот-вот зальет базальтовые скалы, доберется до кирпичных стен маяка и поглотит его без следа.

Леди Меган и капитан повернулись друг к другу лицом, но

лишь на одно мгновенье, чтобы убедиться, что они по-прежнему понимают друг друга и говорят об одном и том же.

– А какая судьба ждет, по-вашему, деву-мать? – спросил капитан, с трудом шевеля застывшими губами.

– Ужасная, естественно, – увлеченно ответила леди Парангон. – Никакой личной жизни, ни мужа, ни потомства в обычном смысле слова, кроме того, ей придется своими глазами увидеть все несчастья, которые выпадут на долю ее сына. Ведь нельзя же вообразить, что Бог сделался бы человеком, чтобы вернуть человечество в Свое лоно насильно, что Он прекрасно мог бы сделать, оставаясь Богом. Нет, снизойдя до того, чтобы стать человеком, Он должен был бы стать последним из последних, чтобы до капли испить горькую чашу человеческого бытия. Я представляю его себе прокаженным, зачумленным, глухонемым, замученным до смерти. Так или иначе, Он может быть только поверженным. Но Поверженным с большой буквы. Человек может обрести свое утраченное первоначальное блаженство лишь ценой поругания Бога. И мать, которой все это предстоит увидеть…

– Эта мать спасла бы человечество, – сказал Даббс, не вынимая трубки изо рта. – Без нее, без ее согласия Бог ничего не смог бы сделать. А? Вот высокая миссия!

– Высокая, – прошептала леди Меган.

Туман тем временем клубился и обвивался вокруг них. Молочная белизна его сливалась с белизной их одежд, и они уже с трудом различали друг друга.

Даббс приблизился на шаг к леди Парангон, чтобы лучше видеть ее. Неужели это действительно Она?

Без сомнения, в мире не было ничего прекраснее этого нежного четкого профиля, этого чистого умного лба, безмятежности этого безупречного лика, неустрашимого взгляда этих ясных глаз, устремленных в безграничную даль. «Не было на свете существа, выкованного из лучшей стали», – подумал он.

– Высокая, – повторила леди Меган, внезапно повернувшись к нему, – да, высокая.

Странная улыбка изменила выражение ее лица. То была ни ирония, ни радость, а нечто парадоксальное, вроде горечи победы в сочетании с умиротворением поражения. Не отводя от капитана сияющих глаз, она договорила:

– Высокая. При условии, что ты веришь в нее.

– Что вы хотите этим сказать? – промолвил он, охваченный вдруг неизбывной тоской.

– Что лично я – не верю в это.

– Вы не верите в Бога?

– В Иггдрасиль? Конечно да! Именно в Иггдрасиль!

– Именно?

– Разве Бог по определению не един, не нетварен? Как же вы хотите, чтобы Он родился и при этом – человеком? Даже если предположить, что это было бы возможно, хотя и абсурдно, в те времена, когда человек не совершал еще грехопадения, смешно и нелепо, и я даже сказала бы, обидно для Божьего достоинства представить себе, что люди, такие, какими они стали сегодня, – низкие, подлые, несчастные, рождающиеся в грязи и бесчестье в сточной канаве, обреченные на жизнь в нечистоте и на смерть в еще большей грязи, – что они могут породить Бога! Я не говорю о том, что мысль о возможности рождения ребенка от девственницы отрицается большинством ученых. Хотя легкомыслие, с которым ученые делают подчас те или иные заявления, просто обескураживает. Думаю, что проблема эта все же решаема: знает же природа случаи партеногенеза у насекомых или у растений. В любом случае, это гораздо менее неправдоподобно, чем тварь, воспроизводящая своего Творца. Если Бог был раньше человека, то как человек может оказаться раньше Бога? Знаю, сейчас вы мне скажете, что человек способен на многие удивительные вещи: он может изобрести электричество или пожертвовать жизнью ради своей королевы или ради родины. Это так. Человек может возвыситься над своим жалким существованием, но, будем серьезны, капитан, – не над своей же природой. Мы построили с вами гипотезу, и я признаю, что она очень соблазнительна, но чтобы проверить ее на опыте, надо было бы поверить в нее, а я на это абсолютно неспособна. Можете говорить мне о расширении границ Империи за счет России или Франции, об открытии новых планет, об усовершенствовании медицины, в чем она очень нуждается, о тройном увеличении дохода от нашей внешней торговли, о сокращении числа бездомных, ежедневно умирающих от голода в Лондоне, – такой человек, как я, мог бы поверить во все это и мог бы даже в этом участвовать. Но, дорогой капитан Даббс, это…

Леди Парангон не договорила. Капитана не было больше рядом с ней. Какое-то мгновенье ей казалось, что она различает среди туманных испарений его белый развевающийся плащ, но вот и он растаял в дымке. Капитан улетучился вместе со своей трубкой. Благородная леди ничем не выдала своих чувств. Она спокойно спустилась по винтовой лестнице и вернулась домой, где под зелеными абажурами уже был подан дымящийся чай и сэндвичи с огурцом.

– А Даббс не захотел выпить с нами чая? – удивился адмирал, подняв очки и глядя поверх страницы «Таймса».

– Нет, папа. Похоже, он очень спешил, – ответила леди Парангон.

* * *

Он миновал атмосферу и стратосферу, рассек Млечный Путь, оставил позади несколько туманностей, пересек несколько галактик, достиг неба, где не было уже никаких звезд, и прибыл в места, где безграничность пространства сливается с безграничностью вечности.

Он был близок к отчаянию, ангельскому отчаянию, чернее которого нет на свете.

* * *

Стрекотали пулеметы. Ростов уже дважды переходил из рук в руки. Сегодня красные пытались взять его снова, белые оборонялись что было сил. Мура резко встала и прошла через гостиную с высоким потолком, выбитыми стеклами, изодранными гардинами и стенами, испещренными следами от пуль. В углу красная лампадка теплилась перед невредимой статуэткой Сварога – Небесного Путника, Триглава – отца остальных богов.

Когда красные захватили Ростов в первый раз, они расстреляли Муриного отца, адвоката-либерала, который всегда защищал их перед великокняжеским судом. Во второй раз они изнасиловали его вдову, скорее смеха ради, чем для удовольствия: она была грузной и некрасивой, и им было весело поиздеваться над немолодой женщиной. Детей они не тронули, а Мура пряталась в шкафу. У них не было времени, чтобы грабить, потому что белые уже шли им на смену; в отместку они только разбили сапогами клавиатуру старинного рояля. С этого дня Мура стала главой семьи: она ходила на базар, продавала столовое серебро, чтобы накормить шестерых братьев и сестер, готовила им, как умела, пищу. Все остальное время она молилась Сварогу.

Мура пошла и постучала в дверь белогвардейца.

Он не сразу ответил, но потом спрыгнул с кровати и поспешно открыл ей дверь:

– Простите, Мура. Я заснул. Вы стучали, а мне казалось, что это «максим» строчит.

Белогвардеец был почти ребенком. На нем была белая русская рубаха из небеленого холста с черными погонами,

украшенными золотыми инициалами Великого Князя, и черные шаровары. Смятая постель стояла у стены, на которой рядами расположились фотографии Муриных родственников в разнообразных рамках – серебряных, черепаховых, карельской березы, круглых, прямоугольных, овальных, простых, двойных, тройных. Рединготы, фраки, турнюры и кринолины красовались то среди цветочных горшков и желобчатых колонок в мастерской фотографа, то среди самоваров на какой-нибудь веранде, за городом, со слугами на заднем плане. Калейдоскоп глаз, носов, ртов, усов, пенсне, вееров, букетов, галстуков, фиалок, бантов, лорнетов, бородок, ожерелий, моноклей, серег наводил на мысль об очереди на Страшный Суд.

Мура взглянула на всех этих теть, дядей, кузин, кузенов, крестных и двоюродных дедушек. Она не была в кровном родстве со всеми, но не было среди них ни одного, кого бы она не знала по имени. Кроме того, в это роковое время она ощущала себя в некотором роде в ответе за каждого из них, как отвечала она за своих братьев и сестер. Такую же ответственность чувствовала Мура и по отношению к белогвардейцу Грише. Однажды она встретила его на улице – истощенного, изголодавшегося, с полными неистребимого ужаса глазами – и привела к себе. Она не желала знать ни откуда он родом, ни как его фамилия, ей вполне было достаточно его погон, которые говорили, что он – не красный.

– Гриша, – сказала она ему, – они получили подкрепление. Сегодня вечером будет решающий штурм.

Он посмотрел на нее без всякого выражения, как смотрят, когда узнают о ком-то что-то такое, чего лучше было бы не знать; только в глубине глаз все еще прятался страх. Они оба знали: она – что отправляет его на войну, он – что должен туда вернуться.

– Но сначала пойдемте прогуляемся.

Он согласился. В этом мире, где люди убивали друг друга, еще было место для приятных прогулок.

Выходя, они столкнулись на лестнице со стайкой возвращавшихся из школы ребят: дети все еще ходили в школу, несмотря на то что вскоре им, возможно, предстояло погибнуть. Это были Мурины братья и сестры. С тех пор как их мать потеряла рассудок и заперлась в чулане, пугая их своими безумными, как у затравленного зверя, глазами и невыносимым запахом, они стали считать своей мамой Муру. Они окружили ее: одни зарылись носом ей в юбку, другие повисли на руках, а самые большие, встав на цыпочки, поцеловали в щеку. Она тоже важно и степенно перецеловала всех этих Мишуток и Сашуток, скрепляя поцелуями, как печатью, свою готовность жить и умереть ради

них.

– Я недолго, – сказала она им. – На ужин будет каша.

Они вышли на улицу. Юноша шел рядом с ней, как в забытьи, прикованный к каким-то внутренним видениям. Она же, наоборот, была внимательна к людям и местам, которыми они проходили, здороваясь со знакомыми и вспоминая, какими были эти улицы, когда стены их не были искрошены пулями, когда на них не валялись кучи мусора, когда мостовая была цела, а в окнах не торчали мешки с песком. Вдали все так же стучали пулеметы. Время от времени слышалось глухое «бум!» разорвавшегося снаряда, однако штурм еще не начинался.

Мура и Гриша оставили позади каменный и кирпично-штукатурный центр города и подошли к лесистым холмам, усеянным рядами изящных деревянных домиков с резными и расписными наличниками на окнах – один лучше другого, – вырезанными и раскрашенными самими селянами. На самом высоком месте возвышался храм, посвященный Перуну, богу-громовержцу, в которого больше никто не верил. Однако там приятно было посидеть, поглядеть на город и полюбоваться закатом.

Ростов расстилался внизу в мерцающем свете наступающих сумерек: там блеснет трамвайный путь, тут радугой вспыхнет форточка. Над небольшим леском с каждым залпом канонады поднимались клубы дыма. Над высокими заводскими трубами дыма, наоборот, не было. Одна из них, поврежденная взрывом, зияла своей кирпично-кровавой раной. Сквозь пробитые снарядами крыши проглядывали внутренности чердаков. В густой листве деревьев пели птицы. Из своих гнезд то и дело обменивались очередями пулеметы. Храмы, как в мирное время, сверкали золотом куполов. Мура и Гриша уселись на каменную скамью.

– Знаете, Гриша, – сказала Мура своим глубоким серьезным голосом, – я люблю смотреть отсюда на город, мне кажется, что он похож на всю Россию, и потом, неизвестно, что будет с ним завтра. Не знаю, какое там у красных подкрепление, но очень может быть, что завтра утром все эти дома, где я всех знаю, превратятся в груду развалин. Только дымок будет виться то тут, то там, да будут слышаться стоны из-под обломков. А Россия, будет ли она завтра и послезавтра? Мы переживаем сейчас самую страшную катастрофу за все времена, понимаете, Гриша? – спросила она простодушно. – Эти люди хотят уничтожить Сварога и переделать человека.

Она говорила горячо, поучительным тоном, странным для такого юного существа.

– Совершенно ясно, – продолжала она, – что нам надо быть готовым к мученической смерти. Ах! С какой радостью я пожертвовала бы собой, если бы только моя смерть могла спасти Ростов! Но Ростов можно спасти только вместе со всей Россией. А сколько может весить моя жизнь на таких огромных весах? Интересно, о чем сейчас думают боги? Неужели они не понимают, что им грозит опасность?

– Разве боги могут что-то сделать без согласия человека? – басом спросил Гриша, у которого только недавно поломался голос.

– У них есть мое согласие, – сказала Мура. – Им следовало бы им воспользоваться. Я целыми днями твержу им об этом. Когда их заменят какой-нибудь утопией, будет поздно.

Она сунула руку за вырез блузки и вытащила цепочку, на которой висела совсем маленькая серебряная фигурка Перуна с золотыми усами. Она сняла цепочку через голову и повернулась к Грише:

– Держите. Вы знаете: Перун – сын Сварога, и даже если его нет, он должен спасти вам жизнь или облегчить смерть. Либо то, либо другое.

Будто сговорившись, пулеметы замолчали. По всей видимости, пока не стемнело, белые и красные спешили занять более выгодные позиции.

Мура надела золотую цепочку через бритую голову молодого белогвардейца ему на шею, и тот увидел, как священная подвеска упала ему на грудь. Он приподнял ее, поцеловал, расстегнул рубашку и спрятал фигурку:

– Спасибо.

Мура вздохнула всей грудью и, поджав под себя ноги, обхватила их руками.

– Ах, если б только я была Россия! – проговорила она.

Она почувствовала, как Гриша внезапно весь напрягся, как если бы он ожидал этого заявления. Весь его вид, казалось, спрашивал: «Что бы вы тогда сделали, Мура?», но он не произнес ни слова.

– Я собрала бы все свои силы, – продолжала она, – и мне было бы так жалко всех! Так жалко, что я выплюнула бы, исторгла бы из себя все зло, которое во мне сидело бы. Я ведь не злая в глубине души. Все мои писатели, музыканты, мыслители всегда были против этих ложных идей, пришедших откуда-то извне. Они всегда знали, что единственные истинные узы – это узы, объединяющие Сварога, Великого Князя и русский народ. Я слышу, как они все кричат об этом внутри меня. Ах, я бы слушала их, если бы была Россией, и как бы я их всех любила, этих моих

бедных русских! Как я просила бы Сварога, чтобы он защитил тех, кто на праведном пути, и чтобы вернул на него заблудших! И мне кажется, Гриша, да, мне кажется, что у меня хватило бы сил, чтобы очиститься, возродиться и вернуться к Небесному Путнику такой, какой он меня сотворил.

– Я думаю, женщина могла бы совершить такое, – произнес юноша. – Мужчина – нет, а женщина – да. Все спасти чистотой одной-единственной души.

– Как? – спросила Мура одним взглядом.

Он вертел в руках травинку.

– В общем, достаточно было бы просто сказать «да».

– Что – «да»?

– Просто «да».

– Кому?

– Богу, конечно. Отдаться Ему и позволить Ему войти в вас, Мура. Я верю, что Россия может быть спасена девушкой. Не той девушкой, которая поведет за собой армию, как это уже было, кажется, во Франции, а девушкой, которая согласится, чтобы на нее снизошел Дух Святой. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Потому что, в конечном счете, спасает один лишь Бог.

– Какими последствиями?

Какое-то мгновенье молодой белогвардеец беззвучно шевелил землистыми губами, словно подыскивая слова, чтобы произнести неизрекаемое.

– Меч пронзил бы сердце этой девы, – сказал он чужим голосом. – Она увидела бы, как вокруг нее умирают тысячи невинных, и знала бы, что всё это из-за нее. У нее родился бы сын, которого многие сочли бы безумным. Другие захотели бы сделать его военачальником, который спас бы Россию, но он отказался бы, ибо Россия не может спастись отдельно от всего мира, как Ростов не может быть спасен отдельно от России, впрочем, и мир не может быть спасен войной. Слышите, что я говорю, Мура? Этот сын был бы презираем, непонимаем, отвержен и в конце концов погиб бы от пыток в застенках ЧК. Он был бы позором своей семьи, и мать пережила бы его, стократ испытав в своем сердце боль, терзавшую его тело. Но этой ценой была бы спасена Россия, и именно через русских обрел бы спасение весь мир.

Облака, клубившиеся низко над горизонтом, начали окрашиваться красным, как комки ваты, пропитанные кровью.

– Если речь идет только о самопожертвовании, – начала Мура, но Гриша перебил ее:

– Эта девушка должна была бы быть лучшим из того, что

породило человечество. В ней должно было бы быть сконцентрировано все самое благородное, самое отважное, что когда-либо делали, думали, чувствовали люди, и эта концентрация должна была бы быть столь велика, что Бог и правда вселился бы в нее, что он согласился бы зависеть от нее, подчиняться ей, быть ребенком у нее на руках. Да, он пошел бы на такой безумный риск, он заключил бы это абсурдное пари и выиграл бы его.

– А она? – спросила Мура.

Солнце скрылось за облаками и, невидимое, осенило их сияющим ореолом своих видимых лучей, украсив небо подобием короны белого золота. Все напряглось, наэлектризовалось, напружинилось. Ростов повис между двумя мирами, и никто не знал, который из них возобладает. Первый вечерний ветерок взъерошил березы и вязы, погасли трамвайные пути, в последний раз сверкнуло железнодорожное полотно, померкло золото куполов.

– Она? – откликнулся белогвардеец. – Вы только поймите правильно. Она стала бы Богоматерью, вовсе не согласившись взять Бога в сыновья, а совсем наоборот. На небесах на веки вечные уготован престол для Матери-Божьей-в-Человецех-Рожденной, и вот именно согласившись принять этот престол, она согласилась бы тем самым дать свою кровь Господу. Матерь Божья – это наша мать сыра земля. Матерь Божья – это микрокосм, это все люди, жаждущие обрести в себе Бога. Матерь Божья – это мир и царица мира, это Премудрость и Промысел Божий. Матерь Божья, Мура, – это все человечество. И самое прекрасное в этой истории то, что Господь создал человечество, способное воссоздать Его Самого. В противном случае, все это было бы неинтересно.

– Да, но она-то? – повторила Мура. – Она – эта обыкновенная девочка, как все…

– Эту обыкновенную девочку назовут Зерцалом Божественной Святости, Престолом Премудрости, Обителью Духа Святого, Таинственной Розой, Золотым Чертогом, Ковчегом Слоновой Кости, Утренней Звездой, Лилией, Ладаном, Миррой, Брачным Покоем, Огненной Колесницей, Вертоградом, Книгой, Крепостью, Столпом, Венцом, Дарохранительницей, Башней, Спасением, Исцелением, Заступницей, Женой Пречистой.

Гриша поднялся.

– Божья Матерь – это люди, – произнес он тоном, в котором слышалось какое-то желание, которого Мура не услыхала.

Она глядела на родной город, лежавший у ее ног, и вновь и вновь думала о прожитой в этом городе жизни. Сначала было

счастье, скромное счастье в кругу дружной, веселой семьи, исповедовавшей добро. Затем – испытания. И она – лицом к лицу с этими испытаниями. Ей и в голову не приходило гордиться тем, что она делала. Да и что ей было делать еще? В ее боли за семью, за Ростов, за Россию не было горечи, как не было в ней и мелкого тщеславия. Просто и естественно сносила она людскую долю – страдать самому, стараясь облегчить страдания ближнего. Она думала о сестренке Сашутке, так гордившейся своим новым картонным ранцем, что это помогло ей позабыть о смерти отца и безумии матери; о братике Мишутке, который боялся засыпать, потому что каждую ночь ему снился огромный людоед весь в красном; об остальных ребятишках, уцепившихся за нее, как потерпевшие кораблекрушение цепляются за бревно, и почувствовала, как в ней, ни разу в жизни не подумавшей о мужчине как о мужчине, растет и ширится материнское чувство. Да, ей показалось, что это она родила, оставшись непорочной, всех своих братьев и сестер, всю свою семью, а может быть, и Ростов, и всю Россию. Но стать матерью всего мира? Матерью Бога? Сварога? Нет.

Она тихо покачала головой:

– Я бы не смогла, – проговорила она. – Я всего лишь русская девушка, которая делает, что может.

Глаза юноши блеснули почти угрожающе.

– Берегись, – сказал он. – Самоуничижение паче гордости.

Они надолго замолчали, словно боясь нарушить создавшееся равновесие. Вдруг в наступивших сумерках на окраине города стали один за другим вырастать огненные столбы, а под ногами у них отверзлись огромные воронки. Взрывы сотрясли землю, и железный дождь застучал по разлетающимся под его ударами крышам. Отскакивая от стен, завизжали осколки снарядов. Снова застучали пулеметы, теперь уже гораздо ближе, чем раньше. Сорванная пулеметными очередями листва золотым дождем медленно опускалась на землю. Внезапно снизу из долины донесся крик. На поверхности земли показались ряды маленьких зеленоватых, словно игрушечных, человечков с ружьями в руках, и последний луч солнца посеребрил их штыки. Они отважно бежали вперед, слышно было их бравое «ура», казавшееся смешным на таком расстоянии, но страшное для тех, кого они атаковали. На переднем фланге раскрыла крылышки и застыла, как на булавке, красная бабочка – их знамя.

– Прощай, – сказала Мура.

Гриша отошел на пару шагов, вернулся, снял с шеи Перуна и отдал его остолбеневшей от удивления Муре. Затем зашагал прочь. Он спускался по крутому склону прямо, не разбирая

дороги.

Наступавшие, остановленные огнем оборонявшихся, занявших позицию в зарослях ивняка, попадали на землю и, выстроив наскоро укрепление из своих же убитых, открыли ответный огонь. Оборонявшиеся отвечали им из-за ив. Над жнивьем ежесекундно пролетали сотни пуль.

Гриша вышел на поле ровно посередине. Чтобы добраться до своих, ему нужно было пройти вдоль канавы, налево, но он перепрыгнул через нее и, не замедляя шага, помчался напрямик под градом жужжащих, как слепни, пуль.

* * *

Он побывал у самых высокоцивилизованных народов, у ассирийцев и у инков, у индусов и китайцев, у египтян, арабов и греков. Посетил он и примитивные племена всех цветов кожи – белых, желтых, черных. Он был потрясен разнообразием человеческих пород, особенно по сравнению с относительным однообразием ангельских чинов. Он ел маниоку с женщинами племени уолоф и китовый жир с эскимосками и все больше и больше убеждался в той благодати, которой наделены все женщины рода человеческого. Да, вне всякого сомнения, если бы Бог захотел вырвать падшее человечество из его бедственного положения, Он взял бы себе для этого мать, а не отца, ибо мужчина – носитель зла.

Но когда самые святые женщины, которых он только смог сыскать, постигали смысл возложенной на него миссии, они поспешно говорили «нет». Одна не желала иметь сына-парию, другая не хотела лишиться вполне законной радости человеческой любви, та умирала от мистического ужаса перед таким противоестественным соитием, этой само утверждение о том, что Бог может стать человеком, казалось святотатством: «Если ты считаешь, что это возможно, ты не веришь в Бога». Были и такие, кто принимал его то за язычника, то за обманщика, то за чудака.

А он, ангел, знал: не выполни он своего предназначения, люди погибнут навеки.

* * *

Все любили Марион.

Никто не завидовал ни ее доброте, ни ее красоте. Ибо и то, и

другое было так же естественно, как то, что солнце греет, а корова дает молоко. Ей прощали даже то, как быстро она поднялась: сначала она просто пасла гусей, потом ее взяли на кухню помощницей кухарки, затем, когда старая маркиза заметила ее чистоплотность, ее сделали горничной, а теперь, несмотря на молодость, она уже носила на поясе все ключи от замка, раз в месяц выдавала сахар, ухаживала за больными и каждый раз, когда управляющий, господин Жюль, отправлялся в своей повозке в Перигё, составляла список необходимых покупок, – потому что в довершение ко всему она, неизвестно как, выучилась читать и писать. Все попрошайки, нищие, кривые, хромые и увечные на пять лье вокруг знали Марион. Господин друид и помыслить не мог обрезать ветку омелы без ее участия; школьный учитель брал у нее почитать календарь, а окрестные мелкопоместные дворяне величали ее «мадемуазель». Старая маркиза умерла, но с разрешения молодого графа (которого никто никогда не видел, поскольку он все время проводил либо на войне, либо при дворе, либо в других своих имениях) жизнь в замке шла своим чередом, как при ней. Господин Жюль получал арендную плату с фермеров и отсылал деньги хозяину, мадемуазель Марион заботилась о поддержании порядка в имении в ожидании того дня, когда наследнику придет наконец в голову проведать колыбель своего старинного рода.

Можно догадываться, что в воздыхателях у мадемуазель Марион недостатка не было.

Хорошенькая, как картинка, она любила детей, обещая стать лучшей из матерей, но при этом была еще и экономна, и скромна и получала хорошее жалованье, что позволило ей скопить кругленькую сумму. Не считая полутора десятков крестьян, на нее имели виды кузнец из Бурдейля, кабатчик из Поссака и даже небогатый помещик, господин Де ля Рижарди, но Марион отклоняла любые предложения, неизменно улыбаясь и не называя причин. При этом, невзирая на недоброжелательность, присущую обычно добрым людям, никому и в голову не приходило заподозрить ее даже в малейшем легкомыслии, и, за исключением случайных путников, бродячих торговцев или фуражиров, никто никогда не отваживался сделать ей какое-нибудь низкое предложение. Ни неприличной песни, ни скабрезной шутки, ни грязного слова – ничего такого в ее присутствии. Мадемуазель Марион словно изгоняла зло отовсюду, где появлялась. И весь Косе оберегал ее невинность, как драгоценную святыню, принадлежащую всем.

Мадемуазель Марион должно было скоро исполниться двадцать пять лет, но она по-прежнему оставалась юной и свежей.

Одним погожим сентябрьским утром господин Жюль попросил разрешения поговорить с ней. Поскольку они виделись каждый раз, когда следовало уладить тот или иной хозяйственный вопрос, то есть по нескольку раз в день, Марион была очень удивлена той торжественностью, с которой он к ней обратился, и предложила потолковать прямо сейчас, не откладывая. Однако он пожелал встретиться с ней позже, так как хотел должным образом подготовиться к свиданию. Пряча улыбку под капюшоном своей накидки, она предложила встретиться назавтра, на кухне, в одиннадцать часов утра, но и это ему не подошло, поскольку на кухне всегда толклись какие-то бездельники. Наконец они сговорились встретиться около руины, которую покойный господин маркиз приказал когда-то построить в укромном уголке парка.

Мадемуазель Марион явилась туда в назначенное время, как обычно в фартуке, и нашла там господина Жюля в воскресном костюме. На нем был сюртук темно-зеленого сукна с желтым жилетом, в руках он держал трость с серебряным набалдашником и перчатки, а на голове его красовался несколько потрепанный парик, который он надевал только по самым большим церковным праздникам.

– Мадемуазель Марион, – начал он, слегка заикаясь (обычно он называл ее просто Марион). – Вы знаете, что мне уже сорок лет, что я вдовец, что я в рот не беру ни капли, что наши хозяева всегда меня уважали и что у меня, как говорится, имеется кое-что за душой. В моем домике есть даже гостиная. Я же вот уже десять лет пристально наблюдаю за вами и признаю, что в вас есть все качества, которые порядочный человек желал бы видеть в своей супруге. Хотите ли вы стать моей женой? Не отвечайте сразу. Я знаю, что вы отказывались от более выгодных партий, и, что уж там говорить, почти не надеюсь на положительный ответ. Обещаю же вам, что если вы скажете нет, я без малейшей жалобы сниму жилет и парик и никогда больше даже не попытаюсь заговорить об этих глупостях. Так что же, нет?

Она увидела, как он побледнел, и не заставила его ждать больше, чем требовалось. Протянув ему обе руки, она сказала:

– Не нет, а да.

Они решили пожениться весной: Марион нужно было время, чтобы приготовить приданое.

В тот год выдалась суровая зима. Вся округа покрылась снегом, пруд промерз до самого дна, так что по нему можно было проехать на лошади. Дома и деревья трещали от стужи, а волки выли на луну.

Однажды вечером все собаки в замке разразились яростным

лаем. В дверь постучали. Старик слуга пошел отворять, прихватив с собой увесистую дубину. На пороге стоял молодой человек, его широкий плащ и треуголка были запорошены снегом.

– Господин граф! – воскликнул слуга, которому показалось, что он узнал в незнакомце повадки его отца – маркиза, не подумав, что тот должен был унаследовать и отцовский титул.

Молодой человек ничего не сказал на это, спросив только: «Как тебя зовут, старик?» и приказав, чтобы позаботились о его лошади. Марион принесла ему кувшин вина и холодного мяса, поскольку огонь на кухне был уже потушен и большинство слуг спало. Он внимательно посмотрел на нее и назвал «мадемуазель». С первых мгновений он стал выказывать ей особое уважение, словно она была знатной дамой, а не простой служанкой, которая должна приготовить ему постель.

Утром, когда взошло яркое солнце, весь замок заискрился, засверкал под снегом, словно радуясь приезду хозяина. Хотя хозяин был весьма странен: приехал ночью, без слуги, почти без вещей, не захотел проверять представленные ему управляющим счета, целыми днями только и делал, что охотился на волков, а по вечерам требовал общества мадемуазель Марион, с которой обращался по-прежнему в высшей степени деликатно. Они играли в пикет и в триктрак, сидя перед огромным готическим камином, который старый маркиз неизвестно почему приказал сохранить в отделанном по новой моде салоне. Сначала Марион робела, но скоро, благодаря необычайной обходительности хозяина, стала чувствовать себя совершенно свободно. Он предложил научить ее кататься на лошади, на что она с охотой согласилась. Они проводили все больше и больше времени вместе, но Марион была Марион, и никто не посмел ни в чем упрекнуть ее.

Однажды, видя, с каким глубоким вниманием господин прислушивается к каждому ее слову, Марион поделилась с ним своей тревогой о бедствиях, постигших их край. Лето было дождливым. Все зерно сгнило на корню. Селяне не знали, чем они будут засевать поля весной. Хозяин тотчас позвал господина Жюля, назначил суммы для раздачи бедным, даже сам посетил их, чтобы лучше понять, в чем они нуждаются, приказал дать им зерна из закромов замка. Тронутая такой отзывчивостью, Марион позволила себе в следующий раз посетовать на людское горе вообще. Она только что выиграла в кости три ливра и шесть су и, пряча деньги, которые завтра же должны были перекочевать в карман к такому-то и такому-то (она знала, к кому), она заговорила без обиняков:

– Я прекрасно знаю, господин граф, что вы не можете облегчить страданий всех, кому тяжело живется в нашей

провинции, не говоря уже обо всей Франции и обо всем роде человеческом. Достаточно но и того, что вы так заботитесь о своих подданных. Но мне трудно смириться с тем, что на земле столько несчастных, особенно детей. Я говорю не только о голоде, который всегда можно объяснить либо неурожаем, либо неумелым ведением хозяйства, либо пьянством земледельца. Я говорю о самом пьянстве, о воровстве, о насилии, которое люди все время причиняют друг другу и жертвами которого чаще всего становятся малые дети: сколько оплеух сыплется на их чистые щечки, сколько жестоких побоев терпят они где-нибудь в глубине конюшни. А разбои на большой дороге, а взаимная ненависть в семьях! Я уверена, что из десяти случаев отравления ради скорейшего получения наследства девять остаются безнаказанными. А знаете ли вы, сколько наших молодых людей становятся жестокими к своим родителям, когда те теряют силы и не могут больше работать? Я знаю стариков, которые пытались наложить на себя руки, чтобы их не попрекали куском хлеба. Вот вы ученый человек, господин граф, можете вы мне сказать, почему в мире столько зла?

Молодой граф вытянул к каминной решетке стройные ноги в шелковых чулках.

– Да, мадемуазель Марион, могу. И даже более того: хоть это и покажется вам невероятным, я прибыл сюда специально, чтобы сказать вам, что вы можете что-то с этим сделать.

– Я? Господин граф смеется надо мной. Для этого надо было бы быть королем, да и то разве наш добрый король в силах изменить что-либо в нашей природе?

– Природа, – сказал граф, рассеянно отодвигая мешочек с костями, – не была сотворена такой дурной. Высшее существо, которое пожелало, чтобы мы приобщились к блаженству, создало нас хорошими. Но если бы оно не дало нам одновременно возможности не быть таковыми, мы стоили бы не больше автоматов господина Вокансона.[27] Нас шокируют человеческие несчастья и особенно то зло, которое люди причиняют сами себе. Но лишите человека возможности творить зло, и вы увидите, как мир окаменеет, все в нем остановится, а следовательно, перестанет вершиться воля того высшего существа. А чтобы она вершилась, необходимо, чтобы была возможность обратного: в этом и заключается предназначение человека. Я охотно сказал бы, что вся Вселенная сейчас как роженица и что в конце времен она разродится человечеством, закаленным в горниле зла.

– Хорошо, пусть люди страдают, господин граф, если вы считаете, что это нужно; пусть страдают, пусть причиняют страдания другим, но не детям!

Граф сквозь прутья решетки глядел на пламя.

– Надо, чтобы человечество породило своего Искупителя.

– Да, – согласилась Марион, – а знаете, что бы я сделала, если бы была нашим богом Диспатером?[28] Вот как бы я рассуждала. Я создала человека неосторожным и непослушным. Он попал в хорошенькую переделку, но в том есть и моя вина. Так вот, мне надо снова засучить рукава и вытащить его оттуда.

– Ну, и как бы вы действовали, чтобы вытащить его, если бы вы были богом, мадемуазель Марион?

– Ну, я сама бы стала человеком. Я переносила бы жару и холод, голод и жажду, меня бы ругали и били, но я ни разу не отплатила бы злом за зло. Чем больше зла мне делали бы, тем больше я делала бы добра, и, вот клянусь, в конце концов я бы его все исчерпала – человеческое зло, потому что оно не бесконечно.

– А в каком виде вы бы пришли на землю? Мужчиной? Женщиной? Какого возраста?

– Конечно же ребенком. Почему вы хотите, чтобы я лишила себя матушки? Я бы выбрала себе хорошую, добрую матушку, только бедную и угнетенную. Слушайте: я бы взяла крестьянку из наших мест и родилась бы у нее в большой кровати с пологом, между маслобойкой и мучным ларем, а может даже, если бы она была совсем нищей, в соломе, где-нибудь в хлеву или на конюшне. И я оставалась бы Богом, творцом мира, высшим существом, как вы говорите, но в то же время была бы таким толстым пупсиком, теплым и щекастым, туго спеленутым, и сосала бы молочко из груди моей мамочки-крестьянки. И лучше бы я была мальчиком, потому что мальчикам проще заставить себя слушать.

– Надо еще, чтобы крестьянка согласилась на такого сына.

– Конечно же она согласилась бы. Они ведь согласны на все, что им говорят их мужья, почему же она откажет Богу? Вот скорее с мужем будет трудно, а ведь надо, чтобы у нее был муж, иначе кто будет кормить малыша? Вот этот мужчина, господин граф, и правда должен был бы быть святым, и я не знаю, много ли найдется таких, кто согласился бы стать отчимом Господу Богу.

Граф поднялся, и старое, местами облупившееся зеркало увидело, как он сделал несколько шагов по скрипучему паркету. Его парик был гладок и напудрен, а тугую косицу украшал белый атласный бант. В салоне было холодно, и он вернулся к камину, встал, повернувшись к нему спиной, и раздвинул полы кафтана. Надежда участила биение его сердца. Неужели через несколько мгновений его поиски подойдут к концу?

– А вы, дитя мое, – произнес он, придав твердости своему голосу, – согласились бы, например, вы стать этой женщиной?

Марион глядела, как языки пламени лижут поленья, как поленья краснеют и превращаются в черные угли, как угли белеют и рассыпаются золой, а зола собирается в кучки, и как весь очаг дышит и живет, словно какой-то невиданный бестелесный зверь. Она огляделась вокруг, обвела взглядом роняющие капли воска свечи в серебряных подсвечниках, старинную мебель, притаившуюся в темных углах, зеркало, в котором увидела саму себя – хорошенькую, красиво причесанную, с голубыми лентами в волосах и голубой косынкой, прикрывающей глубокий вырез белого платья, – графа в распахнутом кафтане, прислонившегося спиной к камину, окна, наглухо затянутые гардинами и плотными шторами, рассохшийся местами паркет, лепной потолок, почти не различимый в полумраке. Но Марион не видела всего этого, ибо виделось ей нечто другое, заслонявшее собой все остальное. Это было лицо. Доброе лицо со следами холодных ветров и жаркого солнца. Лицо мужчины, честного, верного друга.

Тут она улыбнулась и вся просияла, порозовев от радости, и, полная целомудрия, ощутила, как какая-то уверенность овладела вдруг всем ее существом, уверенность, которой она так давно сопротивлялась. Она тряхнула головой, вся во власти охватившего ее счастья.

– Нет, господин граф, я не согласилась бы. Видите ли, я люблю господина Жюля и хочу стать его женой.

* * *

Высоко, среди звезд сидел он, обхватив руками голову. Перед ним лежало последнее из подготовленных им досье. Прежде чем раскрыть его, он решил еще раз проникнуться тем, что искал.

Может быть, он не на то ставил, увлекшись достоинствами объекта, или, лучше сказать, его качественной стороной, а надо было уделять больше внимания почве – благодатной и соответствующим образом подготовленной. Может быть, он напрасно считал, что согласие должно последовать в ответ на предложение, а на самом деле оно должно было ему предшествовать. А может, сама идея получения согласия была неверна: скорее, нужна была добрая воля, даже желание, при этом, вне всякого сомнения, неосознанное, но вполне действенное, и источником его должны быть не только непорочность и самоотречение, но и вся эта генеалогическая кухня. В конце концов, если и нельзя обойтись без свободы воли, то это ведь скорее вопрос веры, а не выбора. Зачатие Бога

человеком не может быть делом одного поколения, каким бы достойным оно ни было.

Он подумал, что, возможно, недооценил момент длительности в Божьем замысле. То, что он искал, должно было явиться ему не кратковременной вспышкой сиюминутного «да», но медленным огнем любви, вынашиваемой долго-долго, от пращуров к правнукам, на протяжении столетий.

Он раскрыл досье и поморщился.

На память ему пришла индийская принцесса, с которой они так хорошо понимали друг друга. Какая величественная красота! Какая интуиция в постижении неожиданных глубин мира! Какое чувство вездесущности Господа! А ее готовность заживо сгореть на погребальном костре обещанного ей старого супруга показывала, что она не чужда жертвенности. Увы, самая мысль о том, что Бог может быть конкретной личностью, возмутила ее, а он не стал настаивать. А жаль. Жаль ему было и весталки Лавинии. Дочь народа, испещрившего мир дорогами, по которым Благая Весть быстро разнесется по свету, она поклялась оставаться непорочной в течение долгих тридцати лет и согласилась быть заживо погребенной в случае, если нарушит клятву. Она поддерживала священный огонь у Палладиума с твердым сознанием, что совершает святое дело. Он почти не сомневался, что хранительница священного огня, зажженного в центре мира, может стать Матерью Господа, однако та с негодованием отвергла возможность заменить всех богов одним, сочтя такое утверждение отвратительным и нелепым.

Так есть ли вероятность, что он найдет, что искал, у немногочисленного воинственного народа, бывшего в рабстве то у египтян, то у вавилонян, предающего мечу соседей только за то, что ему приглянулись их земли, похваляющегося в своих священных книгах своей богоизбранностью и утверждающего, что все, что он делает, совершается по воле того самого Бога, чьих пророков он систематически истребляет? Вероятно ли, что Матерь Божья будет рождена народом, у которого бытует многобрачие и где отцы, выдавая дочерей замуж, требуют в качестве уплаты сто крайних плотей своих врагов?

И все же…

Он еще раз на одном дыхании перечел все их священные книги со скоростью, с которой могут читать лишь ангелы. Пред очами его вставали все новые и новые картины.

Когда Господь создавал первую женщину, как рассказывается о том в этих самых книгах, не думал ли он при каждом движении своих искусных рук, что создает прабабку своей будущей Матери, и не потому ли пообещал он ей победу над змеем? При мысли о

Боге, творящем собственную мать, он умилился и стал видеть все яснее: так бывает, когда рассеиваются облака, открывая понемногу звездное небо.

Он перечитал легенду о плавающем ковчеге, на котором спаслись мужчина, женщина и животные, и подумалось ему, что и тут присутствует образ Матери Божьей.

Он прочел рассказ о горящей любовью Неопалимой Купине, пламя которой не угаснет до скончания веков, и снова увидел образ Матери Божьей. Он прочел сказание о море, приоткрывшем свою пучину, чтобы пропустить святой народ, и опять привиделся ему образ Матери Божьей.

Он перечел историю Храма, выстроенного людьми, чтобы вместить Того, Кого ничто вместить не может, и понял, что и это – образ Матери Божьей. И наконец, прочел он обо всех явлениях Славы Божьей: и в светящемся облаке над ковчегом Завета, осенившем гору Синай и бывшем «пред глазами сынов Израилевых как огонь поядающий», и в свете, залившем лицо Моисея, и в дуновении, коснувшемся щек Илии, и в колеснице, увиденной Иезекиилем, – во всем он видел образ Матери Божьей.

Тогда он раскрыл последнее досье.

* * *

Отец – Иоахим. В возрасте. Богат. Царского рода, из дома Давидова. Набожен и благочестив. Приносит Господу двойные жертвы. По положению своему должен быть первым из первых. Однако завистники укоряют его: «Не можешь ты быть первым из первых, ибо не дал ты потомства Израилю!»

Иоахим подавлен горем. Он перечитывает древние писания. Что правда, то правда: все праведники всегда имели детей. Даже Авраам на старости лет. Он в отчаянии. «Значит, Господь не любит меня? Зачем же мне тогда вообще встречаться с женой моей?» Он удаляется в пустыню, постится днем и ночью. «Молитва будет мне и едой, и питьем».

А в его красивом доме, в Иерусалиме плачет и бьет себя в грудь Анна: она не только бесплодна, она теперь как вдова. Люди насмехаются над ней и в конце концов изгоняют ее из Храма. В изнеможении падает она под лавровым деревом. «Господи, я хуже птиц небесных, ибо они приносят потомство пред лице Твое. Я хуже скотов неразумных, ибо и они приносят потомство пред лице Твое. Я хуже диких животных, ибо и они приносят потомство пред лице Твое. Я хуже вод, рождающих рыб, которые благословляют Тебя. Я хуже земли, воздающей славу Тебе

плодами, ею приносимыми». Она не жалуется ни на что, кроме своего бесплодия пред лицом Господа. «Если когда-нибудь будет у меня дитя – сын ли, дочь ли, – я отдам его Тебе, Господи, чтобы до конца дней своих оно служило Тебе».

Как-то раз Иоахим заснул в пустыне и видит во сне, как с небес к нему спускается ангел – гляди-ка! – и говорит: «Иоахим, Господь Бог услышал твои молитвы. Возвращайся к Анне».

Старый Иоахим ликует. Он оставляет пустыню, созывает своих пастухов и отбирает десять ягнят без малейшего изъяна и пятнышка – для Господа, двенадцать тельцов, тучных и нежных, – для священников и сто черных козлят – для народа Анна слышит, что муж ее возвращается из пустыни. Она бросается к Золотым вратам, которые в тот день открылись в последний раз, и видит, как муж идет к ней с сияющим лицом впереди стада. Она бежит к нему и бросается ему на шею под блеянье ягнят, мычанье тельцов и крики бодающихся козлят. «Я знаю теперь: Господь осыпал меня благодатью. Я была вдовой – и вот у меня снова муж. Я была бесплодна – и вот я рожу».

У них родилась дочь, которую они назвали Мириам и в возрасте трех лет посвятили Храму. Священник поцеловал ее, благословил и усадил у подножия алтаря. Она стала жить при Храме, и единственной заботой ее было служение Богу. Когда пришло время ткать новую завесу для Храма, это поручили восьмерым девушкам из дома Давидова. Они бросили жребий, каким материалом кому работать: одна вытянула золото, другая – серебро, третья – лен, четвертая – шелк, пятая – лазурь. Мириам достались багрец и пурпур.

Достигнув зрелости, она не могла больше жить в Храме, и первосвященник посоветовал выдать ее замуж, лучше за вдовца. Родители стали искать жениха, чтобы был он, как и она, из дома Давидова и чтобы пользовался хорошей репутацией, ибо они боялись доверить свою дочь первому встречному. Такой человек нашелся в Галилее, в местечке, где проживала сотня «нетцеров», то есть выходцев из царской семьи, и которое называлось потому Назарет. Иосиф занимался весьма уважаемым ремеслом – он был плотником, был он богобоязнен, а во сне ему часто являлись ангелы (так-так!). Мириам обручилась с Иосифом, и тот увез ее к себе в Назарет. Скоро они поженятся.

* * *

Он закрывает досье.

Крылья его раскрываются и наполняются ветром, который

уносит его вдаль.

Чем люди живы

На метро Махмуд опоздал.

Теперь ему придется возвращаться к себе на окраину пешком, а теплой куртки на меху, которую он собирался купить, у него не было. Два, три, четыре часа ходьбы? Неизвестно. Прожив две трети жизни во Франции и ни разу не побывав за это время на родине (он хотел сохранить свое тело в целости), он знал только два замызганных, светящихся неоновыми лампами островка, соединенных длинным туннелем. На одном конце туннеля – населенный эмигрантами окраинный район, где он жил, с пряными запахами, татуированными женщинами, арабской музыкой и развевающимся на балконах бельем. На другом – парижский квартал, где в вонючих лавчонках, зажатых между ярко-розовыми секс-шопами, он покупал кожу, а затем продавал сшитые из нее восточные туфли. А какая у этого туннеля длина – он понятия не имел. Махмуд мог бы идти по станциям метро: он заучил их названия, как молитву, а когда-то умел даже читать по карте, что было предметом его немалой гордости. Так что, когда он увидел, как последний поезд исчезает в туннеле, словно сабля в ножнах, он только проворчал, поежившись:

– Все-таки Бога нет.

Он любил это выражение, потому что оно заключало в себе не свойственный исламу протест и не было при этом откровенным богохульством. Он любил его и потому, что оно причиняло ему боль, ту самую боль, которая вот уже тридцать лет постоянно сопровождала его. «Все-таки Бога нет!» Конечно же, Бог есть. Но это уже другая история, и не людям в этом разбираться. Нетвердо шагая по снегу, в который по щиколотку проваливались его дырявые башмаки (сапожник без сапог – известное дело), он пошел в ночь.

А было все так.

Махмуд поехал на Барбес,[29] чтобы купить себе теплую куртку на меху. У него были кое-какие сбережения, а остальное он рассчитывал добавить из тех денег, что были должны ему клиенты. Но вы знаете, что такое клиенты. Хамид выдавал замуж дочь, Кадер хоронил мать, Хамана только что приехала из родных краев, а Бушларем недавно вышел из тюрьмы. Все они обещали расплатиться с Махмудом – кто завтра, кто на следующей неделе, а кто и через месяц. Теплая куртка на меху в ближайшее время ему явно не светила, сбережения были теперь вроде как и ни к чему, так что напрашивалось самое разумное решение – пропить их. Чем Махмуд и занялся, добросовестно и методично, не

пропуская ни одного бистро, пронзавшего заснеженную тьму ярким светом своей витрины. В каждом заведении он выпивал по стаканчику. Тридцатилетнее попрание законов Корана не закалило его сердца, и каждый стакан добавлял горечи в его измученную угрызениями душу. В результате чего, когда он вышел из последнего бистро, опоздав на последний поезд, в его глазах блестели слезы, и причиной тому был не только холод.

Когда он понял, что ему предстоит променять теплое автоматизированное подземное лоно на ледяную пустыню, отделявшую Барбес от Сен-Дени,[30] он смирился с неизбежностью, проглотил слезы и затянул вполголоса монотонную песню, построенную на четвертьтонах, вставляя в нее время от времени бессвязные, только что придуманные слова, из которых следовало, что их автор обманут, одурачен, предан и обижен неверными, которых он все равно любит. Раз он заприметил было какую-то забегаловку, где свет был еще не потушен, но стулья уже громоздились один на другом. Его без церемоний выпроводили оттуда. Он не обиделся: за тридцать лет можно привыкнуть.

Он шел меж двух рядов квадратных столбов, вдоль железнодорожного полотна, по подземному переходу, мимо кладбища, размеренным шагом – р-р-раз, два-а-а, р-р-раз, два-а-а – мимо торгового центра, пробирался между двумя стройками, шагал по асфальту, по бетону, по металлическим решеткам, под гигантскими рекламными щитами. Все это было черно-белым и состояло из одних прямых линий, сходящихся под прямым углом, будто в комиксе, по которому он тащился, как муравей, гундося свою песенку, сжавшись в комок в красном пальто, взятом у жены, а потому застегивавшемся не на ту сторону. При этом он грезил…

…Он грезил о другой стране, где могло быть так же холодно, а может быть, и еще холоднее, но где тогда было так невероятно, так героически жарко, в тот день, с которого все пошло прахом (де Голль ведь только потом заговорил о самоопределении). А в тот момент – не было дня, чтобы Махмуд не вспоминал о нем, – он так горячо, так отчаянно молился, чтобы не умереть. «Все правильно, – подумал он со злобой, – лучше уж положиться во всем на волю Господа, не пытаясь понять ее, а не то, чего доброго, Он услышит твои необдуманные молитвы, так потом хуже будет».

Ему, Махмуду, было тогда семнадцать или восемнадцать: он никогда точно не знал даты своего рождения. Когда надо было идти в школу, зацикленным на таких вещах французам – «франси», как их там называли, – говорили невесть что, при этом их вовсе не обманывали, потому что самим-то это все было без разницы. Так вот, школа в пяти километрах от дома (он так ее

боялся), где учитель за ерунду ставил вас коленками на поленья, где надо было наизусть учить все префектуры и супрефектуры страны, которую ты никогда не увидишь, – эта-то школа круто изменила жизнь маленького Махмуда, потому что там он влюбился во Францию. Да, влюбился, – в такую далекую и такую родную. Он представлял ее себе принцессой в длинном платье из золотой и лазурной парчи – он видел такую в книжке с картинками, на которую как добрый мусульманин не должен был даже смотреть.

Влюбился, да, но почему? Он и сам не знал. Сначала ему доставляло огромное удовольствие как можно лучше говорить на этом красивом, таком ясном и гладком языке, на котором отец его говорил еле-еле, а мать и вовсе не знала ни слова. Затем он всем сердцем полюбил таблицу умножения, которую надо было распевать хором всем классом. Да и все остальное было ему по сердцу: уроки гражданского права, на которых рассказывали такие благородные вещи о родине и о социальной справедливости; пластилин, из которого можно было лепить все, что захочешь; «Марсельеза» (там так здорово поется про «нечистую кровь»); грамматика, где так хитроумно сплетаются вещи и действия.

Полюбил он и своего соседа по парте, толстого Рэмона, сына местного поселенца, маленького ворчуна, вечно терявшего свои ручки и всегда готового поделиться бутербродом со шпиком (таким же запретным для мусульманина, как и книжки с картинками, ну и пусть!). Через Рэмона он узнал его сестру, Зерлину, которую видел только издали, потому что она ходила в школу для девочек. Он никогда не осмелился бы заговорить с ней, но ее платья в бело-розовую клеточку с присобранными плечиками, ее ярко-голубой фартук даже на расстоянии заставляли его сердце биться сильнее.

Короче говоря, все эти «франси» нравились Махмуду куда больше, чем его простодушные собратья. Те казались ему какими-то недоделанными, как будто они остановились в своем развитии когда-то давным-давно; будущее было явно за «франси», и надо было их догонять.

Махмуду казалось, что сирокко, ветер пустыни, подул в обратном направлении, из-за моря, с севера на юг, неся с собой прогресс и процветание, и что единственным спасением для его народа, единственной надеждой преодолеть духовный застой, в котором он пребывал со времен арабского завоевания, была материнская любовь далекой Франции, за которую и его дед, и его отец сражались во время обеих мировых войн. («Материнская, скажешь тоже! – отвечал он сам себе теперь, по прошествии

жизни. – Все-таки Бога нет. „Козел черномазый" или просто „Пшел вон отсюда!" – один черт, неизвестно, что хуже!») В эти невинные, наивные годы маленький Махмуд даже помыслить не мог о том, чтобы как-нибудь побывать во Франции: разве можно побывать в раю? Ему хватало картинок из учебников по истории и географии да плакатов с изображениями замков и плотин, развешанных на стенах класса. Ему не повезло: со школой пришлось расстаться. Отец нуждался в его помощи по дому, и вскоре испачканные французскими фиолетовыми чернилами руки мальчика покрылись мозолями от кабильской[31] мотыги.

А потом была война.

Сначала война была ненастоящая. Были просто ритуальные убийства. Ночью раздавался стук в дверь, и утром хозяйка находила у себя в корзине голову пастуха, который носил баскский берет – знак лояльности к французам; или старику, пристрастившемуся к сигаретам – опять пагубное влияние христиан, – отрезали губы зазубренным секатором; или же учительницу младших классов находили с распоротым животом и засунутым туда мертвым младенцем; или же ветерана Седьмого стрелкового полка обнаруживали с отрезанными гениталиями во рту… И конечно же, начались поборы: «С тебя пятьсот франков для независимого Алжира. – А что такое независимый Алжир? Что такое Алжир вообще? Разве это страна такая, чтобы ей быть независимой? – Знаешь ты или не знаешь, все равно платить придется. А не то сделаем тебе кабильскую улыбку».

И все это, разумеется, именем веры, той самой агрессивной веры, которую кабилы, силой обращенные в йотам за двенадцать веков до того, с трудом признавали своей. Для них ислам заключался не в священной войне, а в молитве и милостыни, а для самых набожных – в отказе от спиртного, от свинины и от индюшатины (мясо какой-то части индейки похоже на свинину, а вот какой именно – все забыли).

Революционеры утверждали, что они освобождают родину, о которой никто и не слыхал, потому что единственной настоящей родиной для кабилов был джебель,[32] а родина как идея была прочно связана с Францией. В их селе никто и не подумал подчиниться новым законам, пока не зарезали одного или двух стариков-ветеранов, прогуливавшихся в сверкавших на солнце французских медалях. Тогда пришлось выбирать; и если отец Махмуда, слишком старый, чтобы воевать, вышел из положения, распрощавшись с несколькими дуро, сам Махмуд, которому только что исполнилось семнадцать лет, пошел и записался во вспомогательные войска французской армии. Он сделал это не только оттого, что во время войны молодой человек должен

браться за оружие, а еще и потому, что ему нравилось французское присутствие в его стране – эта близость к цивилизации, смягчение нравов, – потому, что он любил своего школьного учителя, которого всегда боялся, своего приятеля Рэмона и его сестру Зерлину, учившуюся музыке (иногда, при сильном ветре, звуки ее фортепиано разносились далеко вокруг) в большом прохладном доме, в тени скрипучих пальм. Два раза Махмуд заходил к ним в дом, и Рэмон даже показал ему пианино, которое оказалось странной штукой из полированного дерева с черно-белой зубастой пастью и четырьмя подсвечниками.

Став военным, Махмуд – веселый, услужливый, открытый, неутомимый и храбрый – сразу сделался любимцем лейтенанта и младших офицеров. Сам себя он храбрым не считал: просто он не боялся смерти, потому что если бы он и умер, то это было бы от любви. Он первым лез в пещеры, у входа в которые были подвешены одна-две гранаты, он выполнял роль проводника и разведчика, он взбирался на самые высокие сосны, чтобы обозревать окрестности, а когда начиналась стрельба, он улыбался во весь свой белозубый рот: «Жарковато становится, господин лейтенант». Боевики, которых французы называли феллагами, были для него просто сволочью. Он не понимал, за что они борются; надо было как следует очистить от них этот новый юный Алжир, о котором даже «франси» начинали говорить и думать как о чем-то, существующем на самом деле. Единственным правым делом была для него Франция. Еще лучше стало, когда Франция избрала себе президента-солдата, преподнесшего Махмуду самый лучший подарок: он сделал его французом и в подтверждение этого выдал ему удостоверение личности. Махмуд тогда еще не знал, что это ловушка для дураков.

С того дня, как в кармане у Махмуда появился документ, в котором говорилось, что он француз, он стал бояться идти в бой, потому что теперь его жизнь кое-чего стоила и он не хотел расставаться с ней. Страх овладевал им всего на несколько секунд, а в остальное время он был так же спокоен, как и раньше. Однако к нему вернулась утраченная под влиянием французов давняя привычка к молитве. Нет, он не молился по пять раз на дню, распростершись на коврике головой к Мекке, он делал это так, от случая к случаю, с мыслью, что, несмотря на то, что он грешит, балуясь в казарме пивом, все равно когда-нибудь он увидит Бога, потому что Бог, конечно же, за французов, раз Он дает им победу. А после войны, может быть, всем алжирцам, которые станут французами, будет разрешено пить пиво, даже шейхам. Вот будет потеха!

Серьезное испытание выпало для него в изнуряюще-жаркий августовский день, совсем не подходящий для военных действий. Утром они как-то зазевались, и отряд «этих сволочей», вооруженных до зубов, окопался за скалами. Было бы благоразумнее – да так оно обычно и делалось в таких случаях – пустить в ход артиллерию или за неимением таковой – «Т-6», а затем высадить с вертолета группу легионеров-парашютистов прямо на верхотуру. Тогда бы «эти сволочи» оказались зажатыми меж двух огней и должны были бы либо сдаться, либо подохнуть на месте, самое милое дело. Но лейтенант был резервистом, и его это очень волновало: «Мне осталось служить всего полгода, а потом – обратно в резерв. Я хочу воспользоваться моментом». Ему надоело смотреть, как легионеры зарабатывают себе бляхи. Командуй он беднягами-новобранцами, ему обязательно запретили бы лезть на рожон, а тут, если что, ухлопают только его самого да несколько чурок, – и ему разрешили. Он дал сигнал к атаке.

И вот тогда, перебегая от дерева к дереву, прыгая с камня на камень, видя, как Али, и Моханд, и Мубарек падают на бегу, скошенные шквальным пулеметным огнем, слыша, как пули с отвратительным визгом отскакивают рикошетом от камней, выбивая из них брызги осколков, – вот тогда Махмуд, с трудом переводя дыхание, сжимая в руках раскаленный автомат, стал от всего сердца молиться:

– Великий аллах, не дай мне умереть сегодня!

Тут же пуля ударила ему в голову, пробила тяжелую каску и, таинственным образом изменив траекторию, отскочила, сплющившись, в сторону, даже не задев вторую, легкую каску из прессованного картона. Он нашел ее потом в промежутке между двумя касками. И сейчас, спустя тридцать лет, он все еще хранил ее, как драгоценность.

Итак, Махмуд не хотел умирать, и у него были на то основания. Он не хотел этого не только потому, что теперь у него, как у всякого француза, было удостоверение личности, которое он каждый вечер доставал из кармана и смотрелся в него, как в зеркальце. Еще его обещали произвести в капралы. И у старшего брата родился третий сын. А еще молодому солдату вспомогательных войск улыбнулась девушка из соцобеспечения. О соцслужащих, даже о француженках, чего только не рассказывали, но эта выглядела такой чистой и наивной, что сладостные чувства захлестнули сердце Махмуда. Кто знает, что может случиться в будущем, в том самом будущем, в котором, как говорит президент Франции, Алжир будет населен одними полноправными французами? Все вместе эти мысли и были

счастьем, а счастье было немыслимо без огромной, пантеистической веры во Францию. В этом любовном ликовании Махмуд лез под пули, рисковал жизнью и просил, чтобы у него не отбирали эту жизнь, по крайней мере, не сегодня. И когда его жизнь была чудесным образом сохранена, он от всего сердца вознес хвалу, но не столько аллаху, сколько французскому ангелу-хранителю.

И вот теперь, через тридцать лет, старый, оборванный сапожник Махмуд шагал по безлюдным окраинам Парижа, с мокрыми, заледеневшими ногами, и сжимал в кармане брюк ту самую, не убившую его искореженную пулю.

Сколько всего прожито за эти годы! Победоносная Франция постыдно капитулировала перед горсткой побежденных, отказалась от данного ею слова, изменила своему предназначению, предала своих друзей в руки врагов, ввергла верный ей Алжир в тройной мрак нищеты, социализма и исламского фундаментализма. Долгие месяцы Махмуд прятался, боясь, что с него живого сдерут кожу или засолят его живьем, как это произошло с некоторыми из его товарищей. Наконец ему удалось пробраться во Францию, в которой он видел теперь не какой-то таинственный рай, а просто убежище. Он думал, что уж во Франции-то он сможет воспользоваться своими военными заслугами, что там-то уж он будет что-то значить… Француз он или не француз? Нет, он больше не был французом. Все-таки Бога нет. Правительство и слышать не хотело о вспомогательных войсках, оно готово было отправлять своих бывших солдат пароходами назад, в Алжир, на растерзание фанатикам. Армии было стыдно, но она ничего не делала, науськанное прессой общественное мнение считало сотрудничавших с Францией чуть ли не новыми коллаборационистами. Поди объясни им, что коллаборационисты это те, кто помогает иностранным захватчикам, а французы в Алжире были кем угодно, но только не иностранцами и не захватчиками. Да за такие слова вам просто плюнут в глаза.

И вот воин Махмуд стал подметалой в метро, потом мусорщиком. Он спал в ночлежках, по семнадцать человек в комнате, целыми днями простаивал в очередях в различные учреждения, где всякие чинуши специально коверкали его имя, слушал, как его обзывают то «чуркой», то «козлом», и думал, что умрет от голода и унижения. И никто из горячо любимых им французов пальцем не пошевелил ради него. Совершенно случайно он попал в подмастерья к сапожнику, который, как и Махмуд, принадлежал к одному из берберских племен, обращенных в ислам и ограбленных арабами. Махмуд выказал

большие способности к ремеслу. Он правильно пользовался шилом и ножом и шил такие отличные туфли шафранно-желтого цвета, что они могли поспорить с лучшими марокканскими образцами. Конечно, это была ручная работа, и стоило это дороже, и покупателей было меньше, но истинным знатокам туфли нравились, особенно кабильская вышивка, украшавшая их вместо приевшихся арабских инкрустаций. Когда сапожник умер, его лавчонка перешла Махмуду. Он по-прежнему не был ни богат, ни счастлив, но у него имелся кусок хлеба, и он был благодарен за это, правда, сам не знал кому.

Он даже женился, или, во всяком случае, сошелся с женщиной – не поверите! – с француженкой. Правда, она была с Корсики, и это слегка портило картину, так как, неизвестно почему, он делал разницу между островитянами и жителями метрополии. Франческа не отличалась ни молодостью, ни красотой, ни особой чистоплотностью, при этом в свое время она занималась ремеслом, о котором лучше было забыть, но она была француженкой по рождению, и, несмотря на горечь предательства, на последовавшие затем оскорбления, Махмуд находил огромное удовлетворение – и это было не просто тщеславие – в том, что он, проливавший в буквальном смысле слова свою «черномазую» кровь за Францию, имел в постели настоящую француженку. Франческа была для него той девушкой из соцобеспечения, что когда-то улыбнулась ему, Зерлиной в бело-розовом платьице и голубом фартуке, парчовой принцессой из книжки с картинками. Все они были не для него. Он трудился над Франческой и думал: «Вот она – Франция». Без всякой злобы. У сильных своя жизнь, у богатых – своя, а мы – бедные и слабые – созданы, чтобы страдать: такова воля Господа. И лишь иногда, под действием выпитого, он использовал любовные ласки для наказания и унижения.

Станции метро сменяли друг друга в ледяной бетонной пустыне. Он и представить себе не мог, что они так далеко отстоят друг от друга. Хлопья мокрого снега слепили его. На каком-то перекрестке блуждающий в ночи автомобиль обдал его грязью вперемешку со снегом. «Скоро я буду еще грязнее, еще несчастней, чем всегда. Ну и пусть. Все-таки Бога нет».

Он не знал, сколько времени он шел, когда вдруг где-то между заводом для эмигрантов и небоскребом для бюрократов, несмотря на алкогольные пары и ночной туман, стал понемногу узнавать округу. Это было уже недалеко от его дома. Вот этот каменный куб с круглым верхом – это мечеть, куда его однажды затащил приятель в надежде обратить его в веру. Франческа тоже не была против: «Вот-вот, помолись аллаху, спроси его, не хватит

ли тебе надираться!» Но в мечети ему не понравилось. Там было полно бородатых мужчин угрожающего вида и молодых людей с больными глазами, в которых читалась готовность пожертвовать собой и кем угодно. Пророк для них был не Пророк, а наркотик. Все они считали себя «бен-Ларби», сынами аллаха. Кругленькому сапожнику, сражавшемуся за любимую Францию, нечего было делать среди них.

Ветер, яростно завывавший на пересечении авеню Ленина и бульвара Манделы, намел у стен мечети огромные сугробы. Среди этих снежных гор что-то шевелилось.

Другого движения вокруг не было. Ни прохожих, ни машин. Даже снег перестал. Только изредка ветер закружит на мостовой обрывок промасленной бумаги или загремит пустой банкой из-под кока-колы. Но около мечети что-то шевелилось, и, подойдя ближе, Махмуд в металлическом свете фонарей увидел, что это человек.

Человек сидел скрючившись, колени выше головы, голый.

Почти или совершенно голый? Отсюда не было видно. Весь посиневший, застывший от холода, но живой. Как он там примостился – на коленях, на четвереньках? Непонятно.

Первое движение: ускорить шаг и пройти мимо. Но затем включилось неизбывное милосердие детей Авраамовых. Кто хоть раз слышал о Коране, не сможет оставить умирать от холода еще живого человека, который к тому же ничего плохого ему не сделал. Махмуд с опаской подходит ближе, а тот старается поднять застывшие от холода руки, похожие на культи.

– Пошли, – говорит Махмуд.

И пока этот синий призрак пытается встать, опираясь одной рукой о сугроб, а другой прикрывая свою наготу, Махмуд расстегивает одеревеневшими пальцами пришитые не на ту сторону пуговицы красного франческиного пальто. Синтетический пиджак под порывами ветра липнет к его бокам, и, внезапно почувствовав себя тоже голым, он, как на пугало, натягивает пальто на негнущиеся руки и спину человека.

– Пошли!

Тот еще и босой, но Махмуд не собирается разуваться. Асфальт весь покрыт мягким снегом, они идут – Махмуд впереди, не оборачиваясь, а тот не отстает от него.

– Увидишь, – застывшими губами говорит Махмуд, – это рядом.

Ветер режет ему грудь. Время застыло в этом холоде. Остается только терпеть и страдать, это нетрудно. Еще несколько минут, и они пришли.

Сквер, нищету которого милосердно скрывает снег. В центре

– то, что богачи и интеллигенты называют современной скульптурой: три куба один на другом, из которых торчит банан под зонтиком, короче, насмешка над всеми бедняками, живущими поблизости, насмешка, за которую какой-то там иностранный скульптор получил денежки от мэрии – правой или левой, один черт! Вокруг многоэтажки, лестница в подвал, ступеньки, коврик, который притворяется, что он – трава («Осторожно, он колючий!»), запах кухни и уже тепло, дверь, выключатель и вдруг рыжая, вклокоченная голова еще сонной, а может быть, и подвыпившей Франчески.

– А-а-а, вот и ты! Ты что, не попал под машину? А я уже хотела сказать спасибо Господу Богу! А это еще что за малахольный? Чего это он мое пальто натянул? Где ты его откопал?

И правда, у него был такой вид, будто его только что откопали. Черный, изможденный, зубы стиснуты, чтобы не стучали. В красном пальто, узком, как смирительная рубашка. Вокруг закоченевших ног – лужица. И взгляд мертвеца, если только мертвые могут смотреть.

– Принеси рубашку, штаны, свитер какой-нибудь, – сказал Махмуд.

Когда он командует таким тоном – спокойно и кратко, она всегда слушается. Она знает, что если ему придется повторить сказанное дважды, он просто убьет ее, да-да, убьет (а что? смертной казни больше нет, а за решеткой может быть и вовсе неплохо), убьет от стыда.

Ругаясь и ворча, она идет рыться в старых чемоданах, выискивая что похуже, и наконец возвращается с ярко-красной футболкой в пальмах и парусниках, брюками с дыркой на правом колене, кальсонами в невыводимых пятнах и собственной жакеткой – плечики, узкая талия, плиссированная баска, – которую она не надевала уже лет двадцать.

– Жрать давай, – говорит Махмуд.

Франческа, все еще в мятой розовой пижаме, набрасывает стеганый, пахнущий кухней халат ядовито-розового цвета. Сквозь драные тапки видны ее потрескавшиеся пальцы. Гость старается разогнуть зашедшиеся от холода кисти рук. Курсируя между буфетом и холодильником, Франческа то и дело поглядывает на него исподлобья. Пока он, стыдливо забившись в угол между шкафом и деревянной кроватью (у Махмуда все, как у настоящих французов, в том числе и мебель – от самого Левиафана), силится натянуть негнущимися руками кальсоны на свои закоченевшие ноги, она ставит на стол головку сыра, хлеб, красное вино.

– Ну как, – спросила Франческа, желая показать этому

чужаку, что у нее с мужем есть общие интересы, к которым он не имеет никакого отношения, – купил куртку?

– Не спрашивай, – ответил Махмуд тоном, не терпящим возражений.

Она прекрасно понимает, что ей лучше помалкивать, потому что у пьяного (а если б он не был пьян, он не привел бы этого доходягу) у него рука тяжелая. «Я луплю Францию», – говорит он в такие моменты, и по нему видно, что он получает от этого наслаждение.

Судорожно двигаясь, натыкаясь на мебель, незнакомец усаживается за стол. Стакан красного вина дрожит в его руке. Он скребет по тарелке ножом так, что хоть уши затыкай. При этом он как-то странно держит нож и вилку, словно не умеет ими пользоваться. И не поднимает глаз от тарелки. Слева от него Махмуд тоже подкрепляется, хотя это больше похоже на закусывание после выпивки. Он поглядывает на гостя сначала краешком глаза, потом принимается разглядывать его в упор и наконец спрашивает с полным ртом:

– Как тебя звать?

Было бы невежливо спросить его, откуда он, куда идет, как зовут его мать или почему он голый, но имя есть у каждого, даже у военнопленных.

– Как хочешь, – тихим голосом отвечает незнакомец.

Это его первые слова за весь вечер.

Тут же Махмуд решает, что так он и будет звать этого человека, ибо только так можно тактично отреагировать на этот странный отказ сделать то, в чем обычно не отказывают.

– Ну, тогда, Какхочешь, возьми еще паштета.

Они кончают есть. Франческа мечется от раковины к буфету, украдкой поглядывая на незнакомца. А ведь он красавец: смуглое матовое лицо, изящный изгиб шеи, тень пробивающейся черной щетины на щеках, вьющиеся черные волосы, фиолетовые губы словно вырезаны резцом скульптора, тяжелые веки в обрамлении длинных густых ресниц. Мальтиец? Араб? В любом случае, он гораздо ярче и выразительнее, чем Махмуд, который в детстве был вообще белокурым, потом потемнел и стал шатеном, а теперь и вовсе поседел. Кто же это? Его родной брат? Двоюродный? Но почему он голый, да еще в ее пальто? Может, тут замешана политика? Вообще-то Махмуд политикой не занимается, но кто знает? Время от времени Франческа посматривает на раскрытую двуспальную кровать, занимающую целый угол подвала, прямо напротив стола, за которым обычно работает Махмуд. Ей хочется поскорее туда вернуться, но не раньше, чем этот чужак выкатится. В этот самый момент, подняв свои черные глаза, он произносит:

– Спасибо.

Теперь он уйдет.

Франческа вздохнула с облегчением, но и с некоторым разочарованием. Незнакомец, конечно же, не мог остаться у них, но все-таки жаль, что такое невероятное приключение вот так и кончится.

Он поднялся и, едва не упав, вцепился в стол обеими руками с синими, как у негра, ногтями.

– Куда ты, Какхочешь? – спросил Махмуд.

Тот тихо покачал головой, которая все еще с трудом поворачивалась на его шее. Чувствовалось, что ему все еще холодно: тепло лишь ласкало его тело, не успев проникнуть внутрь.

– Я спрашиваю, куда ты?

– Не знаю.

Это были его вторые слова.

– А я вот знаю, куда. Никуда! Ты останешься здесь. Франческа, постели-ка ему на ковре.

Франческа покачнулась, словно ее внезапно ударили. Как граната, из которой вынули чеку, она помедлила несколько секунд… и наконец взорвалась.

Приводят тут всяких голодранцев, да еще и в ее собственном пальто в придачу, а она корми их, пои в четыре утра! Хорошенькое начало! Видит Бог, она вовсе не расистка, она всей жизнью это доказала, но ей и своего чурки хватит! А этот, красавчик кучерявый, ишь – тихоня! Кто он? Откуда? Кто его знает, может, он и вообще какая-то темная личность? Поел – ладно, ей не жалко, но спать! Ни за что! И что это еще за имя такое – Какхочешь?!

– Спасибо, – глухо повторил Какхочешь.

Пошатываясь, он пошел к двери, повернул ручку, вышел.

Он был все так же бос, и они не услышали, как он поднялся по лестнице.

Это его странное исчезновение – уход в никуда, как если бы он никогда и не приходил, как если бы она видела все это во сне, – заставило Франческу броситься ему вдогонку. Человека можно выгнать на холод, но в никуда – нет. Когда она выскочила на нижнюю площадку, он уже приближался к верхней, находившейся на уровне улицы.

– Какхочешь, вернись!

Он обернулся, такой жалкий в этой дамской кофте и коротких не по росту штанах. Его уже снова трясло от холода. В слабом свете единственной лампочки пальцы его ног четко вырисовывались на фоне потертого коврика – отмытые снегом,

совершенно без мозолей, они были удивительно стройны, красивы и казались прозрачными.

– Вернись, – повторила Франческа, – можешь переночевать сегодня. Мы же не дикари какие-нибудь, чтобы вот так тебя отпустить.

И тут произошло нечто удивительное.

В полумраке поднимающейся лестницы да еще и против света она скорее угадывала, чем видела его. И вдруг, еще мгновенье назад такое серьезное и унылое, несмотря на красоту, лицо Какхочешь осветилось изнутри так, что сначала стало различимо в полутьме, а затем залило светом тесную лестничную клетку. Свет заиграл на перилах и озарил убогие стены, обшитые ободранным, исписанным мальчишками зеленым пластиком. Франческа увидела, что Какхочешь улыбался, и сияние его улыбки в десятки раз превосходило мощность ввернутой под потолком сорокасвечовой лампочки.

Он не стал ломаться.

Он медленно спустился вниз, и с каждой ступенькой улыбка его все угасала, но все же не совсем, так что, когда он снова вошел в их жилище, что-то от этого сияния еще оставалось. Подняв голову, Махмуд с трудом узнал его и очень удивился: конечно, спать в тепле гораздо приятнее, чем возвращаться на мороз, но чего уж так сиять-то. Франческа принялась хлопотать. Она достала из-за зеркального шкафа старый матрас, разложила его на полу, принесла подушку и серое войлочное солдатское одеяло, доставшееся ей когда-то от одного из бывших покровителей. Гость лег. Хозяева тоже улеглись в постель и потушили свет. Какое-то время им казалось, что они видят некое свечение вокруг подушки незнакомца, но оно скоро погасло, и они решили, что им почудилось.

* * *

На следующее утро, после тяжелого объяснения со своей половиной по поводу некупленной куртки и пущенных на ветер сбережений, Махмуд надел передник, уселся на табурет у рабочего стола, стоявшего тут же в углу их единственной комнаты, и разложил унаследованные от сапожника-бербера инструменты с отполированными временем и долгим употреблением ручками. Чего тут только не было: и шильца – прямые и изогнутые, и скребки, и пробойники, специальные утюжки, дратва, болванки, шпандыри, сапожные ножи и даже кожаные рукавицы, чтобы не поранить руки. Пока Какхочешь

завороженно разглядывал все это богатство, Махмуд вычерчивал мелом на куске кожи продолговатую форму. Затем гость опять тихо произнес:

– Спасибо…

И, все еще дрожа, направился к двери. На ногах у него были теперь старые домашние тапки, которые выдала ему Франческа, когда он поднялся утром.

Махмуд умоляюще взглянул на Франческу. Та, надувшись и уйдя в себя, хлопотала по хозяйству. Однако, почувствовав его взгляд, она сказала:

– Пусть остается и позавтракает.

Он остался на этот день и на следующий, и еще на несколько дней. Потом, робко спросив у Махмуда разрешения помочь ему, в несколько часов выучился ремеслу и стал скоро прекрасным сапожником, гораздо лучше, чем его хозяин.

Он менял подошвы, ставил заплаты, набивал набойки, простречивал союзки, выгибал носки, прошивал рант. Он ничего не умел, но стоило Махмуду раз или, в крайнем случае, два показать ему тот или иной прием, как он усваивал его с поразительной легкостью. Он сам удивлялся, что у него все так легко получается, и приходил от этого в восторг. Оказывается, и это можно сделать, и то. Он шил восточные туфли, чинил старую обувь, сумки, ремни, чехлы, чемоданы, и не только из кожи, но даже из кожзаменителя и разных синтетических материалов. Но вскоре ему стало этого мало, и он начал шить обувь по мерке. Он стал известен в округе. Нельзя сказать, что на его товар был большой спрос, однако в Сен-Дени оставалось еще несколько сутенеров среднего пошиба, работавших в Париже и любивших пощеголять в сапогах а-ля Дикий Запад или в ботинках из крокодиловой кожи в стиле тридцатых годов, которые получались у Какхочешь не хуже, а подчас и лучше фабричных и стоили при этом намного дешевле. Он умел угодить самым причудливым прихотям заказчиков и заказчиц, а коль скоро взамен он не просил ничего, Махмуд стал получать весьма существенную прибыль. Какхочешь работал по шестнадцать часов в сутки или даже больше, ничем другим не занимался, пил только воду, питался более чем скромно, говорил только при крайней необходимости и никогда больше не улыбался.

Махмуд быстро свыкся с тем, что Какхочешь поселился у него. Впрочем, с его стороны было бы крайне нелюбезно критиковать работника, которого он сам скрыл от службы безопасности и который приносил ему такой доход. Франческа и того больше, всячески старалась развеселить Какхочешь. Она готовила ему разные лакомства, подсовывала мелкие подарочки,

а иногда прибегала к шалостям: то, незаметно подкравшись сзади, пощекочет ему бронзовую шею, то припрячет инструменты, то забудет застегнуть блузку. Но все напрасно. Лицо Какхочешь хранило все то же сосредоточенно-отсутствующее выражение.

В квартале к этим событиям отнеслись без всякого удивления. В том, что Махмуд подобрал ночью в снегу около мечети какого-то бедолагу, взял его себе в подмастерья, а тот перещеголял хозяина по части мастерства, и вправду не было ничего особенного. Подмастерье этот вполне мог быть каким-нибудь странствующим монахом или колдуном. В Коране полно и не таких историй. Однако было приятно, что такое существо, можно сказать последний из смертных, превзошло своего хозяина: аллах справедлив! По правде говоря, удивительным во всем этом было другое. Здесь, в стране неверных, происходило так мало невероятных событий, что сам факт, что сверхъестественное заявляет о своих правах, вселял определенную надежду. Так думали правоверные мусульмане. Что же до неверных, то и школьный учитель, регулярно избиваемый своими учениками, и аптекарь арабских кровей, вызывавший определенное уважение, поскольку все знали, что он может их и отравить, если что, и несколько последних подонков, павших ниже, чем все эмигранты вместе взятые, – все они, в большей или меньшей степени, слились с местным населением. Этим отщепенцам, жившим в своей собственной стране как в эмиграции нечего было противопоставить исламу, и они невольно преклонились перед верой горемык, ютящихся в трущобах Французской Республики и ни на минуту не усомнившихся в том, что они – любимые дети аллаха. Уверенность эта наделяла стариков гордостью Велисария, а юношей – таким мужеством, что они оставляли далеко позади своих французских сверстников, напичканных до умопомрачения всякой чепухой о правах человека и принципах ненасилия.

Таким образом, Какхочешь, ставший живым свидетельством преимущества ислама, был принят в Сен-Дени весьма радушно. Первое время увидеть его можно было, лишь зайдя по какому-нибудь делу к Махмуду: Какхочешь никуда не выходил, предпочитая от зари до зари стучать своим молоточком да шить в самом темном углу мастерской.

Однажды, спустя год после необъяснимого появления Какхочешь, у входа в мастерскую раздался шум. Гудки, визг тормозов, крики – и золоченый кадиллак остановился у оконца, через которое Махмуд взирал на окружающий мир.

Благодаря способностям и трудолюбию Какхочешь дела у Махмуда шли так хорошо (давно уже были куплены и теплая

куртка на цигейковой подстежке, и кроличий жакет для Франчески, и еще много всякой всячины), что он мог бы переехать на новое место и пользоваться всеобщим уважением. Однако ему, как человеку, сломленному жизнью, привычнее было жить во мраке и унижении. В подвале, служившем ему жилищем, стало теснее – ведь теперь их там было трое. Но Какхочешь занимал так мало места, что Махмуду не хотелось подыскивать нового жилья.

Звук шагов на лестнице.

Дверь резко отворилась от удара ноги. На пороге стоял низкорослый парень с короткой верхней губой и трехдневной щетиной, его кожаная куртка с заклепками заметно топорщилась под левой мышкой. Важным тоном, словно речь шла о появлении Господа Бога, или, как раньше, генерала де Голля, он возвестил:

– Мамуд (он нарочито произносил его имя на французский манер), к тебе гости! Господин Си Бубекер!

Он отошел в сторону, пропуская вперед человека, которому, чтобы войти, понадобилась еще добрая минута. Он был высок, двубортный костюм цвета электрик плотно обтягивал брюшко, а голову, которая, казалось, вот-вот лопнет от полнокровия, украшала красная феска с кисточкой. Растянутые губы обнажали сжатые челюсти, которые не находили одна на другую, как у других людей, а были плотно подогнаны, отчего глаза его были постоянно прищурены, а из их уголков расходились угрожающие морщинки. Квадратные, словно расчерченные по линейке зубы напоминали стальные лопаты. Все вместе создавало полное впечатление улыбающейся камнедробильной машины.

Махмуд знал своего гостя и, согнувшись в три погибели, поспешил ему навстречу: это был знаменитый Си Бубекер, наводивший ужас на Сен-Дени. Он делал крупные дела на бульваре Барбес, но, будучи человеком предусмотрительным, не упускающим своей выгоды нигде и ни в чем, содержал несколько проституток и занимался мелким рэкетом.

Начинал он как боевик Фронта Национального освобождения[33] и занимался в основном терактами в метрополии. После обретения Алжиром независимости он попытался было сделать политическую карьеру на родине, но ему быстро дали понять, что он – просто шакал. Тогда он смотался во Францию и быстро переквалифицировался в сутенеры. Во время войны он поддерживал связь с несколькими дезертирами и активистами ФНО, ставшими затем видными деятелями, и сумел извлечь из этого выгоду. Доходы с бульвара Барбес позволяли ему встречаться на Елисейских Полях с нужными людьми, а приобретенные на Елисейских Полях связи давали возможность

улаживать взаимоотношения с полицией с бульвара Барбес.

Он набросился на Махмуда с руганью, не переставая при этом улыбаться своей камнедробильной улыбкой:

– А вот и ты, подлый предатель, сукин сын, продажная шкура!

Он всегда называл Махмуда предателем за то, что тот сражался на стороне французов. Особенно приятно было, что происходило это все именно во Франции с попустительства тех самых французов.

Махмуд рассыпался в поклонах, попеременно прикладывая палец ко лбу, к губам и к груди. Какхочешь постукивал молотком в глубине мастерской. Франческа, окаменев от страха, спряталась в кухне: люди такого сорта пробуждали у нее дурные воспоминания.

– Ну, как дела, кабильский шакал? – любезно осведомился Си Бубекер, который был арабом, или, по крайней мере, утверждал, что он араб, и не любил, чтобы об этом забывали надолго.

– Как ему угодно, аллаху то есть, – проговорил Махмуд.

Обычно он говорил по-французски очень правильно, но в присутствии людей, которых Франция осыпала благами за то, что они когда-то убивали французов, он терялся и начинал путаться.

Си Бубекер раздвинул губы еще шире, так что глаза его превратились в две узкие щелки, но зубы при этом оставались стиснутыми. Он уселся в старое кресло с торчащими наружу пружинами, которое придвинул ему Махмуд, и уставил людоедский взгляд на Какхочешь:

– А этот что не здоровается?

– Вы уж извините его, господин Бубекер, – принялся шептать Махмуд, – он не совсем… он немного того…

Махмуд повертел пальцем у виска.

– Ну, ладно, неважно, – миролюбиво проговорил Си Бубекер, – я, в общем, в курсе. (Он жестом поприветствовал Какхочешь. Этот убийца и сутенер, не веривший ни в аллаха, ни в Магомета, не мог избавиться от наследственного уважения перед безумием.) Так вот, кабильский шакал, – продолжил он (Махмуд кисло улыбнулся, чтобы показать, что ему нравится такое шутливое обращение), – я пришел оказать тебе великую честь. Погляди-ка там, в мешке.

Он бросил на стол пластиковый пакет из супермаркета. Махмуд раскрыл его, выказывая всем своим видом крайнее почтение, словно речь шла о какой-то бесценной реликвии, прибывшей прямым ходом из Мекки. Он вынул несколько кусков тончайшего сафьяна красного и желтого цвета, а также два пакетика: в одном лежали мелкие жемчужинки, в другом – крупные куски бирюзы.

– Ты в жизни не видал такой прекрасной кожи, – сказал Си Бубекер.

– Ваша правда, господин Бубекер.

– И такого жемчуга тоже.

– Никогда в жизни, господин Бубекер.

– И такой крупной бирюзы. Как чайные блюдца!

– Как обеденные тарелки, господин Бубекер.

– Видишь?

– Вижу, господин Бубекер.

Си Бубекер сложил все обратно в пакет.

– Оставляю все это на твою ответственность, подлый предатель, кабильский шакал, сошьешь мне туфли. Да не такие, как в этих паршивых магазинах, а настоящие арабские туфли, чтобы я в них мог не просто ходить, а летать по воздуху, как если бы меня несли все джинны мира, понял?

– Аллах говорит твоими устами, Си Бубекер.

– Слушай меня хорошенько. Моя внучка выходит за француза.

– Ты заслужил это счастье, Си Бубекер.

– И не за какого-нибудь там, а за внука важного *филосопа,* который по телевизору выступает, ты и сам его, наверное, видел по твоему дерьмовому ящику. Так вот, у нас будет диффа.[34] Мы все будем одеты по-нашему, по-арабски. И франси тоже. Мы наденем кафтаны, шитые золотом. Мы уже сняли «Туфут» – бистро на Елисейских Полях. Ты не знаешь. Так вот, к этому вечеру мне нужны туфли. Красно-желтые, пестрые. И каблук чтобы был пестрый, красно-желтый. Такими ромбиками. И язычок на подъеме ноги чтобы был сверху красный, а изнутри желтый, а по краям чтобы все было в жемчуге, а посередине – самая крупная бирюза. И вообще бирюзы чтоб побольше. А носок чтобы был загнут и стоял, как кобра на хвосте, и чтобы при ходьбе подрагивал. Сможешь так?

Махмуд разрывался между желанием услужить и страхом не угодить такому большому, такому важному человеку.

– Я, Си Бубекер, простой сапожник и больше занимаюсь починкой.

– Заткнись, продажная шкура, кабильский шакал, подлый предатель. Я видел туфли, которые ты сделал для имама Али и генерального советника Шарафа, он мой друг. Даю тебе три дня, и если мне понравится, получишь пять тысяч франков. Когда Си Бубекер хочет доставить себе маленькое удовольствие, он ничего не пожалеет. Я хочу, чтоб этот *филосоп* позеленел от моих туфель. Ну так что: да или, может, нет?

Махмуд взглянул на своего работника, который застыл, держа в одной руке лодочку сорок второго размера, в другой –

молоток и зажав губами несколько гвоздиков. Сначала Махмуд подумал, что тот смотрит на толстого Си Бубекера, все больше багровевшего с каждой секундой оттого, что кто-то осмелился не сказать ему сразу «да». Но глаза Какхочешь глядели поверх левого плеча разбушевавшегося заказчика, губы его шевелились, и в какой-то момент можно было подумать, что он подмигивает кому-то в пустоту.

– Если ты откажешься, – сказал Си Бубекер, – я вышвырну тебя из Сен-Дени. Мэр – мой приятель, да и лейтенант жандармерии – тоже. Три дня. Пять тысяч.

Махмуд прекрасно знал, что ему не под силу создать такое произведение искусства.

– Соглашайся, Махмуд, – послышался вдруг голос Какхочешь, – а я сниму с господина мерку.

Это была самая длинная фраза, какую он когда-либо произнес.

Си Бубекер сказал:

– Если твой работник и чокнутый, то уж, во всяком случае, не такой, как ты. Он хоть понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Пять тысяч – три дня.

Какхочешь принес табурет, и Си Бубекер положил на него правую ногу, узловатую и опухшую.

– Снимай с обеих, они у меня разные, – самодовольно заявил он.

Встав на колени, Какхочешь аккуратно расшнуровал его правый ботинок, снял его с ноги, стараясь не причинить боли клиенту, измерил длину и ширину подошвы, обтянутой шелковым носком со стрелкой сбоку, обрисовал контур на листе бумаги, затем измерил длину и ширину всей стопы. Потом все это он проделал и с левой ногой.

– Видишь, размеры получились разные. Как я тебе и говорил. Ты будешь работать?

– Он, он, – торопливо закивал Махмуд.

После того как мерка была снята, Си Бубекер решил позабавиться и толкнул Какхочешь большим пальцем ноги в грудь так, что тот опрокинулся навзничь. Пока Какхочешь поднимался, Си Бубекер хохотал во все горло, а Махмуд изображал на своем лице улыбку.

– Надо иногда и повеселиться, – проговорил Си Бубекер. – А ты тоже кабил?

– Я не кабил, – ответил Какхочешь.

Но Си Бубекер больше его не слушал. Потрясая с важным видом мясистым пальцем, он повторял:

– Три дня – пять тысяч, шакал кабильский. Для тебя это

просто клад, а мне – раз плюнуть. А не успеешь – шкуру с тебя спущу.

Эта шутка навевала тяжелые воспоминания. Но для Си Бубекера, может, и приятные. Он вышел, не закрыв за собой дверь, как и последовавший за ним телохранитель.

Махмуд развел руками:

– Не надо мне было соглашаться…

– А вот и надо, – сказала Франческа. – Пять тысяч – это нам обоим, а шкуру сдирать он будет с тебя одного.

Махмуд не хотел смотреть, как работает Какхочешь. Он знал, что все будет в порядке, знал он и то, что Какхочешь предпочитает работать в секрете. Кроме того, в нем сидел какой-то суеверный страх: так, люди стараются не смотреть на живот беременной женщины или на курицу в момент, когда она несется. Вот он не будет смотреть на Какхочешь, и у того тогда все получится.

Какхочешь кроил в своем темном углу – и как только он умудрялся там хоть что-то разглядеть? Франческа уверяла, что у него просто кошачьи глаза. Он кроил, бесстрашно прокалывал шилом драгоценный сафьян, а Махмуд в это время с грехом пополам менял подметки на лодочках бакалейщицы – так он боялся Си Бубекера. Конечно, угоди он ему, пять тысяч франков – это целое состояние. Но если Какхочешь хоть чуточку ошибется и отрежет не там, где надо, Махмуду негде будет спрятаться. И дело тут не в дороговизне сафьяна и не в желании утереть нос *филосопу* – деду невесты: Си Бубекер был помешан на своем престиже. Если кто-то осмеливался его обидеть, он редко убивал обидчиков: он кастрировал, отрезал носы, преследовал семью несчастного, но никогда не отказывался от мести, считая ее неотделимой от своего достоинства.

Три дня Какхочешь прилежно трудился – обрезки кожи и обрывки дратвы так и падали к его ногам, – и его спокойное и вдумчивое трудолюбие, словно тихая музыка, сеяло вокруг умиротворение и веру. Однако Махмуд чувствовал себя будто на раскаленных углях.

– Ну как, кончил? – спросил Махмуд на третий день, когда до прихода людоеда оставалось всего несколько часов.

– Готово, – ответил Какхочешь и, протянув руку, показал хозяину туфли, которые он держал за задники.

Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что это были вовсе не восточные туфли: не было у них ни загнутого носка, ни язычка, ни ушек. То были – какая такая чудовищная рассеянность заставила Какхочешь совершить столь ужасную ошибку? – простые домашние туфли, в которые, не глядя, суют ногу,

разувшись дома после рабочего дня, или в которых – да сохранит нас аллах от дурного глаза! – хоронят покойников. Короче, тапочки. Правда, тапочки не совсем обыкновенные, нет: передняя часть их была, как звездами, усыпана жемчугом, а крупные куски бирюзы складывались в милые сердцу каждого мусульманина полумесяцы, но, какими бы роскошными и красивыми они ни были, все равно они оставались всего лишь тапками.

Махмуд схватился за голову обеими руками. Ему хотелось броситься на Какхочешь, но он не посмел этого сделать.

– Что ты наделал, Какхочешь?!

Тот же все продолжал раскачивать в руке тапки, сверкающие красными и желтыми ромбами, – как солнце, нарезанное ломтиками, как дольки лимона вперемежку с апельсиновыми дольками.

– Ты погубил нас, Какхочешь, – сказал Махмуд. – Зачем я не умер тогда в джебеле, когда все еще было хорошо?

А поскольку в минуты трезвости он верил в аллаха, добавил:

– Да будет все по воле Господа.

Оставалось только ждать, когда Си Бубекер придет за туфлями, чтобы утереть ими нос своим гостям на Елисейских полях.

Из кухни вышла Франческа. Она посмотрела на тапки и снова скрылась в своем углу. Она не понимала, зачем Какхочешь сделал это. Что теперь будет? Ей бы убежать, но ислам сделал свое дело – она теперь другая, она будет ждать. Здесь, на окраине, где не успевали считать трупы, всякое возможно. Движимая западным, а может, просто женским оптимизмом, она поставила на огонь суп, и по комнате распространился запах лука. Но есть они пока не стали – из уважения перед роком.

Трех суток еще не прошло, оставался час или два, когда на лестнице раздался грохот, дверь отворилась, и все тот же коротышка, выбритый с нарочитой небрежностью, возник в проеме. На верхней губе у него блестели капельки пота. «Салам алейкум», – проговорил он, и Махмуд машинально ответил: «Алейкум ассалам», удивившись этому мусульманскому приветствию, произнесенному по-арабски, в то время как было известно, что Си Бубекер и его братва давно уже изъяснялись на жаргоне неверных.

– Туфли не готовы?… – произнес коротышка. Все молчали.

– Надеюсь, – продолжил он угрожающе. – Потому что сегодня Си Бубекера подстрелили. Ребята из банды Казановы. И вот когда он отдавал Богу душу, он сказал: «Не хочу восточные туфли. Хочу, чтобы подлый предатель сделал из той кожи тапочки, и пусть меня в них похоронят. Да чтоб такие, каких ни у кого нет! Не то

сделаете мне тапочки из его шкуры». Вот что сказал Си Бубекер.

На улице смеркалось, а в подвале, где от страха никто не зажигал электричества, было совсем темно. Но вдруг в самом темном углу стало светлеть. Как и в прошлый раз, свет исходил от улыбки Какхочешь. Он залил постепенно лавчонку, разложенные на столе инструменты с блестящими лезвиями, убогую корзину с принесенной в починку старой обувью и усыпанные звездами тапочки, покачивающиеся в руке Какхочешь, который все улыбался, улыбался до того, что уже светилось не только его лицо, но и рука тоже.

Коротышка в три прыжка пересек комнату, выхватил тапки, достал из кармана деньги, отсчитал при свете улыбки десять измятых, грязных бумажек по пятьсот франков каждая, бросил их на стол и умчался со своей непонятной добычей, словно опасаясь, что ее у него отнимут. И снова улыбка Какхочешь медленно угасла, и в лавке опять стало темно.

Махмуд и Какхочешь стояли друг против друга, и каждый видел только белки глаз другого.

– Как ты узнал? – спросил Махмуд.

Какхочешь ничего не ответил, только взгляд его ушел куда-то в пустоту, как в тот день, когда он словно подмигнул кому-то поверх плеча Си Бубекера.

* * *

С того дня Махмуд прославился еще больше, потому что все в Сен-Дени увидели и оценили похоронные тапочки Си Бубекера, да и кое-кто с бульвара Барбес тоже. Великий французский *филосоп* не почтил траурную церемонию своим присутствием, но и без него все прошло неплохо. После этого люди стали шептаться, что Си Махмуд колдун, как и его работник, что, впрочем, нимало не помешало его бизнесу.

Из этого последовало, во-первых, что, вместо того чтобы наливаться, как прежде, дешевым вином в забегаловках Барбеса и Сен-Дени, Махмуд стал позволять себе стаканчик-другой божоле, что было отрадно не столько с точки зрения вкусовых ощущений, сколько с житейской; Все знают: тот, кто хлещет простое винище, – никто, а вот кто потягивает божоле – это уже кто-то.

Во-вторых, то ли вопреки божоле, то ли именно благодаря его воздействию, но с некоторых пор к Махмуду стала возвращаться его детская набожность.

Он не сомневался, что в истории с Си Бубекером его спасло чудо, и как бы ни был он благодарен Какхочешь, он не

сомневался, что тут не обошлось без ангелов, так что главную свою благодарность он обратил на посланников аллаха, не давших ему пропасть ни за что. Впрочем, тут-то и следует быть особо осторожным: не успели вы помолиться, а ангелы уже торопятся исполнять вашу просьбу. Иногда это и впрямь неплохо, но бывают случаи, когда хотелось бы иметь возможность прикинуть еще раз. На этот раз, конечно, все обошлось как нельзя лучше, и когда пришел девятый месяц года, Махмуд решил поститься – тайно, не обращаясь к имаму, никому не показывая, что он день за днем истязает себя голодом и жаждой.

Какхочешь не стал смеяться над ним, как он того опасался. Наоборот, он охотно составил ему компанию, и от восхода до заката – они проверяли точное время по календарю, а старый будильник заменял им французскую пушку, по которой Махмуд узнавал время в детстве, – они воздерживались от малейшей крошки хлеба, от малейшей капли воды, чтобы наесться с наступлением ночи. Правда, Какхочешь не очень-то наедался, а Махмуду скучно было пировать в одиночку. Франческа, внезапно снова ощутившая себя христианкой, не участвовала в их подвигах и часто, особенно в жаркие дни (а в Сен-Дени бывает очень душно), она с ядовитым удовольствием, громко булькая, наливалась в своем углу пивом, не говоря уже о бифштексах, которые она поедала на глазах у обоих мужчин в обеденные часы, шумно восхищаясь при этом их ароматом. Все это она проделывала совершенно беззлобно, скорее шутки ради, «чтобы достать их».

В последний день Рамадана Махмуд устроил большой праздник – не для всех, а только для себя с Какхочешь. Весь месяц он не пил вина, но в этот день он решил позволить себе немного выпить: не может же Господь запрещать такую вкусную вещь, и потом, запрещено ведь не просто пить, а напиваться до состояния, когда ты уже не можешь прочесть молитву. Он не мог зажарить в своем подвале целого барана, а потому приготовил шурпы и доброго кускуса, а также купил анисовой водки, вроде той, что пил когда-то отец Рэмона и Зерлины, ставший для него с годами символом далекого невозвратимого прошлого. Франческа, хоть и не постилась, приняла участие в празднике, и когда они все трое поели и попили вдоволь, Си Махмуд повернулся к своему работнику и от всего сердца сказал:

– Какхочешь, – сказал он ему, – ты мне отец и мать, и я могу сказать тебе всю правду. Сейчас я сыт, потому что я постился и насытился, я испытывал жажду – и я утолил ее, и, благодаря твоей работе, я одет как надо и у меня даже есть телевизор и видеомагнитофон. И все же я скажу тебе, как и в тот день, когда

Си Бубекер должен был прийти за своими туфлями, что лучше бы я умер тогда, когда лежал в скалах, на жаре, обливаясь потом, когда я был молод и меня прочили в капралы и у брата моего родился сын (целомудрие помешало ему упомянуть об улыбке соцслужащей). В тот день я готов был умереть, но я не захотел. Я шел убивать, и мне было хорошо. Я бежал вперед и не чуял земли под ногами, ангелы несли меня на своих крыльях, пули свистели вокруг, и никогда я не был так счастлив. Это тяжело объяснить, но умирать надо именно тогда, когда ты счастлив.

– Интересно, малыш, что я слышу? – возмутилась, не вынимая окурка изо рта, Франческа. Она сидела, облокотившись на стол, накрытый полиэтиленовой скатертью и заставленный грязной посудой. – Ты, значит, никогда не был так счастлив, как в тот день, когда по тебе палили из всех ружей и когда твои приятели дохли как мухи! А со мной в постели ты, что же, не бывал счастлив?

Си Махмуд взглянул на нее умными глазами:

– Я был доволен, но не счастлив. Чтобы быть счастливым, надо, чтобы ты сам любил и чтобы тебя любили. Мы с тобой терпим друг друга, помогаем, чем можем, но мы не любим друг друга так, например, как я любил тогда Францию и как я думал, что она любит меня – меня, маленького капрала-недотепу с удостоверением личности настоящего француза. И оттого-то, что я любил и думал, что меня тоже любят, я и не хотел умирать, а это было неправильно. Надо умирать тогда, когда ты думаешь, что любим. А я стал молиться, чтобы выжить, и пуля, что была мне предназначена, не убила меня. Гляди-ка, Какхочешь, я ведь тебе ее никогда не показывал, а она все время со мной.

И он достал из кармана брюк маленькую сплющенную пулю.

– Чертова каска. Терпеть не мог ее надевать: и жарко в ней, и шею сзади натирает, но лейтенанту тогда только что нагорело от капитана, вот и пришлось… И надо ж так было, чтобы эта-то гадость и спасла мне жизнь. Все-таки Бога нет. Ну да я сам виноват: не надо было молиться.

Какхочешь напряженно-внимательно разглядывал пулю, которую держал Махмуд. Он даже потрогал ее пальцем, и вдруг, в третий раз за эти три года, улыбка заиграла на его губах, и мягкий свет озарил его лицо, потом – руки, затмив засиженный мухами светильник на потолке и замызганную неоновую трубку над раковиной, рассеяв тени в комнате, любовно и почтительно осветив скромный сапожный инструмент, разложенный на рабочем столе. Франческа и Махмуд, вытаращив глаза, смотрели на гостя.

А гость медленно, не переставая улыбаться, встал из-за стола,

оказавшись внезапно гораздо выше и шире, чем обычно. Теперь светились не только его лицо и руки, но и одежда – даже красная футболка с парусниками и пальмами – осветилась изнутри, отчего стала казаться белой.

Какхочешь подошел к Махмуду, встал у него за спиной, прижал к своему животу круглую голову сидящего кабила, нагнулся и нежно поцеловал его в смуглую щеку.

– Брат мой, – сказал он ему, – благодарю тебя, ты вернул мне свободу.

Он взял так же голову Франчески и тоже поцеловал ее. Казалось, он обнимает и целует детей, и любовь, с которой он делал это, была не от мира сего.

– И ты, сестра, тоже помогла мне обрести свободу. В самый первый день ты вселила в меня надежду. Благодарю и тебя.

– Меня? – изумилась Франческа. – Да что я такое сделала?

– Сначала ты возненавидела меня и выставила на мороз, где я умер бы, если бы только мог умереть. Но потом ты позвала меня обратно и дала мне ночлег в твоем доме. Спасибо, сестра. Ты – моя освободительница. И Си Бубекер тоже мой освободитель, хоть он и прожил свою жизнь как негодяй.

– Мы ничего не понимаем, – проговорил Си Махмуд.

– Объясни, – попросила Франческа.

Высокие плечики дамского жакета, надетого на Какхочешь, казалось, поднялись еще выше, превратившись в четыре тысячи огромных крыльев, которые упирались в потолок и раздвигали выкрашенные желтой краской стены подвала, в то время как все тело его усеяли очи и уста, и было их столько, сколько людей на земле.

– Имя мое – Азраил. Мусульмане называют меня ангелом Смерти. Только что истек срок моего наказания, которое я навлек на себя непослушанием.

– А я и не знала, что ангелы бывают непослушными, – удивилась Франческа.

– Но не так, как люди, Франческа. Они не пытаются отделить Добро от Зла, ибо не вкушали от Древа познания, но случается – независимо от Люцифера и других восставших ангелов, – что им бывает так не по душе то или иное задание, что они отказываются его выполнять. В мире существуют разные виды свободы. Мы свободны не вашей, человеческой свободой, а нашей, но она так же опасна. Сейчас я вам все расскажу.

Тридцать три ваших года назад я был послан за одной душой, которая уже исполнила свой срок на земле, и в тот самый миг, когда я был готов забрать ее, эта душа взмолилась: «Не сегодня, не сейчас, пусть это случится потом». Мне не хватило мужества

вырвать ее у того молодого солдата: он был так счастлив и так стремился навстречу победе. Тогда, Махмуд, я сплутовал. Я заставил пулю, которая должна была убить тебя, изменить траекторию полета, и вот ты держишь ее, всю сплющенную и искореженную, в руке.

Махмуд выронил пулю на стол.

– Так это ты?

– Когда я вернулся в штаб, мессир Михаил сказал мне: «Ты серьезно провинился и будешь наказан». Поскольку я пытался вмешиваться в дела людей, я должен был стать одним из них и оставаться в этом состоянии до того дня, пока не найду ответа на три вопроса о людях, которые он мне задал. Тотчас же я лишился моих крыльев и света и был выброшен в космическое пространство. Приземлился я совершенно голый около маленькой мечети, где-то на окраине. Было холодно. До этого я никогда не испытывал холода.

– Погоди, – воскликнул Махмуд, – Я чего-то не понимаю. Пуля-то ведь была тридцать три года назад, а мечеть – всего три.

– Ах, Махмуд, время у ангелов иное, чем у людей. Я был вышвырнут на землю в одно мгновенье, а достиг ее тридцать лет спустя, если считать по-вашему. Конечно же, я сразу узнал тебя, и ты мне помог, но это не очень удивило меня – ведь я знал твою душу, знал, что ты всегда творишь милостыню, и не боялся, что ты будешь черств со мной. Но вот ты, Франческа, ты сначала оттолкнула меня, потом приняла, после этого прогнала, а затем позвала назад. И вот тогда, стоя на этой лесенке с потертым половиком, засыпанным снегом, я отгадал ответ на первый вопрос, и я улыбнулся, потому что Господь был так добр, что позволил мне узнать первый ответ в первый же день и тем самым не дал отчаянью завладеть мной.

– Ну и что это был за вопрос?

– «На что способны люди?» Таков был первый вопрос.

– Ну и каков же ответ?

– На самое худшее и самое лучшее, Франческа, в одно и то же время и попеременно, важно только, чтобы в конце концов лучшее одержало верх.

– А второй вопрос? – спросил Махмуд.

– Второй был таков: «Что люди знают и чего не знают?» Я долго жил под твоей крышей, Махмуд, не находя ответа на этот вопрос. Но однажды пришел Си Бубекер со своей кирпично-красной физиономией и прямоугольными зубами, а за его левым плечом я увидел своего товарища Кафзиила: он, как и я, ангел смерти и попусту не будет парить за спиной у человека. Так я узнал, что Си Бубекер скоро умрет, но вторую загадку смог

разгадать, лишь когда тот парень пришел за тапочками вместо туфель. Люди знают, чего они хотят, но не знают, что им нужно. Они хотят роскошные туфли, чтобы хвастаться ими, а на самом деле им нужны тапочки, чтобы в них сгнить. Тогда я улыбнулся во второй раз, потому что понял, что Господь прощает меня. Я стал ждать ответа на третий вопрос.

Махмуд и Франческа в один голос спросили, что же это был за вопрос.

– То был главный вопрос, – ответил Азраил: – «Чем люди живы?» Ангелу это труднее всего понять, потому что мы неразрывно связаны с Господом. В некотором смысле мы отличаемся от него не больше, чем солнечный луч от солнца. Чем люди живы! Но это-то, друзья мои, вы и сами знаете, потому что именно вы дали мне ответ на этот вопрос.

Махмуд и Франческа покачали головой:

– Нет, господин Азраил, мы не знаем.

– Люди живы любовью. Махмуд, в ответ на твою молитву я сохранил тебе жизнь, но жизнь без любви. Ты не знал тогда, чего просишь, а я не знал, что даю тебе. Прости меня, брат, за то, что тогда я услышал тебя. Ты знаешь, что в конце времен люди будут судить ангелов, и я уже сегодня прошу у тебя прощения.

Махмуд оглядел свою лавчонку, где уже поселился некоторый достаток. Он посмотрел на Франческу, смягчившуюся под взглядом ангела, и сказал:

– Я прощаю тебя.

Тогда на какое-то мгновенье ангел воссиял с новой силой, наполнив все жилище ярким светом, – и исчез.

Долго Махмуд и Франческа не осмеливались поднять глаз друг на друга. Наконец, над искореженной пулей, лежавшей на скатерти между стаканом божоле и блюдцем, полным оливковыми косточками, их взгляды робко встретились.

Несчастнейший из ангелов

Как только он родился, я встал справа от его колыбели и полюбил его. Тот, другой, встал слева и стал обдумывать его погибель. Мы холодно приветствовали друг друга. Некоторые с самого начала принимаются враждовать, я же всегда предпочитал соблюдать приличия как можно дольше.

Первые годы прошли, никого не удивив. Младенец, происходивший из колена Иудина, родился в местечке Кариот, в обычной семье, где знали цену деньгам, но, главное, где Бог почитался за Бога, а народ богоизбранный за народ богоизбранный. Освобожения Израиля и восстановления царства там ждали так, как будто все это должно было произойти завтра. «Вот придет Мессия…», – повторяли отец и мать, и я решил, что будет правильно работать именно в этом направлении: я-то отлично знал, что не будет дня прекраснее со времен сотворения мира, чем тот, в который Сын Божий явится среди людей, чтобы спасти их. Поэтому в лунные ночи посылал я моему маленькому Иуде мессианские сны. Симон, его отец, назвал сына так, потому что Иуда – имя патриота, и для каждого оно связано с идеей преданности вере отцов и сопротивления римскому владычеству.

Тот, другой, не противоречил мне. Он тоже нашел тему, соответствующую его намерениям. Он подогревал в мальчугане его непомерную любовь к деньгам, подбивая его даже на мелкие кражи, которые тот совершал, невзирая на увещевания и угрозы со стороны родителей.

Впрочем, эти кражи не так уж беспокоили меня: в списке заповедей «не укради» значится после «не прелюбы сотвори». Однако мне казалось, что зарождавшаяся в сердце мальчика страсть больше походит на идолопоклонство, чем на корыстолюбие, что его больше привлекало не то, что можно украсть, а то, что можно обратить в деньги. Он не то чтобы просто хотел иметь их, нет, они значили для него гораздо больше, чем того требовало простое признание их необходимости. Он хотел денег для себя, для своей семьи, для синагоги, для Кариота, для всего своего рода. Иногда он и сам мог дарить, и довольно щедро: ему нравилось все, где деньги играли какую-то роль.

Тот, другой, не сразу заметил этой новой страсти, обещавшей ему гораздо большую выгоду. Он все еще считал, что украденная монетка больше подходит для его «бухгалтерии». Лукавый потому так и зовется, что он лукав, но не умен.

Однажды я узнал, что поступаю в распоряжение мессира Рафаила. Это польстило моему самолюбию, ибо я не считал до

сих пор, что обладаю знаниями и опытом, которые позволили бы мне служить под началом Движущего Солнцем, Хранителя Древа жизни, Повелителя вечерних ветров – архангела, в чьи обязанности входят самые секретные дела Творения. Задание, которое я получил от него на тот момент, казалось более простым, чем было на самом деле. Я должен был вывести Иуду из Кариота, где он процветал, и отвести его на север, к озеру Тивериадскому, в центральной части Галилеи. Я не смел даже подумать, зачем это было нужно. Но мы предчувствовали уже, что близятся те самые времена, а надеяться не возбраняется никому.

Достигнув возмужалости, Иуда занялся тем, что стал одалживать гражданам Кариота деньги под залог. Он чувствовал в себе призвание к этому занятию, прилежно ходил по своим должникам – ремесленникам и рабам, обдирал их как липку, оставаясь при этом в полной безопасности от внешнего мира, благодаря не столько мощным стенам города, сколько его извилистым улочкам и лепившимся друг к другу домам.

Тем временем я сменил свою песню. Теперь уже это было не «Вот придет Мессия…», а «Мессия должен прийти только из Назарета, так предсказал Исайя». Правда, это лишь одно из толкований слов Исайи; вполне вероятно, что он хотел сказать, что Мессия будет «нетцер», то есть ветвью древа Давидова, но я решил пустить в ход Есе, что только было возможно. Тут-то мой Иуда воспылал: «Освобождение Израиля не может свершиться без меня!» – вскричал он, и мы отправились в путь через каменистую пустыню, через возделанные поля Самарии, через зеленеющие, цветущие холмы Галилеи. Я радовался, что у меня все получилось, Иуда же, как всегда, был настороже, с подозрением относился к местным землепашцам со странным выговором, остерегался диких зверей, а пуще всего боялся, что у него украдут небольшие подъемные, которые он прихватил с собой в дорогу и прятал в поясе.

Я не обманулся в своих надеждах. Мы шли навстречу Сыну Человеческому, и Сын Человеческий признал в Иуде двенадцатого из своих учеников, именно того, кого Ему недоставало, чтобы составить священную дюжину – уменьшенную модель человечества. Иуда же из Кариота признал в Нем Того, Кого он всегда ждал, как ждали Его Иудин отец, дед и все его предки. Представьте себе теперь и мою радость и гордость: чем заслужил я такую честь – быть ангелом-хранителем одного из двенадцати апостолов? К счастью, мы ничего не заслуживаем – все есть благодать Божья. Тот, другой, казалось, был разочарован: он, должно быть, прекрасно сознавал, что оказался не на высоте.

Что за прекрасные, счастливые, божественные три года

провели мы, когда бродили от селения к селению по Галилее! Слепые видели нас, глухие слышали, расслабленные шли за нами вослед. Одно наше присутствие возвращало миру его привычный порядок. Мы были предвестниками Царства Божия, весной грядущего обновления. Некоторые, правда, принимали нас плохо и даже просили убраться подальше, и это всегда огорчало нас, а иногда и приводило в гнев, но что нам было до этого? Мы прекрасно знали, что дети Адама вот-вот обретут спасение. Нам только неизвестно было, каким образом это произойдет.

Надо признать, что мой Иуда чувствовал себя немного чужим среди своих новых товарищей: он был единственным южанином, единственным рыжеволосым, единственным горожанином, единственным выходцем из колена Иудина, и нельзя сказать, чтобы он слишком нравился им. Однако при определенном уровне отношений важно не нравиться, а быть любимым, а Учитель, во всяком случае, любил его. Он даже поручил ему нести ящичек, в который те двенадцать складывали подаяния. Сделал ли Он это, чтобы показать, что доверяет ему, несмотря на его отличие от остальных? Или для того, чтобы возвысить его в глазах собратьев? Или же потому, что они вели свой род от одного колена Израилева? Или потому, что Он знал его страсть к деньгам и хотел дать ему возможность испытать себя? А может быть, просто Он считал, что Иуда лучше позаботится о деньгах, чем импульсивный Петр или бессребреник Иоанн? Я лично не знаю, и по правде говоря, никто об этом не задумывался, кроме того, другого, который очень рассчитывал, что в один прекрасный день Иуда смешает свои собственные деньги с общественными.

А мой Иуда был счастлив, что ему доверили этот ящичек оливкового дерева: он постоянно трогал его, нежно гладил, словно грея руки о его гладкие стенки. Он называл его своей военной казной и берег даже больше, чем того желали остальные одиннадцать его собратьев, у которых часто подводило живот оттого, что их казначей отказывался разменять динарий на оболы из страха потратить их все. «Надо быть бережливым, – говорил он, – надо собирать по крупицам: освобождение будет дорого стоить». И еще: «Деньги могут дать все, что захочешь: хочешь – мир, хочешь – войну, а хочешь – счастье всего человечества». Учитель грустно улыбался и не противоречил ему. Меня же беспокоили иллюзии, которые питал Иуда относительно всемогущества денег. Страсть к деньгам кажется нам, ангелам, самым бессмысленным из человеческих безумств.

Однако, когда все двенадцать отправились по двое нести благую весть в мир, божественное вдохновение не изменило Иуде. Хоть я и предпочел бы видеть его в иной компании, нежели с

Симоном Зилотом, который мечтал больше об изгнании римлян из Палестины, чем Сатаны из мира, эта пара молилась, проповедовала и творила чудеса ничуть не хуже, чем все остальные. Я был счастлив видеть, как мой Иуда кладет свои веснушчатые руки на голову детям, как он мягко укоряет грешников, как возвещает благую весть всем вокруг, но в первую очередь беднякам, ибо они больше, чем другие, нуждаются в благих вестях, как он возвращает зрение слепым, ставит на ноги хромых, поднимает прикованных к постели, очищает прокаженных.

Чудо Божье – это одно, но когда вы сами его творите, – а в ту пору мы с Иудой были так близки, что у меня складывалось ощущение, будто все, что он делает, делаю я сам, – вы как будто видите вокруг себя мир в его естественном состоянии, каким он был до грехопадения или каким станет после искупления, и, всецело принимая его устройство, вы, вместо того чтобы удивляться чудесам, наоборот, удивляетесь тому, что они не совершаются каждодневно. Конечно же, в таком мире не должно быть ни калек, ни глухих, ни слепых, ни грешников. Конечно же, человек не был создан уродливым и испорченным: его стоит только направить по верному пути, и Ты, о Господи, дал именно мне силу совершить это!

Творя свои первые чудеса, Иуда плакал от радости, а я с сочувственной иронией поглядывал на того, другого. Кто усомнится в возможности спасения чудотворца? Но Иуда плакал недолго. Он быстро привык к данной ему власти, однако не делал ее предметом тщеславия: он считал, что все это вполне естественно, ибо он трудится ради освобождения Израиля.

Он вернулся из этого странствия изменившимся, более уверенным в себе и своем предназначении. Все было ясно: если демоны не могут устоять перед ним, то как устоят римляне? Надо было только гореть страстью и дерзать, дерзать. Иуда яростно тряс своей рыжей гривой. Разве Учитель Сам не говорил, что не успеют они «обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий»? А он, Иуда, как раз и будет рядом, чтобы поддержать Сына Человеческого, если Тому не хватит решимости.

Я увидел в этом опасность.

Иуда не то чтобы не любил Учителя, нет, он просто хотел переделать Его по своей мерке, вложить в Него огонь, которым сам горел. Естественно, он желал Ему только добра, но то было добро в его собственном понимании. Иуда был революционером, а для Революции, которую он собирался развернуть во имя Мессии, этот самый Мессия был, по его мнению, слишком мягок.

Я попытался увещевать его: это тоже входит в наши

обязанности. В часы молитв и прогулок, а также во время сна я внушал ему, что он должен следовать за Учителем, а не пытаться указывать Ему дорогу; что любить людей такими, какими мы хотели бы их видеть, и стремиться изменить их, если они не соответствуют нашим представлениям, – это не любовь; что, в конце концов, ни в одной из Своих проповедей Учитель не говорил ни о вооруженном восстании, ни об освобождении евреев, ни о восстановлении престола Давидова, а только о покаянии, о любви к врагам (не говоря уже о ближних) и о сокровищах мира иного. Иуда же нетерпеливо отвергал все мои доводы и доходил даже до того, что проявлял в отношении Учителя раздражение и гнев:

– Его спрашивают, следует ли платить налоги римлянам, а Он, видите ли, отвечает какими-то выкрутасами: отдайте Богу Богово, а кесарю – кесарево. Мы ничего не должны кесарю, кроме дорогого меча и кинжала. Правда, я чувствую себя гораздо ближе к фарисеям: уж они-то верят в судьбу нашего народа. Не будь Он Мессией…

Мало-помалу я стал понимать, откуда взялось это ожесточение, почему энергия добра и святости стала двигаться в ином направлении: тут не обошлось без того, другого. Речь шла уже не о каких-то там украденных драхмах. Он почуял, как можно использовать рвение Иуды против него же самого, исключив для него всякую возможность спасения. Я слышал, как он подло нашептывает ему:

– Ну да, Он – Мессия, и твой долг помогать Ему во всем. Но Он никогда не добьется успеха, если не избавится от своего благодушия. Тебе следует поддержать Его в возложенной на Него миссии.

Завернувшись в плащ и вперив взгляд в звезды Галилеи, Иуда слушал речи того, другого, предпочитая их моим, и все больше утверждался в своих намерениях.

Тогда-то я и принял необычное решение. У нас вообще-то не принято делиться своими трудностями с начальством, но мне показалось, что, ввиду поистине космической важности положения, я должен представить отчет о своей работе и спросить особых указаний.

Мессир Рафаил выслушал меня в молчании, глубоко вздохнул и сказал наконец следующее:

– Простите меня, мы вас недооценили. Я с самого начала должен был открыть вам, в чем именно заключается ваша миссия, но мне подумалось, что, не зная этого, вы исполните ее более естественным путем, а следовательно, и более эффективно. Однако я вижу, что вы вкладываете в это дело столько души,

столько любви и, честное слово, столько умения, что боюсь, что вам не удастся завершить его должным образом.

Я ничего не понимал и должен признаться, что в мое ангельское сердце закралось сомнение. А если для человека сомнение вполне естественно и оказывает на него даже благое действие, для ангела нет ничего более мучительного.

– Простите меня, – степенно повторил мессир Рафаил во всем блеске своего архангельского сияния, – ваша задача и состояла в том, чтобы не справиться с ней. Мы надеялись, что вам это удастся, благодаря вашей же неловкости, неумению. Теперь надо будет, чтобы вы совершили это осознанно.

Я возмутился. Требовать от ангела-хранителя, чтобы он привел своего подопечного к погибели, так же абсурдно, как требовать от собаки-поводыря, чтобы она толкнула своего слепого хозяина под машину. Это совершенно не в моей природе и не в моих принципах, да и учили меня другому. Архангел печально слушал меня, кивая головой в знак согласия, однако в глазах его читалось нечто иное.

– Смиритесь, – произнес он наконец, – смиритесь с тем, что вам предстоит стать несчастнейшим из ангелов: хранителем сына погибели. Что до него, так ему лучше было бы не рождаться на свет…

– А мне – не быть созданным! – воскликнул я в ужасе.

– Нет, ибо вы исполняете волю Божью, а для ангела, как и для человека, нет большего счастья, даже если подчас воля эта кажется нам жестокой, несправедливой…

– Чудовищной!

– Чудовищной, если вам угодно.

– Да, чудовищной, ибо вы требуете, чтобы я изменил самой своей сущности. Я же не карающий ангел, из тех, что стоят по левую руку Господа. Я – ангел-хранитель, хранитель и ничего больше. Я не сумею никого привести к гибели, пусть даже это будет сам сын погибели.

– От вас этого и не требуется, – ответил мессир Рафаил уже более строго. – Вам надлежит просто не справиться с вашей обычной задачей, как это случается со множеством ваших собратьев, вот и все. И никто с вас за это ничего не спросит.

Повесив голову, я вернулся к себе. Множество мучительных вопросов теснилось в моей душе. Почему Господу понадобилось, чтобы эта душа погибла? Разве не кощунством было бы предположить, что Богу может быть нужна или даже приятна гибель хоть одной души? Или все это время я ошибался относительно Господа Бога? От всего этого я лишь сильнее полюбил моего бедного Иуду и не мог удержаться от того, чтобы

не предложить ему еще несколько спасительных соломинок. Однако тем самым я лишь лучше сыграл свою роль: избыток добрых намерений при нулевом результате. Мессир Рафаил знал, что делает.

С этого момента тот, другой, возымел на Иуду решающее влияние. Он, безо всякого сомнения, тоже отчитался перед своими руководителями, и те сразу должным образом оценили ситуацию. Дьяволу предоставлялась редкая возможность сорвать предпринятую Господом Богом безнадежную попытку спасти этих людишек, которых Он создал Себе, чтобы любить их. Отказавшись от Своего всемогущества, Он сам сделался для этого человеком. Теперь надо было воспользоваться случаем и при помощи тех, кого Он пришел спасать, убрать Его самого раз и навсегда. Для большей эффективности можно было воспользоваться и методом осмеяния. Я уже говорил вам, что дьяволы, хоть и хитры, но вовсе не так умны, как может показаться. В любом случае, они засуетились, готовясь к решающему бою: начиналась самая крупная операция этого зона.

* * *

Три года проповедовали мы, и настал день, когда нам надо было отправиться в Иерусалим, чтобы встретить там праздник Пасхи. Надо сказать, что большинству из двенадцати эта идея пришлась не по душе. Да, Иерусалим был священным городом, там находился восстановленный Иродом Храм Соломона, единственное место, где евреям было позволено приносить жертвоприношения во славу Господа. Но он был и главным городом суровой, безводной Иудеи, городом ханжей и фанатиков, спекулирующих на религии, тех, кто присвоил себе монополию на истину и не колеблясь уничтожал своих противников. Для назарян Иерусалим означал возможную погибель, а апостолов идея мученической смерти еще не вдохновляла.

Первым решился Фома Неверующий:

– Идемте, умрем вместе с Ним.

Иуда же втайне ликовал: Революция могла свершиться только в Иерусалиме; Учитель снова в добром расположении духа; значит, скоро!

Первые же события показали, что Иуда был прав. Вопреки здравому смыслу Учитель не стал входить в город тайно. Напротив, в первый день недели Он вышел из Вифании во главе целой процессии, пересек Кедрон, поднялся на противоположный склон и въехал в Священный город через Львиные ворота верхом

на ослице, как древние цари Иудеи. Молодежь бежала впереди Него, размахивая пальмовыми ветвями, срывая с себя одежды и бросая их под копыта ослицы, горделиво покачивавшей головой. Играли свирели, плясали дети. Апостолы переглядывались, изумляясь и радуясь приему, что оказывали Тому, Кого они так любили, а я чувствовал, как разгорается огнем сердце Иуды, громче других кричавшего «Осанна!» «Скоро, скоро, – думал он, – обагрятся кровью руки и устрашающая крепость Антония, чья языческая тень так вызывающе падает на Храм Соломона, будет обращена в прах богоизбранным народом, исполняющим волю своего Господа».

Однако последовавшие за тем понедельник и вторник не принесли Иуде ничего, кроме разочарований, к вящему удовлетворению того, другого, который был рад лишний раз позлить своего подопечного. Днем Учитель, вместо того чтобы организовывать вооруженные восстания, спокойно проповедовал в Храме, а ночью, без какого-либо тайного умысла, совершенно открыто ночевал на Масличной горе, что напротив Храма. В среду Симон по прозвищу Прокаженный пригласил всех тринадцать – Учителя с двенадцатью учениками – поужинать у него дома в Вифании. Там-то, когда все сидели за столом, и произошел случай, которым не преминул воспользоваться тот, другой: вошла женщина, поклонилась Учителю и умастила Его благовониями.

Что тут началось! Люди часто слишком серьезно относятся к совершенно ничтожным происшествиям. Все двенадцать апостолов возмутились: Учитель не из тех, кого подобает умащать благовониями. Иуда кипятился больше других: миропомазание – удел царей, а кто как не Учитель всячески отнекивался от царствования, ломался, не желая ковать железо, пока оно было горячо? А теперь-то уж и вовсе не время для таких почестей. Не умея выразить свое негодование, Иуда напустился на бедную женщину, а поскольку Маммона всегда присутствовал в его мыслях, он воскликнул:

– Ты что, с ума сошла – тратить такие деньги на благовония?! Лучше бы раздала их бедным!

Он был уверен в том, что Учитель, неизменно ратовавший за помощь обездоленным, поддержит его. Но Тот, наоборот, встал на защиту женщины, промолвив: «Она приготовила Меня к погребению». Что за мрачные мысли! «Ибо нищих всегда имеете с собою». Какая обида! У Иуды даже слезы навернулись на глаза. А тот, другой, уже тут как тут:

– Слушай, слушай, что Он тут плетет! Во-первых, с какой легкостью Он относится к деньгам! Это дурной знак. Ведь деньги – концентрат счастья, к ним должно относиться с уважением. А

во-вторых, что это Он тоску наводит? «Нищих всегда имеете с собою»? Вовсе нет, когда мы совершим Революцию, все станут богатыми. Ну и, наконец, что это за малодушие: «Она приготовила Меня к погребению»? К какому такому погребению? Если Он заговорил о смерти, значит, Он не собирается исполнять Своего предназначения. Старик, надо что-то делать. Все зависит от тебя.

Иуда бросил на Учителя взгляд, исполненный разочарования и горечи, и вышел.

Тот, другой, и я бросились ему вдогонку. Я знал, что проигрываю, но решил бороться до самого конца (позже меня в этом не упрекнули, сказав, что это даже было хорошо для правдоподобия). Пока Иуда быстрыми холерическими шагами спускался по той самой каменистой тропинке, по которой несколько дней назад мы прошествовали с переполненными радостью сердцами, тот, другой, и я наперебой засыпали его советами.

Тот, другой. Ты должен Его заставить. Так будет лучше и для Него.

Я. Горе ученику, возомнившему себя выше учителя.

Тот, другой. Слава ученику, пришедшему на помощь учителю в минуту слабости.

Я. Ты знаешь, что фарисеи хотят убить Его. Не хочешь же ты быть виновным в Его смерти?

Тот, другой. Его нельзя убить. Помнишь, там, в Назарете, толпа хотела сбросить Его со скалы, – так Он исчез! А после насыщения пяти тысяч пятью хлебами, когда Его хотели насильно венчать, – Он опять исчез! И в Храме, когда Его собирались арестовать, и в Сокровищнице – Его уже схватили за руку, а Он исчез! А помнишь, Его хотели побить камнями, так ведь Он и тогда пропал с глаз долой! А когда Он сказал, что Господь в Нем и Он в Господе, иудеи прямо-таки бросились на Него, – а Его нет! А на прошлой неделе, когда он воскресил умершего, – сделал свое дело и исчез! Чего же такому бояться, как ты думаешь? Да разве ты сам, вместе с Петром и остальными, не признал в Нем Сына Божьего? А кто может убить Сына Божьего? Вот увидишь: Он и с креста сойдет, если Его распнут!

Я. Может Сын Божий исчезнуть или нет, – это не твое дело. Твое дело – не предавать Его.

Тут Иуда резко остановился и громко сказал мне:

– Мое дело помочь Ему быть самим собой. Изыди! Не пристало тебе видеть, что я сейчас сделаю. Я снова возьму тебя с собой, когда все будет кончено, и ты увидишь, что я был прав.

Когда люди гонят нас, мы обязаны повиноваться и уйти,

однако нам позволено следовать за ними на расстоянии. Именно так я и поступил.

Вечерело. Сопровождаемый своей зловещей тенью, Иуда перешел по мосту через Кедрон, прошел через Красные врата, ведущие к Храму, пересек Двор жен, миновал Никаноровы врата и вошел во Двор мужей. Двери жертвенника были открыты. Иуда вошел внутрь.

В полумраке, при слабом свете ламп несколько священнослужителей отправляли обычную службу. Некоторые из них были тощи и желты, другие – дородны и румяны. Их широкие одежды и прикрепленные ко лбу хранилища со священными текстами придавали им сходство с гигантскими насекомыми. Скольких агнцев зарезали эти мясники своими руками, принося в жертву по два животных ежедневно? На лицах их читалось довольство – у одних с оттенком злобы, у других – презрения. Во мраке я различил фигуры их ангелов-хранителей, которые, как и я, были изгнаны ими и теперь стояли поодаль и, закрыв лицо руками, молились и плакали.

– Кто ты такой? – произнес один из священнослужителей, чей изможденный лик напоминал своей надменностью профиль дромадера.

– Я пришел с Назарянином, – ответил Иуда. – Я знаю, что вы хотите Его схватить, но не можете, так как народ поддерживает Его. Я могу указать вам место, где это можно сделать, не рискуя вызвать народные волнения.

Я чувствовал, как гордыня растет в нем, раскаляясь добела, словно чугунная болванка. С каким мастерством обводил он этих людей вокруг пальца! Схватить Сына Божьего? Ха-ха-ха! Они такое увидят, чего в жизни не ожидали! И, желая, чтобы все выглядело абсолютно правдоподобно, добавил, подумав в первую очередь, как всегда, о деньгах:

– А сколько вы мне заплатите?

Они призадумались. Да, Назарянин очень мешал им. Он отбивал у них хлеб, Он мог поссорить их с народом, с римлянами, а может, даже и с самим Богом. Они, разумеется, ничего не сделали, чтобы познакомиться с Его учением, заранее считая, что в религии все, что исходило не от них самих, подлежало осуждению. Приближался праздник Пасхи, и хорошо было бы избавиться от этого возмутителя спокойствия прежде, чем съедутся в Иерусалим представители всех колен Израилевых. Пророк этот был к тому же сыном Давидовым, да он еще и чудеса какие-то совершал без разрешения, притом в субботу. Нет, это – опасный человек. Но в любом случае устранение этого чудотворца не может стоить целого состояния…

– Славно, если для блага общества погибает всего лишь один человек, – прошептал лоснящийся от жира толстяк.

– Тридцать динариев, – проговорил другой, болезненного вида и сухой, как пергамент.

То была цена одного раба или месячная плата поденного рабочего – не густо.

– Хорошо, – ответил Иуда и покинул Храм, чрезвычайно довольный собой.

Священники удивленно переглянулись: почему этот простак не стал торговаться? Они заплатили бы ему в двенадцать раз больше. Тем временем их ангелы, предвидя трагическую развязку, в безмерной скорби покачивались в воздухе позади них.

С этой минуты Иуда стал искать удобного случая, чтобы начать Революцию. Он думал, что делу сможет помочь стечение в Иерусалим народа со всей Иудеи. В субботний день, конечно, нельзя будет ничего сделать: суббота будет соблюдаться в этот раз еще строже, чем обычно. Но вот накануне праздника или за день до него?… Случай представился в четверг вечером.

В тот день Учитель собрал двенадцать своих учеников в красиво убранной комнате в доме одного богатого горожанина, куда все они были приглашены. Он налил воды в глиняную миску, препоясался полотенцем и, преклонив колена, омыл ноги каждому из них. Петр, как обычно, запротестовал: он не позволит делать этого! Однако позволил. Иуда же протестовать не стал. Он завороженно следил за движениями этих святых рук, столь горячо любимых им, рук, которые он собирался предать, смотрел, как они смывают пыль с его ног и насухо вытирают их. Он думал, что скоро в эти самые руки он предаст корону царя Давида.

Все возлегли. Петр и Иоанн приготовили трапезу. Они ничего не пожалели для того, чтобы Пасха была обильной. Сотрапезники ели с одного общего блюда и беседовали. Учитель много говорил. Иуда слушал вполслуха, занятый своими мыслями и планами, но когда Учитель преломил хлеб и налил вина, сказав, что это – Его Тело и Его Кровь, Иуда вкусил и выпил, как и остальные. Кто как не он более всех достоин этого? Тот, другой, стоял тем временем в тени позади него и сардонически улыбался.

Все были счастливы, но вдруг словно порыв ветра пронесся по комнате. Пламя светильников заколебалось, нарисовав причудливые узоры на завешенных коврами стенах, и глубокая печаль омрачила лик Учителя. «Вы чисты, – сказал Он, – но не все». Это прозвучало как сожаление о том, что Он не выполнил Свою миссию. И Он процитировал Писание: «Ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою». Наконец, не в силах больше сдерживаться, он поведал, что мучило Его все это время: «Один из

вас предаст Меня».

Предаст? Один из них? Разве не любили они Его больше всего на свете? Кто же предатель? И поскольку были они действительно чисты, каждый усомнился в себе самом, как и в других. Все стали спрашивать:

– Не я ли, Господи?

Но Господь покачал головой.

Иуда поначалу был совсем сбит с толку. Как Учитель мог узнать об этом?… Может, Он говорит о каком-то другом предательстве? Надо проверить. Он спросил последним:

– Не я ли, Господи?

Их взгляды встретились, и он увидел, что Учитель имел в виду именно его, но не прочел в его глазах и тени гнева. Напротив, его захлестнула волна любви, и он услышал сладостные для слуха слова: да, именно он, Иуда, предаст своего Учителя, но Иуда не в ответе за путь, что должен пройти Сын Человеческий! Сына Человеческого переполняла жалость к предателю и его ужасной доле: Он и в самом деле жалел, что тому суждено было появиться на свет.

Тогда Иуда дрогнул. Он готов был уже воскликнуть:

– Нет, о мой Учитель, сострадущий мне! Я не предам Тебя!

Но тот, другой, наклонился к нему:

– Ты что же, принимаешь это за сострадание? Ты что же не видишь, что Он заодно с тобой? Он все понял и ободряет тебя.

Тем временем Учитель, как последний знак дружбы, протянул ему кусок хлеба, ставший Его Телом, и, изнемогая от точившей Его в течение последних недель скорби, стал умолять его скорее совершить то, что он намеревался совершить.

Иуда взял хлеб, положил его в рот, прожевал, проглотил и вышел вон. Была глубокая ночь, становилось холодно.

Он побежал к Храму, спотыкаясь в темноте, то и дело подворачивая ноги на булыжной мостовой, путаясь в узких улочках незнакомого города. Священники ждали его – те самые или уже другие – неважно: они по-прежнему походили на огромных тараканов.

– Назарянин сказал, что они останутся на всю ночь на Масличной горе. Я знаю, в какой пещере.

– А как мы узнаем Его среди остальных? Ведь если мы промедлим, Он сможет ускользнуть.

Иуда поморщился: конечно, Он мог бы это сделать, но при такой угрозе Он скорее решит устоять, используя все возможности, данные Ему Его божественным происхождением. Не на это ли Он намекал, ободряя его только что?

– Вы Его узнаете: я подойду и поцелую Его.

Стали собираться, взяли оружие. Хищно улыбались, обнажая зубы. Охота, это всегда так возбуждает. Ощетинившись пиками и мечами, осветившись факелами и фонарями, отряд перешел через Кедрон. Впереди Иуда, гордый собой, заранее посмеивающийся над разочарованием, которое постигнет этих кровавых злодеев, когда на них низвергнутся небесные воинства.

Вот и Гефсиманский сад.

Учитель вышел из пещеры. С ним Петр, Иаков и Иоанн. Он идет навстречу вооруженным людям. Иуда подходит к нему, обеими руками берет его за плечи и целует. Сердце его переполняет любовь.

– Приветствую Тебя, Учитель.

Учитель спрашивает, кто им нужен.

– Иисус Назарянин!

Он отвечает, что это Он, и при этих словах будто солнце вспыхивает среди ночи. Ослепленные, пораженные, раздавленные, стражники, как дрова, повалились друг на друга.

– Вот оно, начинается! – возликовал Иуда.

Он поднимает глаза к небесам, чтобы первым увидеть, как оттуда низринутся легионы ангелов с огненными копьями в руках. Тем временем стражники поднимаются на ноги и потирают бока, не понимая, что с ними произошло.

Учитель снова спрашивает, кого они ищут.

– Сказано тебе – Иисуса Назарянина.

Он снова повторяет, что это Он, но на сей раз тихим и смиренным тоном, и после минутного колебания они связывают Ему руки за спиной. Петр, вынув из ножен меч, бросается вперед и неловко размахивая им, отсекает ухо одному из рабов. Учитель ласково останавливает его и одним прикосновением исцеляет кровоточащую рану. Он просит стражников не задерживать тех, кто сопровождал Его. Но у них и нет такого приказа. Учеников оставляют в покое, а Учителя уводят. Все кончено. Иуда, не веря своим глазам, смотрит вслед удаляющимся фонарям, которые наконец исчезают в ночи. Вдруг он вскакивает и бежит вслед за отрядом. Мы остаемся вдвоем – я и тот, другой, который победно смотрит на меня.

– То ли еще будет! – торжествующе произносит он.

Потом был суд. Вы и сами все знаете. Созванный для того, чтобы вынести обвинительный приговор, он так и сделал. Иуда присутствовал при этом. Более верный, чем Петр, более настойчивый, чем Иоанн, он проник к Анне, проскользнул к Каиафе, был на заседании Синедриона. Он видел плевки и пощечины, слышал ругань и лжесвидетельства, видел замешательство судей и все надеялся на что-то, когда

первосвященник задал роковой вопрос:

– Так ты – Христос?

И Учитель ответил, что да, Он – Христос.

И подписал Себе тем самым смертный приговор. Он добровольно обрек Себя на смерть. Он не дал Петру защитить Себя, – значит, Он хотел, чтобы Его арестовали. Но Он в одно мгновенье излечил раненого, – значит, Он еще обладает Своей чудодейственной силой.

«Ничего не понимаю», – подумал Иуда, и его пылающее сердце в один миг заледенело. Он на самом деле предал Учителя, Которого любил, он на самом деле послал Его на смерть, – просто так, ни за что.

Со всех ног помчался он в Храм, где его встретили все те же священные насекомые.

– Я пролил невинную кровь. Я пришел вернуть вам ваши деньги.

Они рассмеялись ему в лицо.

– Тебе виднее.

– А нам-то что за дело.

Он швыряет на пол тридцать сребреников и идет искать осину, чтобы на ней повеситься.

Нет хуже для ангела-хранителя, когда его подопечный поддается искушению и пытается покончить с собой. Пусть лучше он изнасилует, убьет, пусть его закопают живым в землю! Но моя миссия была выполнена, и я вновь мог стать настоящим хранителем, каким всегда желал быть.

– Прости меня, мой Иуда, дорогой мой Иуда, – рыдал я. – Все это моя вина. В самый трудный час ты остался без своего ангела-хранителя.

Как жаждал я смягчить его сердце! Как пытался пригреть его под своими крыльями! Как старательно убирал с его пути осины и веревки! Как умолял его одуматься и простить себя самого!

– Ты же знаешь Учителя, Иуда. Не учил ли Он вас прощать семьдесят и семь раз? Если Он ждет, что люди возлюбят своих врагов, неужели же Он не простит тебя, ведь ты, в конце концов, желал Ему только добра, ведь правда?

Но тот, другой, тоже был рядом, и ему, конечно же, хотелось довести дело до конца. В самый последний момент демоны обычно безжалостно набрасываются на того, кого они улещали всю жизнь.

– Ты не имеешь права жить, Иуда. Он Сам сказал тебе, что лучше было бы тебе не родиться на свет. И Он же сказал, что никто не погиб, кроме сына погибели. А сын погибели – это ты. Как посмеешь ты глядеть на белый свет, дышать этим воздухом,

пить воду, ступать по созданной Им земле? Нет для тебя места в этом мире. Тебе только и остается, что лишить себя дыхания, оскорбляющего Господа, остановить сердце, в котором зародилась черная измена.

– Нет, Иуда! Еще не поздно! Там в это самое мгновенье они бичуют Его и надевают терновый венец на голову Его. Но ты еще успеешь предстать пред Ним и прочесть свое прощение на залитом кровью челе Его!

– Да что ты, Иуда! Это ведь не прощение, а насмешка! Ты что, не видишь, что из всех людей, ты – единственный, кто недостоин спасения, ибо ты сам убил своего Спасителя?

– Иуда, еще есть время! Там, на горе, они прибивают гвоздями к кресту Его руки и ноги, но тебе стоит только показаться Ему на глаза, чтобы услышать, что Он любит тебя, как и в самый первый день вашей встречи.

– Может быть, но я, я сам больше не люблю себя.

* * *

Ну что еще сказать? Мессир Рафаил был прав: я стал несчастнейшим из ангелов, как Иуда стал несчастнейшим из людей, и не столько потому, что предал своего Учителя, сколько потому, что попытался подчинить Господа своей воле. Но я не теряю надежды. Ибо я твердо верю, что когда Сын Человеческий спустится в ад, первым делом Он отыщет там Иуду – раньше самых ужасных преступников, – к нему, к Иуде устремится Он прежде всего, чтобы заключить его в Свои объятья, чтобы поддержать, утешить его, чтобы вернуть ему поцелуй, который тот запечатлел на щеке Его там, в Гефсиманском саду.

Не спрашивайте меня, что произошло бы, если бы Иуда не предал своего Учителя. Священники и фарисеи могли бы нанять другого доносчика, или пренебречь народом, или призвать на помощь римлян… А Сын Человеческий все равно был бы распят, ибо так было нужно, и возможно даже, в тот самый день, ибо по воле Господа смерть Сына Его должна была совпасть с еврейской Пасхой.

Но не было бы в том распятии неизбывной горечи преданной дружбы. А хуже этого и быть не может. Уж мы-то, ангелы, знаем…

Ангел милосердия

У истории этой есть одна особенность: она происходила трижды, в трех параллельных универсумах, каждый раз по-иному.

В первом случае мы не стали вмешиваться или, вернее, прискорбным образом упустили момент: Николай не послушал ангела, а ангел не стал настаивать. Во втором имела место одна из самых блестящих операций, проведенных нами на земле. Третий вариант предполагал вмешательство наших спецслужб, но в более скромной форме, кроме того, некоторые детали этой операции в наших хрониках не сохранились.

Начало у всех трех вариантов истории одинаково, равно как и место и время: ночь с 22 на 23 апреля 1849 года в Санкт-Петербурге, столице Российской Империи.

…Луна в последней четверти вот-вот закатится над Финским заливом, в снежной каше под ногами отражается там и тут звездный свет, а вверху, исхлестанный ветрами, умытый ледяным дождем, выметенный туманами, словно гигантская лампада, посылает во тьму красноватые отблески золотой купол Исаакиевского собора.

Два незнакомых человека, не видя друг друга, смотрят на мерцающий в ночи купол. С одинаковым рвением просят они одного и того же Бога об одном и том же: о благе и спасении русского народа. Но по-разному видится им путь к достижению этого блага.

Первый, тот, что находится ближе к собору, созерцает купол через окно маленькой угловой комнаты, которую он снимает в квартире г-на Бреммера в третьем этаже мрачного коричневого треугольного дома, принадлежащего г-ну Шилю. Жилец этот часто переезжает с места на место и снимает всегда лишь одну комнату, всегда угловую и всегда с видом на собор. Ему двадцать восемь лет. Он дворянин, инженер-поручик в отставке. Он – писатель и опубликовал уже несколько рассказов, которые имели определенный успех. Его часто сравнивают с великими, тем более что пишет он в слезливой псевдонародной манере, в духе современных властителей дум, так что его можно даже назвать писателем модным. Выглядит он чахлым и болезненным, но одет со вкусом. Однако сейчас его черный сюртук и серый кашемировый жилет помяты, а туфли испачканы грязью, так как он долго шел под дождем и насквозь промок. В ста метрах от него, словно пытаясь вырваться из лесов, скрывающих розовый гранит колонн и серый мрамор стен, высится собор.

Другой человек смотрит на купол издали, с расстояния не

менее пятисот метров, из окна по-спартански обставленного рабочего кабинета, служащего ему одновременно и спальней. Он глядит, как купол парит в небесах над убегающими вдаль крышами и кронами деревьев, с трудом различая его на фоне ночного неба, которое словно сообщает ему свое неясное мерцание. На человеке повседневная форма офицера Измайловского полка. Он крепок и красив, у него широкие плечи и тонкая талия, а чуть косящий взгляд словно создан для того, чтобы метать молнии. Впрочем, его часто сравнивают с Юпитером. И никто, кроме его лейб-медиков, не знает, что он подвержен головокружениям и приливам крови к голове и что ему грозит водянка.

За спиной его в позе почтительного ожидания стоит граф Орлов, тот самый, что после смерти Бенкендорфа заведует Третьим отделением и командует жандармерией. Он на своем месте, но никогда он не заменит друга, у постели которого Николай оставался, пока тот не отошел в мир иной; которому театральным жестом – он любит такое – он протянул однажды свой носовой платок, чтобы тот, принимая репрессивные меры, «утирал им слезы униженных и оскорбленных». Орлов положил на стол Его Величества папку. В папке – тридцать четыре фамилии с соответствующими комментариями доносителя Антонелли.

Император все смотрит в полукруглое окно с темными шторами. Он молится за свой народ, за тех, кого он зовет своими детьми, среди кого он любит гулять один, без охраны, не раздумывая, в свойственном ему театральном порыве помогая крестьянину поднять мешок с мукой или провожая до кладбища одинокий гроб. Он молится, и внутри него поднимается тоска: «Неужели снова начнется этот ужас?»

Какая буря разыгралась четверть века назад, когда он только взошел на престол! Законность престолонаследия ни у кого не вызывала сомнений: его старший брат Александр завещал трон ему, ибо второй брат его, Константин, царствовать отказался. Константин признал младшего брата своим государем; дворянство, армия, весь народ должны были присягнуть ему на верность, но вот горстка заговорщиков из высшей знати посеяла смуту. Это было в декабре. Их и назовут потом декабристами. Они стали морочить народ. «Константин, – кричали они, – не отказывался от короны. Николай – узурпатор!» Целые полки присоединились к восставшим во имя этой ложной законности. А декабристы, что же, приготовили они что-нибудь на смену старому режиму, была у них конституция? Нет, они собирались импровизировать. А программа, какая-нибудь цельная доктрина?

Нет, они были просто идеалисты. Так зачем же им было свергать его, императора? Ну, конечно, определенную роль сыграли личные амбиции. Но главное – это так называемое Просвещение, которое испортило, развратило их незрелые умы, и вот эти титулованные кретины возомнили себя способными дать не сегодня завтра русскому народу свободу и счастье.

Когда выступившие на одной стороне разум и пушки победили, Николай сам ночи напролет допрашивал декабристов, не допуская в их адрес ни малейшего оскорбления, ни малейшей грубости, всегда с неизменным желанием понять их. Что же заставило этих молодых аристократов, представителей привилегированного класса, поставить под угрозу безопасность государства, отказаться от принесенной ими присяги, запятнать честь семьи, попрать освященный Церковью вековой порядок вещей, выпустить на волю гидру народного бунта, обуздать которую они были неспособны? Что как не смехотворная самонадеянность, преступная глупость?

Николай как сейчас видит их лица во время допросов: Трубецкой – трусливая душонка, Пестель – фат, Бестужев – тот просто умирал со страха, Рылеев – вечный неудачник, Каховский с его постоянным желанием нравиться, Муравьев – туповатый гуляка, ну и вся эта прочая мелюзга, кого он отправил в ссылку или просто помиловал, после того как суд приговорил их к смертной казни…

Повесил он только пятерых, тех, кого судьи предложили четвертовать. И правда, смерть через повешение – это самое малое, что они заслужили: их безумие поколебало государственные устои; уж они-то сами не остановились бы перед убийством. Ведь это из-за них петербургский снег обагрился тогда кровью тысячи двухсот семидесяти русских солдатиков, обманутых своими офицерами: ради спасения нации их пришлось расстрелять на узкой Галерной улице. Нет, не он, Николай, ответствен за эти смерти: это все они, салонные хлыщи, надушенные мечтатели, на них пала эта кровь. А какой вздор они несли, да с какой наглостью, с каким красноречием! «Мы сломали наши ножны, – кричал Каховский, – нам некуда деть наши сабли, кроме как вонзить их в сердце врагам истинной России!» Кстати о саблях, именно он пистолетным выстрелом в упор убил генерала Милорадовича, прибывшего для переговоров с восставшими. А Бестужев: он, император, сказал ему, что считает в своей воле простить его, а тот воспротивился: «Такие злоупотребления и заставили нас пойти на заговор». «Я думал, – ответил ему тогда Николай, – что самая ценная привилегия государя заключается именно в возможности помиловать неблагодарного». Однако он

не помиловал ни Бестужева, ни Каховского: нельзя быть великодушным ради собственного удовольствия. Он не простил и никогда не простит преступных безумцев, по чьей милости начало его царствования было запятнано кровью. И если все это безумие повторится, что ж, он снова поступит так же. Он ответствен перед Господом и перед русским народом. Ничто не должно нарушать порядка вещей и покоя его верных подданных. Он будет действовать по обстоятельствам.

Он отрывает глаза от купола, тускло поблескивающего в апрельской ночи, поворачивается к Орлову и, указывая пальцем на папку с тридцатью четырьмя именами, говорит:

– Арестовать всех.

Среди этих тридцати четырех имен есть одно, напротив которого красным карандашом помечено: «Особо опасен». Это имя принадлежит тому, кто только что, одновременно со своим государем, смотрел на Исаакиевский собор запавшими серо-голубыми глазами, на дне которых затаилась эпилепсия.

* * *

Федор вернулся с тайного собрания в три часа ночи. Оно проходило на другом конце города, в Коломне, где досужие чиновники до сих пор постреливают бекасов. Там, среди лугов, болот и деревянных церквушек, есть домик со скрипучей лесенкой, где по пятницам собираются заговорщики, задумавшие переменить судьбу России.

У Федора до сих пор голова гудит от всего, что он там услышал и сам наговорил в течение этой ночи. Противоречивые чувства камнем давят ему на сердце. Пульс частит. Дышать трудно. Он встает на стул, открывает форточку, и ледяной воздух врывается в комнату, гасит пламя свечи. Молодость, любовь к родине, жажда деятельности, зарождающаяся слава поют в нем, еще гремит в ушах гром аплодисментов, которыми его наградили только что, когда он талантливо, по-актерски прочел письмо Белинского к Гоголю: «Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации… Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства…»[35]

Федор не знает, согласен ли он полностью с этими словами, ведь сам-то он молится Богу, и от всего сердца, но с каким благоговением читал он благородные слова о «человеческом достоинстве»! И голос его не дрогнул, когда он произносил

ключевую фразу: «Приглядитесь пристальнее, и вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ».[36] Но когда его товарищи, вооружившись этой фразой, принялись насмехаться над самим Христом, он отвернулся, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы. Он и правда не понимает, верит ли он в Бога; он знает только, что любит Христа, и ему больно слышать, когда над Ним глумятся. «Это у них пройдет, – думает он. – Они добрые. В конце концов они поймут, что Он был первым, кто любил людей так, как любят их они сами». Есть, однако, одно сомнение, которое гложет его. А любят ли они людей на самом деле? Так ли уж они добры в действительности? Например, хозяин дома, Михаил Васильевич Петрашевский, социалист, коммунист, последователь Фурье, Сен-Симона и Карла Маркса, утверждающий, что он может преподавать одиннадцать различных дисциплин по двадцати разным системам, опубликовавший словарь, где изложены его самые радикальные идеи, и работающий в настоящее время над рукописью, озаглавленной «Мои афоризмы, или Обрывочные понятия обо всем, мною самим порожденные»? Он хочет организовать общество, состоящее из ячеек и фаланг,[37] он построил для своих собственных крестьян фаланстер,[38] который они, правда, поспешили спалить. Но такой ли уж он филантроп и революционер? А может, он просто нелепый шут в испанском плаще и огромном угловатом цилиндре, развлекающийся тем, что ходит в церковь, переодевшись в женское платье, ничего при этом не делая со своей густой, всклокоченной бородой?

Иногда Федора посещают сомнения на его счет, поэтому-то он и примкнул к самому жесткому ядру группы. Михаил Васильевич и не подозревает о существовании этого ядра, семеро членов которого готовы начать революцию любыми средствами.

Глава группы, Николай Александрович Спешнев, сделан совсем из другого теста, чем Петрашевский. Этот – смутьян из смутьянов. Он и слышать ничего не желает о конституционной монархии, только о республике, при этом никак не буржуазной. Революция начнется в народе и закончится полной национализацией земель и средств производства. Странно слышать, как он рассуждает на эти темы своим вкрадчивым, с легкой картавинкой, голосом. Спешнев ходит в жемчужно-сером шелковом галстуке с бриллиантовой булавкой, двубортном бархатном жилете, с тростью с серебряным набалдашником – настоящий денди. В отличие от косматого Петрашевского, Спешнев всегда безупречно причесан (у него есть свой парикмахер – немец), его усы и бородка тщательно надушены, из-под тонко очерченных, будто выщипанных, бровей тяжело глядят

круглые глаза жуира. Спешнев богат. Спешнев – атеист. Он считает, что террор одинаково хорош как для свержения нынешнего правительства, так и для управления государством после захвата власти. Он много путешествовал, у него богатый жизненный опыт и сомнительная репутация. Да, он хочет освободить народ, но он любит творить зло. Федор, которого он ссужает деньгами – по пятьсот рублей за раз, – возможно, для того, чтобы подчинить его себе, видит в нем своего Мефистофеля. Тем не менее, он любит его, но какой-то гипнотической любовью, которая смущает его самого. «Я с ним, я принадлежу ему…» – повторяет он про себя. Этот человек рискует жизнью ради человечества, – как же может он быть плохим?

Федор закрывает форточку, отходит от окна. Промокнув до костей, он пытался отогреться у Петрашевского дешевым, кислым вином, хотя обычно не пьет. Он раздевается, надевает ночную рубашку и опускается на колени перед иконой, висящей в углу напротив двери.

Под серебряным с позолотой окладом – Богородица. Она на небесах, на руках у Нее Младенец, два ангела поддерживают Ее по бокам, под ногами у Нее облака, на голове венец, от которого идет сияние, внизу – люди: мужчины, женщина, ребенок, старик, они молятся своей заступнице. Святость Ее переходит на них, пронизывает их, преображает, изливается чрез них на весь мир, проникая в сердце коленопреклоненного революционера. Образ этот, который Федор любит больше других, называется «Всех скорбящих радость».

Он ложится и засыпает. Просыпается он от металлического звука: словно саблей ударили по шкафу. С трудом открывает глаза. Чей-то голос с сочувствием говорит: «Поднимайтесь». Это жандармский подполковник в голубом мундире. Свечи зажжены, в комнате полно людей. Они что-то ищут, изымают, опечатывают. Полицейский пристав с красивыми бачками залез в печку, откуда торчит только его жирный зад. Он ворошит золу мундштуком от Федорова кальяна. «Можете не спешить, но я все же попрошу вас одеться», – по-прежнему сочувственно говорит жандармский офицер. Все спускаются вниз, где уже ждет карета. Едут через Неву. Идет дождь, холодно. Петропавловская крепость четко вырисовывается на фоне светлеющего неба. Алексеевский равелин. Камера. Щелк! Замок защелкнулся.

Проходят месяцы, наступает лето, допросы следуют за допросами. Все очень вежливы. Ни Федор, ни остальные тридцать три арестованных не могут пожаловаться на дурное обращение. Им разрешено читать, писать, покупать вино, переписываться с родными. Казематы, расположенные на уровне воды, напоминают

погибшие корабли. Федору кажется, что вот-вот вода хлынет к нему в камеру. Сыро, пробирает до костей. Фитиль керосиновой лампы все время коптит, и часовой будит вас, чтобы вы сняли нагар. Ежедневно выводят на прогулку: площадка и на ней семнадцать деревьев – их безмятежный вид вселяет веру в жизнь. Петрашевский пользуется этими прогулками, чтобы передавать товарищам героические послания: «Требуйте очных ставок. Остерегайтесь лжесвидетельств. Протестуйте. Требуйте письменных копий ваших заявлений. Не отвечайте на расплывчатые вопросы. Требуйте разъяснений. На вопросы отвечайте вопросами…» Они требуют, протестуют, отвечают вопросом на вопрос, молчат. Следователи остаются неизменно корректными. Видимо, пытаются подсластить горькую пилюлю. Федор здесь считается «умным, независимым, хитрым и упрямым» обвиняемым. Он читает Библию и Шекспира. Он пишет рассказ, а повесть, которую он только начал, уже публикуется отдельными выпусками. Покой, в котором он пребывает, походил бы даже на некое подобие счастья, если бы только его не мучили приступы геморроя.

Пять месяцев следствия, шесть недель болтовни на заседаниях военного трибунала, и вот черной декабрьской ночью на стол Николаю ложится двадцать один смертный приговор.

Император кутается в поношенный плащ, который служит ему халатом, а через несколько минут станет одеялом. Над плечом его склоняется ангел-хранитель:

– Будь милосерд, ведь ты – помазанник Божий. Он велел прощать врагам нашим, а ведь эти даже не пролили ничьей крови…

Но император хмурится. Он читает приговоры, которые ему предстоит подписать или перечеркнуть одним взмахом пера, и не чувствует слабости.

– Ты – ангел, тебе и подобает быть ангельски добрым. На вас не лежит никакой ответственности: вам только и надо, что быть добренькими со всеми. А мне Господь доверил пятьдесят миллионов душ – моих детей.

Он смотрит на золотую чернильницу, на отточенное перо.

Он размышляет.

– Людовик XVI не исполнил своего королевского долга и был наказан своим собственным народом. Голова Бернара де Лоне, надетая на пику,[39] символическое надругательство над герцогиней де Полиньяк![40] Сентябрь, Террор, Вандея,[41] кровавые расправы Каррье,[42] наполеоновская эпопея. И все это из-за того, что король отказался вовремя послать к Бастилии эскадрон драгун. Для государя слабость – это не проявление

милосердия, а совсем наоборот. Можно прощать своим врагам, но не врагам Отечества. Я был бы не достоин царствовать, если бы жалость помешала мне отсечь пораженные гангреной члены.

Ангел не находится, что ответить, и отступает.

Двадцать второго декабря 1849 года в Петербурге стоял лютый мороз, ниже двадцати градусов. В половине восьмого утра двадцать одни сани в сопровождении конных жандармов подъехали к Петропавловской крепости. Загремели засевы, заскрипели замки. Заключенным было велено снять грубые рубахи и залатанные мешки, служившие им одновременно брюками, кальсонами и носками, и надеть одежду, которая была на них в день ареста. Они сели по одному в двухместные сани, вторым сел солдат. «Куда нас везут?» – «Не могу знать!» Кортеж направился к Выборгской стороне, пересек Неву, проехал по Воскресенскому проспекту на Кирочную, потом на Знаменскую, вышел на Лиговку, а затем по Обводному каналу добрался до плаца, окруженного строгими зданиями казарм Семеновского полка.

Плац был покрыт снегом. На горизонте сквозь нагромождение темных кучевых облаков светился красный шар только что взошедшего солнца. Со всех сторон стали робко сходиться люди. Из окон, с крыш домов – отовсюду глядели любопытные глаза. Было тихо.

Три гвардейских полка – Московский, Егерский и Кавалергардский – выстроились в каре. Полки эти были выбраны специально: в них служили когда-то трое из осужденных.

В центре плаца был устроен помост, выкрашенный в черный цвет, у подножия помоста – три серых столба.

Дрожа и стуча зубами от холода, узники, которые не виделись с того последнего вечера в доме Петрашевского, восемь месяцев тому назад, пожимали друг другу руки, целовались заиндевевшими губами. Чиновник с листом бумаги в руках начал перекличку:

– Петрашевский.

– Здесь.

– Спешнев.

– Здесь.

– Момбелли.

– Здесь.

– Достоевский.

– Здесь.

И Федор занял свое место в ряду осужденных.

Их заставили обойти каре, чтобы солдаты лучше могли разглядеть своих бывших офицеров, осужденных и приговоренных

к смертной казни. От мороза было тяжело дышать. Они говорили друг другу: «Потрите щеку, потрите подбородок, они побелели от холода». Федор улучил момент и сунул в руку Момбелли написанный в тюрьме рассказ «Маленький герой».

Поднялись на помост.

– На караул!

Солдаты взяли на караул.

– Шапки долой!

Приговоренные сняли шапки. Началось чтение приговора.

Петрашевский – смертная казнь.

Спешнев – смертная казнь.

Момбелли – смертная казнь.

Чиновник повернулся к Федору и прочел его обвинительное заключение, завершив его следующими словами:

– Трибунал приговорил вас к расстрелу, и 19-го числа текущего месяца Его Величество Государь Император собственноручно приписал: «Да будет так».

Федор выслушал приговор без тени раскаяния. Общая судьба сближала его с товарищами, чья непогрешимость не вызывала больше сомнений.

Приговоренным выдали белые балахоны с капюшонами. Надевая их, они шутили: «Хороши же мы будем в этих нарядах». Петрашевский, Момбелли и Григорьев спустились под конвоем с помоста, и солдаты привязали их к столбам. Унтер-офицер сломал над их головами шпаги: они не были больше дворянами, не были офицерами, они стали ничем. Нет, христианами они еще оставались, и священник дал каждому из них поцеловать крест.

– Капюшоны надеть!

Им надели капюшоны.

– Это чтобы мы попали в рай без насморка, – сказал Петрашевский Момбелли, фыркая от смеха.

Офицер поднял саблю.

– Це-е-ельсь!

Шестнадцать солдат прицелились в троих осужденных. Офицер, резким движением опустив саблю, прокричал:

– Пли!

Три трупа обмякли, натянув веревки.

Их унесли.

– Заряжай! Следующие!

Достоевский, Спешнев и Филиппов вышли из шеренги, спустились с помоста; солдаты шершавыми руками привязали их к столбам, причиняя не больше боли, чем того требовал случай.

– Капюшоны надеть!

Темнота. Уже.

– Це-е-ельсь!

Он почувствовал, как в нескольких метрах от него вскинулись шестнадцать ружей. И мольба во тьме: «Господи! Помилуй мя!»

– Пли!

Так 22 декабря 1849 года погиб Федор Михайлович Достоевский, вверив свою душу, в которую он едва ли верил, Господу Богу, в которого он не верил больше совсем.

* * *

Во втором параллельном универсуме все происходило точно так же, но только до июня месяца того самого года.

В это время Федор был уже заключен в длинной узкой камере № 9 Секретного дома в Алексеевском равелине. Он страдал приступами геморроя, у него болела грудь, и ему все время казалось, что пол ходит под ним, словно он в каюте корабля. Однако, несмотря на мучившие его по ночам кошмары, он не чувствовал себя несчастным, ибо мог писать. Он даже заставлял себя писать не слишком много, чтобы не переутомляться, но в голове его уже сложились два романа и три рассказа. Он дал свидетельские показания, где не отрицал ни того, что бывал на подпольных собраниях у Петрашевского, ни того, что участвовал в проекте приобретения типографского станка, ни чтения запрещенного письма Белинского к Гоголю, ни своей мечты о реформах и прогрессе. А что в этом плохого? Литературе нужна свобода.

Федор лежал на тюфяке, глядя широко открытыми глазами в белую ночь: за окном стоял июнь, и молочный свет лился в камеру сквозь решетку окна, застаиваясь туманом в углах и навевая мысли о вечности.

Гулкие шаги в коридоре. Голос сквозь окошко в двери: «Вставайте и одевайтесь». К этому привыкаешь. Он встает, натягивает залатанные штаны, изношенную до мягкости рубаху, башмаки без задников, порыжелый войлочный халат, весь в пятнах и заскорузлой грязи. Он не чувствует никакой тревоги. Он даже не задумывается, куда его поведут.

Вышли из равелина, из крепости. Здесь теплее, чем среди каменных стен. Тускло, словно запотевший от дыхания клинок, поблескивает Нева. На другом берегу – Летний сад, Мраморный дворец, Зимний, Адмиралтейство вонзило шпиль в опаловое небо, бесконечные особняки с залитыми сизым светом барочными капителями и пилястрами. Мираж. Федор остановился на мгновенье и, обернувшись к ожидавшему его офицеру, сказал по-

французски с улыбкой, означавшей, что речь идет об игре слов:

– Réve de Pierre.[43]

– Потрудитесь сесть в карету, – ответил тот, указывая на экипаж, в котором уже сидели двое вооруженных солдат.

Карета поехала по отполированной булыжной мостовой. Переехали мост через Малую Неву, проехали по Васильевскому острову, пересекли Неву через Дворцовый мост. Дышат теплым воздухом ночные гуляки – парочки сомнительного вида. Федору вспомнились его «Белые ночи», романтические свидания Настеньки и Мечтателя на берегу уснувшего канала. Бессонная чайка прорезала воздух. Справа на горизонте еще виден последний розовый мазок заката, а слева уже заалело рассветное небо. Зимний дворец с его четким, тяжелым ритмом ризалитов, подъездов и гигантских статуй вырастал на глазах. Карета въехала во внутренний двор.

– Будьте любезны следовать за мной, – обратился к заключенному офицер.

Он провел его по внутренним помещениям и лестницам дворца и подвел к какой-то двери. Осторожно постучав, он открыл ее, не дожидаясь ответа. Федор вошел. Дверь закрылась за ним.

Он очутился в комнате скромных размеров со сводчатым потолком и окнами, завешенными плотными шторами. Вся обстановка состояла из обычного письменного стола, обычных стульев, прямого, строгого дивана, двух маленьких столиков – круглого и квадратного, походной кровати, застеленной плащом, устроенного на европейский манер камина, нескольких семейных портретов, нескольких картин на военные темы, географических карт. В углу висела икона «Всех скорбящих радость», точно такая же, как у самого Федора, но только в золотом окладе с рубиновыми вставками, под ней на витых золотых цепях теплилась большая красная лампада.

Федор сделал шаг назад. Какое совпадение, вернее, какое неправдоподобное сходство! «Это знак!» – пронеслось у него в голове, и без того кружившейся с непривычки от избытка свежего воздуха. Сложив вместе средний, указательный и большой пальцы, символизирующие Святую Троицу, и прижав к ладони два остальных – знак двойственной природы Христа, он медленно, благоговейным жестом поднес руку сначала ко лбу, затем к сердцу, потом к правому и левому плечу – осенил себя крестным знамением, даже не взглянув на того, кто был перед ним. Он давно уже догадался.

Николай оторвался от письменного стола и подошел к узнику высокомерной, бесконечно элегантной поступью, которой

завидовал не один европейский монарх. Он был удивлен таким старомодным жестом, давно уже вышедшим из употребления как в аристократической среде, так и у интеллигенции.

– Так значит, ты все же веришь в Бога.

Федор был высок ростом, но царь оказался еще выше, крупнее, шире; у него было прекрасное лицо, которым восхищалась, не без раздражения, вся Европа. Болезненный, оборванный заключенный выглядел рядом с ним более чем жалко. Федор не ответил: его искренний жест говорил сам за себя. Царь и подданный смотрели друг на друга.

Николай, менявший маски по своему желанию, заготовил заранее выражение уверенного порицания и возможного милосердия. Однако эта маска не соответствовала больше его чувствам, ибо это неожиданное крестное знамение застигло его врасплох, и он сейчас обдумывал, какое выражение принять ему в следующий миг. Величественный нос Николая гордо изгибался над подкрученными усами, а взгляд полководца был одновременно бесстрастен и притягателен. Изящным жестом царь почтительно указал на икону.

– Она была с моим пращуром Петром во время Полтавского сражения, – удостоил он пояснения.

Полтава! Святое имя для каждого русского независимо от его политических убеждений! Во время Полтавской битвы Петр Великий, разгромив непобедимого Карла XII, спас страну, открыл выход к Балтийскому морю и одним махом вывел Россию на европейские просторы. Пушкин посвятил Полтаве эпическую поэму, которую все знали наизусть. Федор, правда, испытывал противоречивые чувства в отношении личности Петра, уничтожившего старую Московскую Русь, поссорившего барина и мужика и даже поднявшего свою императорскую руку на Православие. Однако и для него, как и для всякого русского, Полтава была и оставалась символом справедливого возмездия, достойного отпора завоевателям, кем бы они ни были – шведами, турками, татарами, тевтонами или поляками, – залогом прошлого и будущего величия Святой Руси, ее отражением. Даже если бы у Николая и Федора не было больше ничего общего, все равно у них была Полтава. Правда, как оказалось, они еще оба молились перед одной и той же иконой, иконой победы – иконой Богоматери «Всех скорбящих радость». Не было ли это тем, что в народе называют чудом?

Менее чеканной, но все такой же атлетической поступью Николай вернулся к письменному столу, на котором обычно царил идеальный порядок; однако теперь он был завален книгами и журналами. Федор узнал обложки «Бедных людей», принесших

ему славу, «Двойника», плохо встреченного завистниками, и первый выпуск «Неточки», вышедший, когда он уже находился в тюрьме. Сердце его забилось чаще. Федор никогда не думал, что государь может быть знаком с его произведениями. Для него царь был не просто человеком, исполняющим обязанности царя: это был Царь – то же, что Папа Римский для католиков и далай-лама для тибетцев, – посредник между этим миром и миром иным. Трудно было поэтому представить его себе за чтением современных романов.

– Ну что, – спросил Николай, – ты республиканец?

Федор покачал головой. Ему нравилось, что государь сразу подходит к главному.

– Нет, – ответил он. – Я слишком отчетливо понимаю, что в России хорошая революция может начаться только сверху.

– Хорошая революция? – недоверчиво повторил Николай.

С небольшим опозданием его лицо приобрело наконец должное выражение: скрытой иронии.

Федор любил жизнь, но он не желал спасать свою собственную любой ценой. Однажды – в кондитерской Вольфа и Беранже, где он познакомился с Петрашевским, или в один из первых вечеров, устраивавшихся у того по пятницам в Коломне, – неважно, он вступил в игру, полностью осознавая взятую им на себя ответственность. Сохранить жизнь было важно, но не более важно, чем сказать правду.

– Государь, – проговорил он, употребив это старинное русское обращение вместо заимствованного у Запада «Ваше Величество», – вы только что упомянули о Петре Великом. Вот кто был величайшим революционером своего времени.

– Революционером? Так что же это по-твоему такое – революционер? – спросил царь, который собирался было сесть, но так и остался стоять, полусогнувшись, за письменным столом, словно готовый к прыжку.

– Государь, есть два вида революционеров, и их напрасно обозначают одним именем. По правде говоря, в этом и заключается одно из самых больших недоразумений нашего века и прошлого тоже. Есть революционеры, которые хотят улучшить то, что уже существует, и есть другие, – те хотят разрушить все и начать с нуля.

– А ты часом не фурьерист?

– Фурьерист!? Система Фурье плоха уже только потому, что она – система. Нет ничего хуже системы, в рамки которой пришлось бы потом втискивать реальную действительность.

Царь сел. В его величии не было ничего наигранного. Рука его широко опустилась на книги и журнальные страницы, как

коршун – на добычу.

– А Белинский? – проговорил он. – Твой учитель и почитатель Белинский? Ты же читал публично его письмо к Гоголю.

Он ткнул указательным пальцем в лист бумаги и прочитал отмеченный отрывок:

– «В словах *бог* и *религиях,* вижу тьму, мрак, цепи и кнут».[44] Ты тоже видишь только это?

Когда Федор входил к царю, он не полностью осознавал, куда попал. Только теперь у него стало понемногу складываться представление о личности того, с кем он беседовал. В то же время он увидел вдруг и себя: грязного, оборванного, нелепого, оскорбляющего своим присутствием не только зрение, но, возможно, и обоняние.

– Государь, Белинский был мне другом. Благодаря ему я в несколько дней стал знаменит. Он плакал, читая моих «Бедных людей». Выйдя от него, я остановился тогда на панели, посмотрел на небо и подумал: «Правда ли я так велик, как он говорит?» Но мы недолго были вместе. Для него литература – средство политической пропаганды. Я же думаю, что она принадлежит красоте, а красота спасет мир.

– Но ты во всеуслышание читал письмо этого безбожника!

– Да, государь. Его письмо – это литературный памятник, а литература, если она хороша, может быть только на правой стороне, каковы бы ни были заблуждения литератора.

Искренен ли этот узник? Наполовину? На четверть? Николай смотрел на него с подозрением. Вдруг лицо самодержца приняло новое выражение: оно выражало теперь страстное желание проникнуть в самую душу преданного сына:

– Ты оставил армию и службу на благо Отчизны, чтобы стать бумагомарателем. Я не одобряю этого, но отношусь к этому снисходительно. Я читал твои писания. Когда человек пишет, как ты, когда в нем столько понимания, столько сострадания в душе, он не может быть плохим, как те, другие. Я хочу спросить тебя, Федор Михайлович, – добавил Николай с насмешливым добродушием, – кто ты такой? А?

У Федора перехватило горло, глаза его наполнились соленой влагой. Царь говорил с ним как настоящий потомок помазанников Божьих, какими бы они ни были – славными или нет, добрыми или нет, святыми или нет, глупыми или нет, грубыми или нет, – тех властителей, которые за какую-то тысячу лет, как невероятно это ни казалось бы, вопреки отсутствию естественных границ, вопреки одинаковой враждебности Востока и Запада, создали неповторимую Святую Русь.

Федору вдруг показалось, что здесь, в этом запертом

кабинете, рядом с ним находится не обыкновенный человек, а некое космическое существо, уходящее корнями в незапамятные исторические дали, существо, чья святость и чья миссия – от Бога и Царства Его, а кровавые методы, к которым он вынужден подчас прибегать, – от дьявола, существо из плоти и крови, в котором есть и от зверей земли Его и от ангелов неба Его.

И тут все смущение Федора, смущение поверхностное, бывшее следствием не природы его, но воспитания, вдруг улетучилось. Ну и что же, что он уродлив и грязен, что он дурно пахнет в присутствии царя? Царь и не таких видывал. Почувствовав себя голым и безоружным и придя от этого в восторг, он желал теперь только одного – исповедоваться до глубины души. Он взглянул в ночное окно: там застыл все тот же белеющий свет. Не было больше времени, ибо ангел своим перстом остановил стрелки всех дворцовых часов, больших и маленьких. Царь и подданный могли беседовать вне времени.

– Кто я? – переспросил Федор и задумался, ища ответа на этот вопрос больше для себя самого, чем для собеседника. – Сын врача, внук священника. Безземельный дворянин. Никогда не гнушавшийся ни своей семьей, ни родиной. Дитя своего времени, а значит, сомневающийся, сын России, а значит, верующий.

– Я не люблю сомневающихся, – произнес царь голосом, в котором чувствовалась привычка отдавать команды на военных парадах.

– Фома сомневался, а ведь он первым предложил казнить себя вместо Учителя. Сомнения бывают разные, государь, точно так же, как и вера.

Николай был озадачен: с ним никто еще не говорил таким тоном. Он поспешил надеть маску полной бесстрастности, за которой легче всего было прятать истинные чувства. Он снизошел до противоречия, а это означало, что он допускает, чтобы противоречили ему.

– Существует некое тонкое внутреннее сходство между Россией и Францией, – начал он, оседлав любимого конька, – а ведь именно сомнения погубили Францию – процветающую, благополучную страну.

Узник понял, что ему позволено отвечать, что, по-видимому, было бы абсолютно невозможным, будь он на свободе:

– Это было не просто сомнение, государь, а сомнение, возведенное в ранг веры. Вера – это клинок, а сомнение – камень, его оттачивающий. Если же вместо клинка пользоваться камнем… А именно это и делают чаще всего на Западе.

– Так, значит, ты не западник? – проговорил Николай, и его голос смягчился. – Значит, ты не считаешь, как Герцен, что у нас

все плохо, а у них – все хорошо.

– Государь, – воскликнул Федор, – ежели меня и можно упрекнуть, то скорее в обратном – это будет ближе к истине. Я считаю, что мало просвещенная аристократия и мало одухотворенная интеллигенция, продолжившие дело вашего пращура – Петра Великого, отклонились в сторону, да так далеко, куда он и не думал идти. Все зло, что зреет нынче в России, происходит из глубокой пропасти, разделяющей тех, кто одевается по-немецки, а говорит по-французски, и тех, кто одевается и говорит по-русски. Худший из наших предрассудков – тот, что заставляет нас верить в преимущество Запада, именно им и страдает Белинский. Эти люди…

– Твои друзья, – вставил царь.

Федор ничего не ответил на это. Он не мог предать своих товарищей в несчастье. Поэтому он просто продолжил:

– Эти люди думают, что стоит только применить к России западные мерки – переименовать рубль в талер, версту в километр, создать представительский парламент – и все будет в порядке. Их главная ошибка в том, что прогресс для России они видят в том, чтобы русские наплевали на самих себя. А ведь мы, наоборот, должны прежде всего научиться уважать себя и других, и как только мы перестанем презирать собственный народ, то есть самих себя, нас и на Западе начнут уважать.

Глаза царя и подданного встретились. Николай понимал, что Федор намекал на позор крепостничества, появившегося в России относительно недавно, и на недалекость интеллигенции, которую привлекала не столько идея социальной справедливости, проповедуемая Марксом и Прудоном, сколько светская страсть к парадоксу. Лицо Николая снова приняло выражение сдержанной иронии.

– Но насколько я знаю, с этими, как ты выражаешься, людьми ты обедаешь каждую пятницу. Так чего же тебе от них надо?

Федор опять задумался в глубине души и ответил просто:

– Чего мне надо? Я сам себя иногда спрашиваю об этом. Я знаю, что что-то должно измениться, обрести новую жизнь… Они тоже так думают.

Федор говорил с Николаем, в чьих руках были сейчас его жизнь и смерть, совершенно открыто. Причина тому крылась в душевной чистоте Федора… и Николая. Оба всем сердцем стремились к добру, и ни интеллектуальные умствования одного, ни монаршее высокомерие другого не помешали им почувствовать это родство.

– Говоришь, что-то должно измениться? – повторил за ним царь. – Я тоже так думаю. Что-то, но не все.

– И вы один, государь, можете сделать так, чтобы это не возымело ужасных последствий для России, чтобы на Невском с людей не сдирали заживо кожу… Вспомните Пушкина: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»

– Французский не хуже, – мрачно промолвил Николай.

– Несомненно, государь, но мне думается, что по части ужасов мы перещеголяем и французов. Если мы навеки откажемся от Христа…

Николай не питал к писателям такой страсти, как к солдатам, но он покровительствовал Пушкину, защищал от цензуры Гоголя. И теперь он спрашивал себя, кто же это стоит перед ним – плут, дурак или духовидец. Он не исключал ни того, ни другого, ни третьего, ибо, будучи царем, он впитал в себя всю природу своего народа, и теперь ничто – ни плохое, ни хорошее – не могло его удивить.

– И ты, сообщник этой банды безбожников, смеешь говорить о Христе?

– Да, государь. Я люблю Христа. Я люблю Его, потому что Он был униженным и оскорбленным, потому что Он простил Своим убийцам, которые не ведали, что творят, и грешнице, хотя та и ведала. Но особенно я люблю Его за то – и это то, над чем я постоянно размышляю последнее время, – что Он не поддался на дьявольские искушения там, в пустыне. Ведь как, наверное, ужасно хочется превратить камни в хлебы, особенно, когда ты это умеешь и когда ты любишь людей, но Он не захотел пожертвовать истиной ради счастья. Не стал Он и бросаться с высоты Храма, потому что предпочел веру доказательству, отказался Он и от царства, полученного силой и волшебством, избрав любовь вместо принуждения.

– Так ты веришь во Христа?

Федор опустил голову, и Николай с трудом разобрал его шепот:

– Если Христос – не истина, то я предпочту Его истине.

В повисшей вслед за этими словами тишине Николай размышлял об этой беспредельности. Вдруг, снова переменившись лицом, инквизиторским тоном он спросил:

– У тебя есть политические убеждения? Французы придумали левых и правых. Ты – левый?

Федор, не скрываясь, рассмеялся:

– Нет, государь, я не левый. Правда, теперь это модно. В петербургских салонах любой осел, щеголяющий левыми взглядами, сойдет за образованного человека. Да и то правда, что из тех русских, что едут за образованием на Запад, большинство

примыкает именно к левым, то есть к тем, кто отрицает собственную культуру. Я не таков.

– Ну, а что ты думаешь о центристах?

– Ну, эти и вовсе какие-то безликие трусы, самонадеянные провокаторы.

– Так что же, ты решишься утверждать, что ты – правый?

Федор глубоко вздохнул. Он устал стоять, но старался держаться как можно более прямо.

– Я – русский, государь. Я не отрекаюсь от своего народа и его культуры: наоборот, именно в ней я и ищу правду, и мне кажется, что правда эта – не политическая, как, например, у англичан. Наша правда – духовная. И корни у нас – духовные, а если мы их оздоровим, то будет у нас и хорошая политика, и хорошая экономика, и хорошее право, и финансы.

Царь поднялся во весь свой прекрасный рост, в три шага пересек комнату, подошел к Федору и положил руки ему на плечи. Их лица были совсем близко: величественный лик монарха-повелителя и помятая физиономия узника.

– Ах вот как? И ты, революционер, говоришь мне это? Я тебя не понимаю. Ну, а как же свобода, равенство, с ними-то как быть?

Федор и глазом не моргнул.

– Я, – ответил он, – выступаю только за братство. А для этого надо иметь братьев. Именно от братьев происходит братство, а не наоборот, как представляют себе это республиканцы.

Николай молчал. Он любил точные науки, и все эти философствования были ему непонятны.

В это мгновенье (по правде говоря, это и мгновеньем-то нельзя было назвать, скорее – отрезок вечности) Федор опустил глаза на свои грязные башмаки и, подняв их, взглянул в чуть асимметричные, пронзительные глаза государя и – немыслимая дерзость! – произнес:

– Государь, царь только что спросил своего подданного, кто он таков. А может ли теперь подданный задать тот же вопрос царю: кто вы, государь?

Они уже давно вышли за рамки этикета. Николай понимал это.

– Кто я? – проговорил он своим громовым голосом. Возможно, впервые в жизни он задавал себе этот вопрос, и ему было удивительно и радостно размышлять об этом вот теперь, под болезненным взглядом узника, бывшего целиком в его власти.

Он подумал немного, глядя перед собой отсутствующим взглядом.

– Я, – сказал он наконец, – часовой на передовой линии. Я

должен оставаться на своем посту, пока не придет смена. Кто меня туда поставил? Господь Бог, и я держу перед ним ответ за жизнь последнего из моих подданных. Может быть, где-то и когда-то служба эта и была простой, но не в России и не сегодня. Болотные огни, которые так называемые французские философы XVIII века приняли за свет Просвещения, распространились по всей Европе. Они ведут лишь к потрясениям, хаосу, к неверию, к кровопролитию, в конце концов. Мой долг закрыть им доступ в страну, к народу, доверенному мне Господом. Дураки считают меня тираном. Нет, я – защитник. Я не люблю карать, все это знают, я предпочитаю предупредить преступление. Но когда надо… Россия – это мозаика, это сплав, который держится только на самодержавии. Уберите монаршью волю, и вся эта масса, столь любезная Господу, разлетится в пыль. Я не имею права на малейшую слабость. Глава огромного государства не вправе попустительствовать ни малейшему волнению, иначе оно перерастет в революцию. Он должен быть готов погибнуть на ступенях своего трона, но только не уступать! В противном случае – не будем обольщаться – он все равно будет убит, но в другом месте. Когда я говорю «должен», я имею в виду долг перед своим народом. И я способен на это. Я уже доказал.

Он вернулся и снова сел за стол. На лице его вновь была непроницаемая маска. Он думал теперь о человеке, перед которым только что раскрыл то, о чем ни разу ни с кем не говорил так открыто. Он тяжело дышал всей грудью. На протяжении всей вечности этот странный человек, посланный ему Богом, и он шли рука об руку: Пророк и Царь, Натан и Давид, Иоанн Предтеча и Ирод (если бы Ирод того захотел). Федор еще не знал этого, но Николай уже понял. Позади них поздравляли друг друга их ангелы-хранители.

– Что же мне с тобой делать? – проговорил царь. – Когда-нибудь ты принесешь России пользу, но пока ты еще ничего не умеешь. Что ты знаешь о ней, о России? Пару крестьян, у которых ты бывал в доме и которые потом убили твоего отца? Нескольких офицеров, твоих товарищей, нескольких писателишек, твоих собратьев по перу? Ты мог бы иметь успех в петербургских салонах, стать новым Некрасовым, новым Тургеневым, описывая страдания чуждого тебе народа. Но ты скроен по другой мерке, Федор Михайлович, и твоя сталь требует иной закалки.

Я дам тебе задание, ты поближе познакомишься с русским народом, лучше узнаешь его, а потом расскажешь мне, что узнал.

Помилования не жди. Это не будет справедливостью. И потом, если я помилую тебя одного, тебя все сочтут предателем, а на что ты тогда будешь годен? Нет, я надену на тебя кандалы, я

сделаю тебя каторжником, опущу тебя на самое дно того самого народа, который ты, по твоим словам, так любишь. Ты увидишь такое, чего мне никогда не увидеть, ты выйдешь оттуда сломленным, но ты станешь полезен, так полезен, как никто из моих детей.

Ты только что произнес слово правды: именно этого не хватает монархам, а ты смог сказать ее твоему государю, не заботясь о том, понравится ему это или нет. Смотри, изучай, вникай, трактуй. Через четыре года, день в день, вернешься и расскажешь, что там делается со страной. Не беспокойся: если Богу будет угодно, чтобы я дожил до того дня, ты попадешь ко мне. А нет – Александр примет тебя, как принял я. Но когда ты будешь там, на каторге, не забывай, что ты – в кандалах и под кнутом – и я – в этом дворце или во главе моего войска, – мы – вместе. Я ничуть не обольщаюсь относительно места, куда тебя посылаю: это – ад, но я надеюсь, что ты выйдешь оттуда воскресшим.

Николай протянул сильную, привыкшую управлять лошадьми руку. Федор преклонил колени. Он взял эту гладкую руку в жесткие и шершавые от пота и пыли ладони и поцеловал ее. Поцеловал, как верующие целуют святые мощи.

* * *

Четыре года спустя солдат Пахомов стоял на карауле у главного подъезда Зимнего дворца. Навытяжку. С ружьем у ног. Не мигая. Вдыхая запах водорослей, который доносился с Невы и перебивал навозный дух. Напротив него, так же навытяжку, стояла на своем постаменте Александровская колонна, а дальше в таинственном полумраке белой ночи вырисовывался каменный полукруг Главного штаба.

Пахомову было около сорока. Его забрали в солдаты, когда ему только стукнуло двадцать, отставка была уже не за горами, и он все время проводил в мечтах о родной деревне Нелидово. Жив ли еще кто-нибудь из его родных? Стоит ли еще изба? Он отчетливо помнил лицо матери, чуть хуже – отца и брата, и не знал, сколько же у него теперь сестер. Вспомнить он мог одну Аксюшку, щербатую хохотушку, свою любимицу. Теперь-то она уже замужем, стала матерью, а может, и бабушкой. Узнает ли она его такого – исхудавшего, заскорузлого. А он, узнает ли он ее? Он представлял себе дорогу домой, шаг за шагом, через поля и леса России-матушки. Уже скоро, нынче осенью. Он будет спать на сеновалах, а то и добрые люди пустят его на ночлег к себе в избу.

Прослужив сначала в армии, потом в гвардии, он научился шагать, и сорок верст в день для него – пара пустяков. Он как-то спросил у своего офицера, как далеко Нелидово от Петербурга, и тот все показал ему на карте. Так что теперь, стоя на часах, Пахомов все подсчитывал, успеет ли он к святым Козьме и Демьяну или только к Матвееву дню. Интересно, когда выпадет снег? Сможет ли он переходить реки по льду или ему придется давать кругаля?

Вынырнув из ночной акварели, к дворцу приближался человек. Он шел спокойно, словно знал, куда идет. Был он высок и издали казался старым со своей длинной седой бородой и палкой в руках. Однако, когда он приблизился, Пахомов увидел, что лицом он еще молод.

– Стой! – окликнул часовой, когда тот подошел ближе, чем на двенадцать шагов, предусмотренных инструкцией.

Человек не остановился.

Пахомов был хорошим солдатом. Он действовал по уставу и взялся за ружье.

– Стой, стрелять буду.

Молодой старик остановился и спокойно произнес:

– Я иду к царю.

Солдат Пахомов решил, что перед ним сумасшедший или, по крайней мере, юродивый.

– Ты чего это? Ты кто это?

– Федор Михайлович Достоевский, инженер-поручик в отставке.

Что-то забрезжило в памяти Пахомова. Точно, капитан предупреждал их об этом таинственном визите. Впрочем, скептик и вольнодумец, капитан не очень-то задумывался о том, кто будет нести караул, когда этот посетитель явится.

Пахомов сунул два пальца в рот и свистнул.

Прибежал толстый унтер. У него своя каптерка. Он отчитывается перед начальником караула, а тот – перед дежурным офицером. «Попрошу следовать за мной». И юродивого среди ночи препроводили к царю.

Прошедший день был для царя самым обыкновенным. Подъем в семь утра, холодный душ, прием министров, смотр одного из полков, прогулка по городу в одиночку, без охраны, обед с семьей в четыре часа, просмотр документов, в семь вечера концерт, в девять снова документы до… до настоящего часа. Он медленно поднимается. Он знает, кого к нему только что пропустили, но с трудом узнает его:

– Откуда ты, Федор Михайлович?

– Из мертвого дома, – отвечает Федор, еле переводя дыхание

после подъема по лестнице.

Наконец он отдышался.

– Но я хорошо потрудился для тебя, государь.

С первого слова Николай понимает, что это обращение – на «ты» – высшая почесть, оказанная русским человеком своему царю, и царь платит подданному высшей милостью:

– Садись, – говорит он.

И садится сам.

– Говори. Рассказывай своему государю.

Николай постарел, отяжелел. Нос его стал тоньше, у него все чаще болят ноги. Он выглядит менее воинственным, но все так же величествен. И своевластен. И голос все тот же – голос монарха.

– Я понял, – говорит Федор. – Не все, но многое. Государь, ты должен стать новым Петром, как Христос стал новым Адамом.

Они помолчали минуту, и Федор заговорил вновь. Вот уже четыре года, как он постоянно проговаривал, готовил свою речь.

– Россия… – начал он. – Россия стоит на перепутье, и все теперь зависит от тебя. Ты, несомненно, и сам этого до конца не понимаешь, но мощные силы разделяют тебя и твой народ. Притом силы эти не только враждебные, но и дружественные. Интеллигенты мутят воду, бюрократы тянут резину. А народ – одинок, предоставлен самому себе. Ему не на кого и не на что больше надеяться, кроме батюшки-царя, в которого он беззаветно верит и которого любит. В твоей империи и дворянства-то настоящего больше нет, одни чиновники. Церковь превратилась в орудие в твоих руках, а ты им пользуешься лишь для того, чтобы раз в год посылать людей на исповедь, как будто можно заставить очистить душу по принуждению. Но самое главное – великая измена интеллигенции. Ты, конечно же, отменишь крепостное право, на это уйдет всего несколько лет (царь кивнул в знак согласия), но берегись, чтобы, освободившись от крепостничества, народ не оказался бы во власти тех, кто умеет читать, да читает не то, что надо. Бояться надо не тех, кто убивает тело, а тех, кто вредит душе.

В конце каждой фразы Федор переводил дыхание, но говорил он убежденно – не как советчик, но как пророк.

– Посмотри на твоих интеллигентов, государь. Я-то их знаю, я был одним из них. Это ведь всё пролетарии от интеллигенции, космополиты-недоучки, гонимые всеми ветрами. По сути, все они – осознанно или нет – социалисты, а что такое этот социализм? Все человечество он сводит к одному общему знаменателю. Он узурпировал мечту о братстве, с которой мы вечно носимся, но она никогда не осуществится в этом понимании: ведь чтобы быть братьями, надо признать существование отца. Социализм – это

эгоизм, бесчеловечность, непоследовательность, развал экономики, неразбериха, взяточничество, попрание свободы во имя равенства. Социализм уничтожает естественные сообщества, как червь подточил корень древа пророка Ионы. Так что берегись, русский царь. Россия стоит на пороге социализма, демоны которого готовы забить человека камнями, обращенными в хлебы.

Федор снова остановился, чтобы отдышаться, а царь машинально отметил, что этот старый петербуржец стал говорить по-иному, чем раньше: его «р» стали более раскатистыми, «о» не похожи больше на «а». Да, он пожил среди народа, прошел его школу и теперь едва ли отличается от него. Легко можно представить себе его странником, бредущим с котомкой за спиной от монастыря к монастырю по просторам русской земли.

Федор продолжает:

– Русский народ и его царь останутся один на один с безродным социализмом, который вскоре завоюет весь мир. А потому, хоть ты этого пока и не замечаешь, твой трон уже пошатнулся.

– Я заметил это, – с горькой проницательностью проговорил царь, – но я не знал, что зло зашло так далеко.

В этот вечер он не стал надевать маску, и на лице его было написано, насколько он уязвим.

– Да, оно зашло далеко, – отозвался Федор, – и его следует назвать своим именем, а не восторгаться им, словно это какое-то геройство. И, возможно, это следует сделать именно мне. Возможно, для этого я и рожден. И еще для того, чтобы сказать тебе, царю, что ты не безоружен перед этой надвигающейся социалистической гангреной.

Главное твое оружие – это единственная по-настоящему высокая идея, когда-либо рожденная человечеством, – идея бессмертия, в которое ты веришь так же, как и твой народ. Храни ее, эту веру, ибо на ней все держится, и пусть и другие хранят ее, но не с помощью полиции и цензуры – они здесь ни к чему. Пусть ее хранит Православие, – я говорю не Православная Церковь, а Православие, ибо Церковь тоже греховна.

И потом, у тебя есть земля – мать, в которой русские видят Матерь Божью. Поверь, государь, земля – священна. В земле лежит и из земли исходит порядок человеческий. Да и в любой стране порядок – экономический, политический, гражданский – зависит от земли и от собственности на землю. Какова собственность – таково и все остальное. Нехорошо, что наши интеллигенты владеют землей, крестьянами и живут за их счет где-нибудь в Лондоне или Париже, где разглагольствуют о социализме. Ты – царь, и ты должен отдать землю тем, кто

поливает ее своим потом. Ты должен опередить социалистов, сделать лучше, больше того, что они только собираются сделать, это будет чудо, но ты можешь свершить его, ибо ты – отец. Вот увидишь, как только рабство будет уничтожено, как только народ приобщится к этой тайне – владению землей, в нем проявится жажда чего-то нового, жажда совершенной истины, совершенной справедливости, совершенного гражданского возрождения. Не упусти этого шанса.

И наконец, у тебя есть третье оружие – твой народ. И тут тебе посчастливилось, ибо русский человек добр по сути своей, уж ты мне поверь, я это хорошо знаю. Ведь мне довелось жить среди убийц, насильников и отравительниц. В России много бешеных, буйных, но злых нет. Русский ни в чем не знает меры. Он всегда хочет преступить рамки дозволенного, почувствовать, как замирает от страха сердце, подойти к самому краю пропасти, перегнуться через этот край, заглянуть в глубину, а иногда и броситься вниз. Так что будь осторожен.

Но знай и то, что обещаниями счастья ты русский народ свободным не сделаешь. Он не похож на другие народы, ему нет особого дела до счастья. Главная его духовная потребность заключается в необходимости постоянного и плодотворного страдания. Он жаждет принести себя в жертву правому делу, а не упиваться каким-то там счастьем. Он убежден, что истина добывается лишь ценой страдания. И надо уметь вести его, управлять им и этим его стремлением к мученичеству, ибо оно чрезмерно, и вот тут-то ты и сможешь приложить присущее тебе чувство справедливости: ведь жалея обидчика, ты всегда рискуешь недостаточно пожалеть обиженного… и тем самым впасть в социализм.

Я уже сказал тебе: ты должен стать Петром, но Петром лучшим, который искупит грехи прежнего. Тот попрал Русь, чтобы изменить ее, ты же должен будешь преобразить ее, сохраняя и уважая ее традиции. Русский народ живет православной верой. Православие – вот русская идея, другой нет. Поэтому-то нас и следует освободить от наносных идей, от опеки заграничных мыслителей, нам надо вновь обрести наши собственные общие идеалы, идущие от Христа и нацеленные на ожидание Его второго Пришествия. Гуманизм, который мы якобы ищем на Западе, существует в России с незапамятных времен, в нем – ее сущность, только выражен он не в революционной форме, а в форме правды Христовой.

Ибо русская душа, государь, гений русского народа, может быть, единственно способны вместить в себя идею единения всех людей на земле, идею всемирной братской любви. Ведь не

случайно мы с такой легкостью говорим на всех языках, миримся со всеми различиями, впитываем разные культуры. Но прежде нам следует вновь стать самими собой. И тогда мы покажем всем остальным такой пример мира и любви, что им останется только подражать нам в этом. Не забывай, государь, что каким бы бедным, безграмотным, темным ни казался наш народ, прежде всего он – народ-богоносец.

Долго царь сидел молча. Федор поднялся. Только что он говорил как пророк. Теперь же он снова превратился в почтительного и смиренного подданного. Наконец Николай поднял глаза и взглянул на него:

– Будем трудиться вместе – ты и я.

* * *

В этом универсуме в 1854–1855 году Россия не воевала против англо-франко-турецкой коалиции. Николай I, чье здоровье не было подорвано поражением, прожил на десять лет дольше, крепостные раньше получили свободу, а с ней и землю, а дворяне, получив приличную компенсацию, не впали в нищету, а следственно, и в крамолу. Интеллигенцию увлекла идея духовного возрождения народа от истоков, не было революции, вернее, она была, но бескровная – революция любви, во главе которой встал Помазанник Божий.

* * *

Третий универсум возвращает нас на плац Семеновского полка. Федор никогда не встречался с царем. Вот Московский и Егерский полки стоят с оружием на изготовку, вот кавалергарды – белокурые сероглазые красавцы – полощут красно-белые вымпелы на кончиках своих пик. Три полка выстроились в каре вокруг черного помоста и серых столбов. Толпятся зеваки. В воздухе повисла апокалиптическая тишина. Чихнет ли кто-то из гражданских, стукнет ли, не дай Бог, оземь чей-то приклад – снег заглушает все звуки. Мороз.

Перекличка.

Здесь, здесь, здесь… все здесь.

– На караул!

Взметнулись вверх сабли всадников. Ладони пехотинцев с громким хлопком сжали стволы ружей: по звуку можно было подумать, что гигантский солдат схватил гигантское ружье.

– Шапки долой!

Чтение приговора. Смертная казнь, смертная казнь, смертная казнь…

Приговоренные целуют крест. Унтеры ломают над их головами шпаги. Раздают балахоны с капюшонами. «Хороши мы будем в этих нарядах». Петрашевский, Момбелли, Григорьев сходят с помоста. Их привязывают к столбам.

– Надеть капюшоны.

– Это чтобы у нас не было насморка.

Шестнадцать солдат вскидывают ружья. Федору остается минута жизни.

Вдруг – барабанная дробь. Солдаты по команде ставят ружья к ноге и встают по стойке «смирно». Что случилось? Там, в конце Успенского проспекта – белой ленты с черными штрихами, – появляется… Тут сведения расходятся. Всадник? Экипаж? Некоторые утверждали, что то был белый всадник на белом коне, может быть даже архангел. Другие говорили, что это был обыкновенный адъютант – Ростовцев – в банальном экипаже, запряженном парой гнедых лошадей… Кем бы он ни был, посланец этот привез Высочайшее помилование. Всем заключенным сохранялась жизнь, даже тем, кто не гнушался цареубийством. Все они были приговорены к разным срокам каторжных работ.

Федору срок был сокращен до четырех лет, и, прослужив рядовым в Седьмом линейном сибирском батальоне, он вернулся к литературному творчеству. Близкое знакомство с народом сделало его убежденным монархистом, уверенным в том, что только христианская монархия достойна его соотечественников. В своих произведениях он будет проповедовать искупление преступления наказанием, обличать бесовские черты социализма, ратовать за единение царя с народом, по образу единства отца и детей, провозглашать мессианскую роль России, без конца повторять, что вне Христа и вне Его любви нет истины.

Тот, кто, не будь Высочайшего помилования, умер бы разжалованным, лишенным «всех прав состояния», обесчещенным 22 декабря 1849 года, тихо угас на вершине славы 27 января 1881-го. Петербург торжественно проводил его в последний путь, процессия растянулась на несколько верст, в церемонии участвовало трое государственных мужей, ректор Духовной академии прочел проповедь, было множество венков, в том числе от Академии артиллерийских войск и от Академии Главного штаба, вдова покойного, Анна Григорьевна, едва пробралась в церковь, а когда закончилась заупокойная служба в Александро-Невской лавре, те, кто нес гроб, и духовенство с трудом

проложили себе дорогу сквозь тысячную толпу. Безутешные почитатели взбирались на надгробные памятники, на деревья, на каменную ограду. Студенты с венками и хоругвями в руках кое-как расчистили место вокруг могилы. Гроб опустили на вышитых крестом полотенцах, которые по обычаю были оставлены могильщикам.

Николай же умер за двадцать шесть лет до этого. Рядовой Достоевский Федор, высланный в Семипалатинск, в самую глубинку Средней Азии, написал тогда стихотворение:

Свершилось, нет его! Пред ним благоговея,
Устами грешными его назвать не смею.
Свидетели о нем – бессмертные дела.
Как сирая семья, Россия зарыдала;
В испуге, в ужасе, хладея, замерла…
О, для чего нельзя, чтоб сердце я излил
И высказал его горячими словами!
Того ли нет, кто нас, как солнце, озарил
И очи нам отверз бессмертными делами?
В кого уверовал раскольник и слепец,
Пред кем злой дух и тьма упали наконец!
И с огненным мечом, восстав, архангел грозный,
Он путь нам вековой в грядущем указал…
И сердцем я познал, что слезы – искупленье,
Что снова русской я и – снова человек![45]

Оловянный солдатик

Памяти моего дяди Всеволода и его сестры

Это история про маленького мальчика, которого родители звали Светиком, потому что дали ему когда-то слишком сложное имя, и про его сестренку, которую звали Радостью. Однако особого значения в нашей истории девочка иметь не будет – разве что в самом конце, – ибо она все время делала то же, что и ее брат.

Папа Светика и Радости был военным, а потому Светик и Радость все время играли в войну.

Иногда они играли, что Светик – подполковник, как Папа, а Радость – новобранец, и Светик учил ее держать оружие и ходить в строю. Иногда они шли в сад и стреляли там из ружей с пробками. При этом Светик был «наши», а Радость – «неприятель», но побеждали всегда только «наши». Бывало и так, что они целый день прилежно вырезали солдатиков из картона и раскрашивали их акварельными красками.

Но чаще всего они играли в Светикиных оловянных солдатиков. Их у него было очень много, потому что сначала Папа подарил ему своих, а потом ему стали дарить их со всех сторон: и генерал – Папин папа, и юные дяди – Мамины братья, и много-много других людей.

Солдатики были разными по размеру, и это немного огорчало Светика, к тому же одни из них были как настоящие, объемные, а другие – совсем плоские. Радость не видела в этом ничего ужасного и утешала брата тем, что в мире есть и пигмеи, и шведы, и египтяне, про которых – тут надо сказать, что Радость не меньше, чем солдатиков, любила книжки с картинками, – всем известно, что они ну совершенно плоские.

В оловянных солдатиков они играли двумя способами. Радости больше нравился первый – он назывался «Парад», – но ее голос не был решающим.

Прежде чем поиграть в парад, надо было спросить разрешения у Мамы, и если вечером не было званого ужина, мама всегда разрешала. Тогда они перетаскивали коробки с солдатиками в столовую и располагались там на большом обеденном столе красного дерева. Светик и Радость расставляли цветные фигурки на блестящей как зеркало поверхности. Все солдатики – и картонные, и «египтяне» – при звуке горна немедленно появлялись из своих коробок – даже те, у которых

было отломано ружье или чья голова держалась на плечах только благодаря вставленной внутрь спичке. В игре не участвовали только совершенно безголовые или те, кто вовсе не стоял на ногах: они считались инвалидами войны и присутствовали на параде в качестве зрителей, выглядывая из своих отставленных в сторонку коробок.

Стол красного дерева сплошь покрывался частями пехотинцев и конными эскадронами, с офицерами во главе и с замыкающими позади. В зависимости от дня солдаты маршировали рядами по трое, по шестеро, по двенадцать, а иногда и по сорок восемь человек.

Светик и Радость без устали проверяли равнение и интервалы между колоннами и рядами. И если им было видно больше, чем одно плечо, одна голова и одно колено, они всё начинали сначала, при этом Светик не скупился на грубые окрики и придуманные им же самим ругательства: «Ах ты рыбий хвост!» или «Сказочный болван!»

Наконец, когда ряды становились безупречно ровными – впереди кавалерия, затем пехота (или наоборот, в зависимости от дня), артиллерия с упряжками, санитарные повозки и, в самом конце, походная кухня, – Радость (это была ее почетная обязанность) вынимала из ваты самое главное, а точнее, священное действующее лицо: бравого пехотинца с саблей наголо и с воинственными усами, которому Светик пририсовал на красные погоны три золотые подполковничьи звездочки (не очень удачно, так как краска размазалась).

Это был Папа.

Иногда Папа принимал парад. Тогда Радость ставила его на край стола, где он возвышался в гордом одиночестве. Иногда он командовал, и тогда Радость помещала его, всегда в отдалении, во главе войска. Дети отходили на несколько шагов, чтобы полюбоваться на прекрасную картину, а поскольку время пролетало быстро и обычно к этому времени в углах столовой начинали сгущаться предвечерние тени, им казалось, что солдатики и впрямь вдруг начинали двигаться, чеканя шаг и распевая строевые песни:

Взвейтесь, соколы, орлами,

или:

Наши жены – пушки заряжены,

или еще:

Лишь тот на жизнь имеет право,
Кто каждый день идет на смерть.

Лошади грызли звенящие удила, пыль клубилась у них под копытами, одни тихонько ржали, другие вставали на дыбы к стыду и неудовольствию их всадников. Пехотинцы шагали, шагали, шагали без устали, распространяя вокруг себя запах кожи, смазных сапог и пота. Они шагали бы так целую вечность, если бы не Мама, которая входила со словами:

– Дети, пора убирать все это. Катя будет накрывать на стол.

Тогда, выпросив еще несколько минуток, в чем им почти никогда не отказывали, ребята раскладывали наконец солдат и лошадей по коробкам, которые с каждым разом становились все более потертыми на углах.

Светику больше нравилась другая игра, но он всегда заводил ее чуть кривя душой, а Радость ныла:

– Опять будут раненые.

Об убитых она и вовсе не желала думать. Светик дразнил ее: «Девчонские штучки!», скрывая на самом деле все, что было «девчонского» в нем самом. Игра эта называлась «Война», а дети солдат знают, что война – это серьезно.

У них было два способа играть в войну.

Первый – с воображаемым противником.

В этом случае армия выстраивалась перед его позициями, во всю ширину на самом краю стола, артиллерия в центре, на флангах – кавалерия, пехота – во фрунт, и тогда ход сражения зависел только от желания Светика. Эскадрон идет в атаку: его переставляют вперед. Эта часть отступает: ее переставляют назад. Неприятель наступает или отступает – ребята сами решали когда. Для правдоподобия нескольких солдат можно было опрокинуть, иногда даже больше, когда положение становилось критическим и возникала опасность поражения. Но все всегда кончалось хорошо. «Ура! Наши победили!» – кричали дети, прыгая на месте и хлопая в ладошки, особенно Радость.

Но иногда армию делили пополам. Пехота, кавалерия, артиллерия – все делилось на две равные части. Тогда стол разворачивали в длину и ставили наших на одном конце, а врагов – на другом. Для пущей уверенности нашими командовал Светик, а врагами – Радость. Каждый расставлял войска по своему разумению. Светик особое внимание уделял тактике: подготовка, атака, сражение, преследование или же окружение, «умереть, но не сдаться» – все эти понятия были ему хорошо знакомы. Радость

же руководствовалась скорее гармонией объемов: она располагала свои войска треугольниками или более сложными фигурами, по своему вкусу перемешивая пехотинцев и конников под насмешливое сопение брата.

Начинался бой.

Пушки стреляли горохом, люди падали. Поскольку падало их все-таки мало, ребята начинали катать по полю битвы шарики, которые пробивали брешь в рядах сражающихся, но особенно во вражеских рядах, потому что Радость выбирала шарики покрасивее, а Светик – покрупнее. Б результате неприятель погибал до последнего человека или же – в том случае, когда Мама прекращала игру раньше, – был вынужден капитулировать (Радости это нравилось куда больше). Это было нормально: мы одерживаем победы во всех войнах, а те, где неприятель оказался сильнее, не считаются. Радость прекрасно знала это и не противилась.

Однако между этими двумя способами игры в войну была существенная разница. При воображаемом враге армией командовал Папа, и он никогда не бывал ранен. Если же неприятель был настоящим, Папа отправлялся обратно в коробку: не было и речи о том, чтобы подвергать его опасности. Для оправдания его отсутствия на поле боя придумывались разные обстоятельства: то он был отослан в командировку, то он был в краткосрочном отпуске, в худшем случае – тяжело болен (но не волнуйтесь – он поправится).

В глубине души детям было стыдно делать из Папы какого-то дезертира, но они так боялись, что с ним случится что-то плохое, кроме того, шла настоящая война, он был на фронте, и им казалось, что если шарик собьет его фигурку, его и на самом деле убьют.

* * *

Ни Радость, ни Светик в школу еще не ходили: Папа научил их читать и писать, а Мама совершенствовала их навыки, каждое утро задавая им упражнения, которые день ото дня становились все труднее. Для Радости учение этим пока и ограничивалось, а Светик раз в неделю ходил к отцу Доримедонту, где вместе с полудюжиной других ребят изучал закон Божий.

Светик ничего не имел против этих занятий, однако ему гораздо больше нравились субботнее всенощное бдение и воскресная литургия, хоть там и полагалось стоять почти не двигаясь в течение Двух или трех часов. Светик любил слушать

хор, хотя он не понимал ни слова в этих величественных песнопениях, нравились ему и монотонные речитативы священника, которые тот произносил на странном, малопонятном, но таком родном языке, с восторгом глядел он на горящие кусты свечей, на золотые украшения, поблескивающие в облаках ладана, но больше всего радовало его знакомое, милое ощущение всеобъемлющего присутствия Бога. На занятиях все было по-другому. Там надо было все время что-то понимать. «Понятно? Понятно?» – спрашивал то и дело отец Доримедонт, а когда все становилось совершенно непонятно, начинал сердиться и говорить, что надо верить, а не понимать, что уж совсем было не по правилам.

Светик, конечно, старался как мог. Он понял, что такое единосущная Троица, Шестоднев, змей-искуситель, Воскресение, Тело и Кровь Христова, геенна огненная и Успение Божьей мамы, так что отец Доримедонт ставил ему обычно тройку, считая, что на пятерку может знать только Господь Бог, а на четверку – он сам.

Была, правда, одна тайна, которую Светик никак не мог понять.

Он несколько раз пытался спросить об этом на занятиях, однако отец Доримедонт так сердился, что Светик даже на исповеди не осмеливался заикнуться об этом своем непонимании, отчего испытывал сильнейшие угрызения совести: лгать или даже утаивать правду на исповеди – что может быть хуже? Но как, спрашиваю я вас, мог бы он признаться отцу Доримедонту, такому бородатому и строгому, что с его, Светикиной точки зрения, Бог Отец вовсе не был таким уж добрым папой, ни даже просто хорошим человеком? Ему, Богу, видите ли, пришла в голову странная мысль создать этот мир, а когда дело не заладилось и встал вопрос о том, что кому-то надо забить в руки и ноги гвозди, надеть на голову венок из колючек и дать выпить уксуса, так Он послал на все это Своего собственного Сына. Вот Папа, например, никогда бы не стал исправлять свои собственные ошибки за счет Светика: он всегда говорил, что каждый должен сам отвечать за свои поступки, и если кто натворил дел, так уж от наказания не увиливай. Так что же?

Услышь отец Доримедонт такого рода признание, он просто задохнулся бы от гнева, а Светику уж было бы не обойтись без сорока земных поклонов. Светику вовсе не хотелось класть сорок поклонов, но больше всего он боялся, что если он задаст этот мучивший его вопрос вслух – языком и губами, – тот сразу превратится в страшный грех против Святого Духа, в грех, которому не будет прощения. Поэтому он не осмеливался

открыться даже Маме.

Он просто молился.

Но кому же ему было молиться? Отцу, Которого он осуждал, Сыну, Который подчинился своему Отцу, Святому Духу, против Которого он чуть не согрешил, или Божьей Матери, Которая должна сердиться на Отца за то, что Он наслал столько несчастий на Ее Сына? Светик попытался было молиться своему святому с таким трудным именем, но как быть уверенным, что святой с трудным именем будет абсолютно беспристрастен в этом сложном деле? Ведь раз он святой, так значит, он принял все учение Церкви и должен его полностью придерживаться. Так что больше всего Светик молился ангелу-хранителю – лучшему своему другу, которого Господь Бог дал ему, чтобы тот хранил его от «всех напастей и печалей», которому он мог нашептать на ушко (подчас мокрое от слез) все что угодно. Он всегда будет на его стороне, его советчиком, его защитником, его заступником, святым хранителем и покровителем его души и тела.

* * *

Тем временем случилось так, что Радость заболела какой-то скарлатиной и детей разлучили из боязни, что они заразятся друг от друга. Светику пришлось играть в солдатиков в одиночестве. Дни тянулись теперь дольше обычного, хотя тени в углах столовой, казалось, сгущались раньше, чем прежде.

И теперь, конечно же, бывали парады и смотры, и Светик распаковывал Папу и вынимал его из ваты так же осторожно, как это делала Радость: как он признается сестренке, пусть даже младшей, случись с Папой что-нибудь ужасное? Как и раньше, он ставил фигурку то впереди войска, то на фланге, но все чаще в душу его закрадывалась смутная тревога: он беспокоился о Папе, который сражался на настоящей войне; он боялся, что сестренке станет хуже; но, главное, его мучил приближающийся Великий Пост. Ему предстояло снова идти на исповедь: посмеет ли он признаться в своем великом грехе? Посмеет ли скрыть его? Он старался пока об этом не думать. Легче всего это получалось, когда он играл в войну, потому что война занимает мысли гораздо больше, чем парад.

И вот однажды, когда он отделил «наших» от неприятеля и выстроил их друг против друга, в душе у него похолодело от дурного предчувствия: сегодня все будет плохо.

И действительно, его словно околдовали. Каждый раз, когда он катил шарик в сторону противника, чьи полки стояли на

расстоянии один от другого, шарик попадал в промежуток и, никого не задев, скатывался с края стола и терялся в длинном ворсе ковра. И наоборот, когда Светик шел на другой конец стола, чтобы сыграть за неприятеля, все вражеские шарики попадали в цель, укладывая на месте по несколько «наших», а затем, отскочив рикошетом, пробивали бреши в других рядах.

Сначала Светика это даже забавляло: на войне всегда убивают, этого только девчонки не понимают, а он скоро отыграется. Потом, с комом в горле, он начал невольно жульничать: когда стреляли «наши», он старался изо всех сил, а когда приходил черед неприятеля, он бросал шарик почти не глядя, но от этого погибало только больше солдат, потому что шарик катился наискосок, подпрыгивал и, падая, валил «наших», как бомба.

«Наши» потеряли уже треть личного состава, половину, три четверти, в некоторых полках оставалось не более двух-трех человек, а противник наступал стройными рядами, в которых недоставало всего по несколько солдат. Светика раздирали с одной стороны стыд, а с другой – злость. «Нет уж! – кричал он с каждым выстрелом. – Нет уж!» Он чуть не плакал. В глазах стояли слезы. Но в этот день все было против него: его любимые кирасиры, егеря, казаки с пиками вместо штыков падали под градом картечи, а неприятель, чьи части состояли из солдатиков, которых Светик любил меньше других – выцветших, облупившихся, колченогих, – плюс одно соединение японцев и одно – немцев, оставался цел и невредим. Несправедливо.

Светик прибег уж к совсем нечестной уловке. Он устроил новый призыв, мобилизовал для восполнения потерь новых солдат, то есть поставил на ноги и приписал к другим соединениям тех, кто уже погиб в боях. Безуспешно. Новобранцы падали, как и старые служаки, пополнение ни к чему не привело, некоторые солдаты были убиты по три раза. Светик кусал губы и наконец расплакался, что мужчине, а уж тем более офицеру, и вовсе не пристало. Соленые слезы разъедали искусанные губы. Сгущались сумерки.

Светику захотелось опрокинуть рукой все неприятельское войско, сбросить его на пол и объявить, что войну выиграли «наши». Но он устоял перед этим искушением. Он еще раз бросил шарик, и еще несколько оставшихся в живых «наших» повалилось наземь. Все. У Светика не оставалось больше ни единого солдата. Произошло немыслимое: победил неприятель.

Нет.

Он еще не победил.

Плохо видя из-за застилающих глаза слез, Светик пошел за

заветной коробкой. Он развернул шелковистую вату, достал из нее фигурку подполковника с поднятой вверх саблей и поставил ее перед неприятелем.

Пахло порохом и конским навозом. Ему хотелось пить. Его лицо почернело, глаза слезились от пыли. От долгой ходьбы ноги его кровоточили, и, как у Лермонтова,[46] рука его «колоть устала». Он чувствовал сильную тошноту, но это было не страшно, так как рвать было нечем. Он упал на землю и пополз между трупами. У одного из них к поясу была прицеплена граната. Приближался неприятельский взвод: враги шли, чеканя шаг, уже как победители. Он выдернул чеку, сосчитал до семи и бросил гранату, уткнувшись носом в грязь, по которой только что полз. Когда после взрыва он поднял голову, неприятельского взвода не было: кругом валялись убитые и раненые с вывороченными наружу кишками, остальные же разбежались, не пожелав еще раз доказывать, что они победители.

Он приподнялся на одно колено. Он ничему не удивлялся: ни тому, что ему не страшно, ни тому, что он здесь. Отец может стать сыном, так почему не наоборот? Он встал на ноги. Вокруг сотни распростертых тел. Пока неприятель приближался, чтобы вновь сгруппироваться, он подумал: «Не могут же все они быть мертвыми». Он пошел, вглядываясь в лица, отыскивая те, у которых глаза были закрыты. Мертвые редко закрывают глаза. Он наклонился. Позвал: «Ребятки мои, братцы!» Он гладил их, поднимал, глядел, как они снова падают, а когда видел, что это притворство, пинал их сапогом: «А ну, встать!»

И вот глаза открываются, разжимаются руки, сгибаются ноги. Он ищет слова, чтобы поднять тех, кто уже не может подняться. Вот зашевелились среди мертвых тел люди, вот они заняли позицию под прикрытием своих убитых товарищей, вот они залегли с ружьями, прицелились, вот уже слышны выстрелы, сначала одиночные, потом – залпом, и неприятель, потрясенный тем, что в него стреляют те, кого он убил уже не меньше трех раз, отступает.

А он продолжает стоять во весь рост. Он понимает, что притягивает к себе пули, что в него наверняка попадут, но он знает и то, что они никогда не победят, если он не будет стоять вот так, у всех на виду.

Он вызывает на себя огонь неприятеля. Он – как будто солнце наоборот, к которому сходятся лучи смерти. Единственная цель его сейчас – получить как можно больше ударов, ибо он знает, что он воплощает собой всех своих товарищей, находящихся между жизнью и смертью. Ему стоит только лишнюю секунду делать вид, что он жив, и все, кто окружает его, восстанут из мертвых –

пусть даже он сам умрет, – и будут стрелять, перезаряжать, опять стрелять, пойдут в атаку и победят наконец.

Вдруг он чувствует, как в руку ему впивается пчела, а в плечо – оса. «Только бы не в живот, – думает он. – Пусть в грудь, но не в живот». Но потом подставляет и живот: пусть разорвется диафрагма, пусть все внутренности вытекут через раны, только бы мы победили. Он чувствует боль и страдания всех своих солдат – это их кровь льется вместе с его кровью, это их ошибки и проступки искупает он, это их смертью он умирает…

* * *

– Ну что, Светик? Ты еще не сложил своих солдатиков?

Мама держит в руке керосиновую лампу, а Светик сидит в большом вольтеровском кресле, опустив залитое слезами лицо.

На столе – победа, одержанная маленьким отрядом под командованием Папы, который разгромил превосходящие силы противника. Но Папа… У Папы нет больше сабли, у Папы нет руки: рука, державшая саблю, лежит у его ног. Светик захлебывается от рыданий: «Папа! Папа! Я сломал Папу!» и еще: «Что я скажу сестренке?»

– Ничего страшного, – утешает его Мама.

Но от этих слов Светик начинает плакать еще сильнее.

– Сейчас мы что-нибудь придумаем, – говорит Мама.

Она берет Папу, осматривает его и идет в буфетную за клеем, смазывает им обломки и прижимает один к другому («Ты думаешь, так будет держаться, Мамочка?»), берет две шины и обматывает их навощенной ниткой. Рука приклеена. Сабля снова гордо поднята вверх.

– А когда можно будет снять шины?

– На твоем месте я оставила бы их навсегда.

– Но тогда Радость узнает, что я сломал Папу.

– Быть раненным на войне совсем не стыдно. А теперь быстренько сложи все на место. Скоро ужинать. Сегодня суп из ревеня. Давай-ка я тебе помогу.

* * *

Всенощная закончилась, церковь погружена во мрак. Только слышно то там, то тут, как капает воск с наклонившейся свечки. Настала очередь Светика. Он спотыкается о ступеньку, которая ведет в уголок, где в окружении золотых икон отец Доримедонт,

косматый и огромный, как пирамида, слушает в полутьме шепот исповедающихся. Светик дрожащей рукой протягивает священнику обернутую в банковский билет свечку, как это принято, ему, конечно же, страшно, но не более, чем всем другим мальчикам. Его невысказанный грех растворился, он сам не знает как, да он больше и не помнит о нем. На совести у него все чисто и ясно, ну разве что приврал он раза два, схитрил разок, но через несколько минут и эти мелкие грешки исчезнут, только их и видели.

Глаза священника блестят в темноте, как два огонька. Он читает длинную молитву перед исповедью (сколько раз читал он ее в своей жизни? и как ему только еще не надоело?), которая заканчивается такими словами: «Яко пришел еси во врачебницу, да не неисцелен отыдеши».

Но Светик уже исцелен.

Ангел-утешитель

Ваше представление о времени столь отлично от нашего, что я, право, не знаю, как рассказать вам эту историю.

Вы воображаете, что события происходят в пространстве, которое вы называете настоящим, будут происходить в пространстве, которое вы зовете будущим, и происходили в пространстве, которое, по-вашему, называется прошлым. С каким странным упорством вы делите все происходящее натрое, тогда как все дело в вашей собственной бренности. Время представляется вам рекой, текущей всегда в одном направлении, и – вы уж меня простите – это просто смешно, а все оттого, что вы – смертны, причем, заметьте, по вашей собственной вине. Вам никак не постичь, что все – вечно и одновременно; что то, что произошло в этом зоне, происходит там и сейчас и будет происходить всегда.

Ну, а теперь я попробую рассказать об этой трагедии так, словно она произошла один-единственный раз, в определенное время, а вас я попрошу только иметь в виду, что время – это не река, а море, и что то, что случилось один раз, никогда не перестанет быть. По крайней мере, как я уже сказал, до конца данного зона, а уж что там произойдет в следующем, об этом мы и помыслить не можем.

Итак, когда настал тот момент, которого мы так страшились, который вызывал у нас такое неприятие, – обратите внимание, я говорю так лишь для того, чтобы вы поняли меня, ибо ужасный момент этот настает постоянно, – когда, говорю (да и само это слово «когда» – всего лишь уступка вашему взгляду на вещи), мы узнали, что этого не избежать, нами овладела такая тоска, такая печаль, которые никакими словами не опишешь.

Сказать, что каждый из нас и все мы вместе не раздумывая пожертвовали бы собой ради Сына, это ничего не сказать. Но мы знали, что это невозможно, ибо, чтобы умереть и воскреснуть, надо быть смертным, как вы: для нас же смерть не существует. Если бы только мы могли – а нас ведь мириады – взять на себя по одному атому Его страданий, если бы мы могли вместо Него взять на себя грехи всех людей – да, убийства и прелюбодеяния, ложь и съеденное тайком варенье, – а ведь нас так много, что человеческих грехов вряд ли хватило бы на всех, – если бы мы могли ценой нашей музыки сфер, которая вся – для Него, избавить Его хотя бы от одного терния, от одного, самого болезненного, удара бича, от одного оскорбления, от одного плевка, мы немедленно бросились бы Ему на помощь, полные

благодарности за то, что нам позволено пожертвовать ради Него всем, даже самим сознанием любви, которую мы к Нему питаем.

Однако мы знали – всегда знали, – что и этого нам не дозволено. Мы пели при Его рождении, мы понесем в небеса орудия Его пыток, мы встретим Его на пути из ада, но никогда нам не бывать ничем иным, кроме как свидетелями и вестниками той великой любви, что возникла между Ним и людьми. Стоит ли удивляться, что для нас это было невыносимо. То, что Он, создавший нас, да и вас – вас, кого он любит гораздо больше и кто мог бы больше любить Его, – то, что Он должен искупить ваши грехи и принять ради вас и из ваших рук позорную смерть, ту самую смерть, которую Он не создавал и которая, в некотором роде, есть – простите – ваше изобретение, – это было поистине ужасно. Мы были злы на вас, да, конечно, при этом мы чувствовали, как все наше существо противится этой муке, этой гибели, на которую шел Он, такой добрый, такой милосердный, – Он, Чей лик был для нас солнцем, а мы – его лучами.

Только вдумайтесь, вы, кому предстоит однажды воскреснуть, – ваша смерть никогда не будет так бесповоротна, как та, на которую шел Он. Теперь вы знаете, что сделали с Ним; мы же уже тогда знали, что вы должны были с Ним сделать. Мы сгорали от желания обрушиться на вас всем нашим воинством и вырвать Его из ваших рук, палачи, жалкие, никчемные людишки! А как все в нас замирало при мысли, что не такова была на то воля Отца, что нам предстоит безропотно смотреть на эту гнусность, ставшую возможной по вашей вине, и что мы никак не сможем помешать ей свершиться до конца! Какими виноватыми мы чувствовали себя, мы, чьей вины в том не было ни на йоту!

И тогда стон пробежал по нашим рядам. Честнейшие из серафимов, славнейшие из херувимов, благороднейшие из архангелов, а с ними и скромнейшие из ангелов-хранителей вознесли единодушную мольбу: коль скоро нам не дозволено погибнуть ради Него или вместе с Ним, защитить Его, прийти к Нему на помощь, не можем ли мы хотя бы облегчить Его страдания или, если мера этих страданий должна быть полной, – Его душевных мук? Нам казалось, что Отец, хоть Он и отказал в этом Своему Сыну, не мог отказать нам. И сразу же мы принялись спорить о том, кому же из нас выпадет эта ужасная доля – утешать Спасителя мира в тот момент, когда Ему будет поднесена горькая чаша, уготованная Отцом.

Одни считали, что это должен быть мессир Михаил, чье имя означает «кто как Бог», повелитель сил и архангелов, князь Божественности, ангел Раскаяния, Милосердия, Святости, покровитель Израиля. Ведь если Сын Божий предпочел родиться

евреем и позволил преследовать Себя именно евреям (ведь Он без труда нашел бы Себе преследователей в среде любого другого народа), не означало ли это, что тот, кто принесет Ему Отцовское утешение, должен быть специалистом именно в еврейских делах?

Нет, возражали другие, это должен быть мессир Гавриил, «сила Божия», правитель рая, князь Справедливости, сидящий ошую Всевышнего, ставший крестным отцом Сына Божьего, возвестив Благую Весть Его матери; он с самого начала замешан в деле воплощения Бога Сына, ему и быть рядом с Ним как можно дольше – до самой смерти.

Были и такие, кто утверждал, что в роли этой должен выступить третий архангел, хотя бы из-за своего имени – Рафаил, что означает «помощь, исцеление Божие». Кроме того, мессир Рафаил был хранителем Древа Жизни, управителем Солнца, ангелом Науки и Знания и к тому же прекрасно знал Иерусалим, ибо именно он каждый год сходил туда, чтобы возмущать воду в купальне Вифезда. Ему, стало быть, и исполнять эту деликатную и трагическую миссию.

На этом споры не кончались. Некоторые не понимали, почему утешителем обязательно должен быть архангел. Они считали, что вполне годятся на это и Пахадрон, ангел Ужаса, и Афтемелух, ангел Мучений, и Шефтиил, ангел Смертной Тени, и Кассиил, ангел Слез и Одиночества, Малкиях, ангел Крови, или же Амалиил, ангел Слабости, а может, наоборот, ангелы Силы Африил или Зерух, или Фануил, ангел Надежды, или Рахмиил, ангел Милосердия, Хазиил, ангел Жалости, или Хамуил – Богоискатель, а еще лучше – ангел Воскресения Онайефетон. Я даже подозреваю, что кое-кто из них со свойственным нам чрезмерным благочестием уже начал готовиться к этой миссии: ведь у нас нет ни колен, чтобы преклонять их, ни желудков, чтобы терзать их постом, лишь всегда бодрствующий дух, ибо мы сами – всего лишь духи, и, уверяю вас, нам не раз приходилось сожалеть о том, что мы лишены такого залога и свидетельства любви, каковым является тело.

Однако нам всем предстояло пережить огромное удивление.

Когда настал момент (я говорю так, чтобы слова мои были понятны для вас), как вы думаете, кто был призван? Михаил с изумрудными крыльями, из слез которого, пролитых над грехами человечества, родились херувимы? Гавриил, с которым Иаков бился целую ночь? Рафаил, который руководил проектированием и строительством Храма? Нет, и ни один из тех, кого я перечислил среди имеющих определенное право на эту высшую почесть. Тот, кто был призван, удалился в полном потрясении. «У меня ничего не получится, – бормотал он. – Почему я? Я не

заслужил этого», – что можно было понять двояко. Я думаю, что он даже попытался бы ослушаться, да только у нас со времен того единственного восстания мессира Люцифера приказы больше не обсуждаются.

А надо вам сказать, что длинноухий Оноил был самым неуклюжим из ангелов: у него не было одного крыла, он хромал на одну лапу, был крив на один глаз, горбат, косолап, туповат, и его даже подозревали в постыдных связях, конечно эротических, с Преисподней. С тех пор как он вступил в должность, не было задания, которое бы он не провалил, и не по злому умыслу, а по той самой фатальной невезучести, которая управляет судьбами лентяев и неудачников. Вы знаете, конечно, что невезение растет в геометрической прогрессии: случайно вы совершили глупость, вас сочли придурком, вы совершаете еще глупость за глупостью и уже сами начинаете считать себя придурком и в результате им и становитесь.

Вот так и Оноил.

Сначала ему давали обыкновенные задания, то есть сопряженные с риском, но из-за него разразилось столько катастроф и катаклизмов, что его стали использовать только в самых спокойных случаях – присмотреть за какой-нибудь сторожихой в городском саду или за церковным старостой преклонных лет – но не тут-то было. Дело доходило до того, что вверенные ему святые начинали предаваться разврату, а больные, прикованные к постели, разбивались насмерть, выпав из окна. От выпитого с его подачи стаканчика грушовки убежденный трезвенник превращался в пьяницу, целомудренный девственник, взглянув на показанную им девичью щиколотку, становился сластолюбцем. С ним люди тонули посреди пустыни, погибали на равнине, погребенные под горной лавиной. Все пораженные молнией были по его части, равно как и редкие случаи скоротечного рака, и мертворожденные младенцы, и, конечно же, недоношенные плоды – им бы жить да жить, но внезапно освободившиеся от предрассудков матери выдирали их из своего чрева. И при всем этом он был ангел – представляете себе его горе? Своими слезами он мог бы заново просолить Мертвое море. И плакал он не над собой, а над всеми теми, кто был ему доверен и кто разделил с ним его несчастье. Что до нас, то мы относились к нему неплохо, но часто посмеивались, пряча под плащом улыбку, и он перестал ходить к нам, стал прятаться и, возможно, покончил бы с собой от отчаяния, если бы только ангелы могли кончать с собой.

Так вот, его-то и… Ну кого он мог утешить, спрашиваю я вас, когда он сам был совершенно оставлен Богом? Поистине,

неисповедимы пути Господни…

У бедняги Оноила не было выбора: с тяжелым сердцем, с полным сознанием своего ничтожества, прекрасно понимая, что ничего хорошего он сделать не сможет и что по его вине Сын лишится последнего утешения, этот ни на что не годный ангел оторвался от небес и спикировал на планету Земля, в землю Ханаанскую, в святой город Иерусалим. Метеоритами падали вниз слезы, беспрестанно лившиеся из его глаз.

Была безлунная ночь, и только звезды струили свои светотени на мерцающие во тьме террасы дворцов. Добрая десятая часть города была занята Храмом – вот насколько эти люди были без ума от Бога! Среди широких лестниц и длинных портиков с приземистыми колоннами высилась огромная белая масса Святого Святых – в обрамлении полосатых столбов, увенчанная золотым зубчатым фризом. Когда-то святилище иудеев полновластно царило над всей местностью, но теперь римская крепость Антония давила его своей черной тенью, нависая над ним всеми четырьмя квадратными башнями, на вершине которых чеканили шаг часовые-язычники.

Оноил пролетел над Антонией и над стражниками, заметившими лишь белый дымок в ночном небе, пролетел над Храмом, где ни один из бодрствовавших при свете факелов членов Синедриона не подумал даже поднять голову, пролетел над крылом, где некогда Сын вступил в поединок с искусителем, задержался немного над долиной Кедрона, где однажды состоится Страшный суд, и опустился на землю среди олив на горе, что возвышалась напротив Храма.

Тут он пошел пешком, вернее, заковылял. Может, он хотел выиграть немного времени перед последним испытанием, чтобы собраться с мыслями, чтобы хотя бы подобрать слова, которые он скажет Владыке мира, Чьим утешителем он на свое горе должен был стать.

Оливы отбрасывали причудливо изогнутые тени, сливаясь с ними так, что совершенно непонятно было, где тени, а где – деревья. Листва тускло поблескивала под звездами. Было холодно.

Тихо скрипнула калитка Гефсиманского сада.

Оноил вошел, в саду стоял медвяный запах левкоев. На земле пестрели едва видимые во тьме бархатистые анютины глазки. По обрушившейся каменной стене ползли плети плюща. Оноил остановился у входа в одну из пещер – там царил черный мрак. Он подумал, что чуть выше, в сотне шагов от него, абсолютно безгрешный человек брал сейчас на себя все чужие грехи, уже совершённые или еще нет, и что после этого он будет исхлестан

бичом и умрет на кресте. Из пещеры в это время раздавался трехголосый храп.

Бесконечная тоска овладела ангелом. Никто, от Сотворения мира, не испытывал такой печали. Одна за другой погасли звезды, и наступила ночь, самая черная с тех пор, как Создатель отделил ее ото дня.

Тогда ангел решился наконец подняться по склону, на вершине которого вырисовывался круглый камень. На камне этом на коленях стоял Сын Человеческий. Он то падал ниц, то вновь поднимался. Кровавый пот бисером проступал на Его челе.

– Я больше не могу, – сказал Оноил, сжимая Его в объятьях, – утешь меня.

Повестка

Меня разбудили какие-то раскаты, от которых ночь словно свернулась, сложилась в несколько раз. Я долго прислушивался, не поднимая головы от подушки. Это было как гром, многократно повторяемый лесным эхом, – какие-то долгие удары, параллельные горизонту, представляющие для слуха примерно то же, что тихоокеанские волны для глаз. Наконец я снова уснул.

Я жил на Юге Соединенных Штатов в маленьком домишке на вершине холма, посреди леса. Туда вела грунтовая дорога, кроме меня, ею почти никто не пользовался, а потому я считал своей обязанностью время от времени расчищать ее при помощи тесака. Спрятался я в этой глуши, чтобы лучше работалось, и стук моей пишущей машинки был единственным звуком, нарушавшим эту тишину, в которой малейший дубовый лист, торжественно отрывавшийся от ветки и ложившийся на землю, заставлял меня прислушаться: не идет ли кто?

Раз в неделю я забирался в старенький, весь помятый бирюзовый «шевроле» – я был его двенадцатым владельцем – и ехал за покупками в ближайший супермаркет, за тридцать миль отсюда. Подъезжая к перекрестку, где одна табличка указывала направление на Афины, а другая – на Вифлеем, я каждый раз говорил: «Вот бы сюда фотоаппарат…» Но фотоаппарата у меня не было, как, впрочем, и желания его покупать. Я доезжал до супермаркета. Молодой негр набивал багажник пакетами из коричневой бумаги, я давал ему несколько монеток за труды и каждый раз спрашивал себя: «Неужели я все это съем?» И каждый раз съедал все это за неделю. Литература – такая штука, от нее хочется есть… В следующий понедельник или вторник все повторялось.

Доводилось мне иногда брать ружьишко и, взобравшись на дерево, поджидать косулю или же вытаскивать из полуразрушенного гаража алюминиевую плоскодонку: тогда я направлялся в сторону Расти-Баккета или Иосафата, главного города графства, и удил там карликовых сомиков в огромном искусственном водохранилище, вырытом солдатами инженерных войск. Но все это крайне редко. Косуль надо разделывать и потрошить, а рыбу я вообще не очень люблю.

В то утро я проснулся в тишине, показавшейся мне незнакомой. То, что я принял за грозу, уже прошло, но характерная сухость лесного безмолвия куда-то исчезла. Правда, не слышал я, и как дождь стучит по листьям. Я довольно долго прислушивался и не обнаружил ни шуршания белок, ни шороха

ветерка, которые я осознанно никогда не выделял, но из них на самом деле и состоит лесная тишина. Все было глухо, плоско. Я было подумал, что лес завален снегом, но стояла еще только осень, и в любом случае в этих широтах никогда не выпадало столько звукоизолирующей ваты, чтобы наполнить всю округу абсолютным отсутствием звуков.

Я лежал на спине и чувствовал, что мир вокруг так глубоко переменился, что еще неизвестно, смогу ли я вообще встать. Но мой позвоночник легко изогнулся в пояснице, и я сел. Тут-то я и расслышал легкий плеск. Я встал, толкнул дверь, которую никогда не закрываю на ключ, и вышел на окружавшую дом деревянную террасу.

Сначала мне показалось, что весь лес, целиком, перевернулся вверх ногами: желтеющая листва кудрявилась у моих ног, а беловато-серые стволы словно выросли вдвое. Однако наверху, на своем обычном месте, как пламя на конце свечи, тоже желтели кроны деревьев. Лес и не думал двигаться – просто им полностью завладела вода, образовав зеркало, на три четверти удлинившее стволы. Завладела она и небом: ни одного дятла, порхающего с резким криком, который начинающие охотники часто принимают за крик тетерки, не было видно в вышине. Впрочем, птицы, и так довольно редкие и пугливые, теперь исчезли вовсе, как будто кто-то назначил им встречу, и все они, даже неперелетные, двинулись в путь.

Я проверил, что оставалось от моих владений. Клочок земли в четверть акра: дом и кусок огорода, где доживали свой век окра[47] и сладкий картофель; начало дороги с одиноко торчащим на тонкой, наполовину затопленной ноге почтовым ящиком-журавлем – распространенная в этих местах конструкция, – установленным здесь в приступе мании величия кем-то из моих предшественников, где раз в несколько недель я обнаруживал извещение налогового инспектора, предложение кредита под 33 %, рекламу чрезвычайно выгодных ритуальных услуг да проспектики каких-нибудь иеговистов или адвентистов седьмого дня, которые я, посмеиваясь, выбрасывал вон.

Откуда же взялась эта вода? Что это – осенние дожди, переполнив хляби небесные, низринулись на наш край в виде какого-то циклона? Или прорвало плотину водоема, построенного военными инженерами, и кубические километры воды пролились на мой лес? А что за раскаты слышал я ночью? Катящиеся волны, падающие стволы? Чего тут спрашивать? Главное понять, будет ли вода еще подниматься, а если предположить, что нет – небо сейчас пасмурное и влажное, – то когда она начнет сходить. Если она все же еще поднимется, я могу сначала залезть на крышу, а

потом поиграть в Ноя на своей лодке. Но какой вертолет заметит меня среди этих просторов? Тут я пожалел, что у меня не было радиоточки, чтобы слушать новости, которые я так всегда презирал, – и осознал всю меру своего одиночества.

Однако по природе я – фаталист. Должно быть, это все мое славянское происхождение. Под этой крышей из рубероида, криво и косо прибитого к стропилам, я напечатал уже пятьсот страниц романа о Страшном суде и был убежден, что если они хороши, то они будут жить, а надо будет – и меня переживут. И я пошел посмотреть, что у меня с запасами.

В стареньком холодильнике лежало немного кисловатого сан-францискского хлеба, остатки косули и арахисовое масло. На полке я обнаружил банку свеклы и два мешка фасоли. Средства для мытья посуды и бумажных полотенец было вдоволь. Я подсчитал, что, экономно расходуя виски, я мог продержаться две недели. Так что без паники.

Пишущая машинка застучала по-другому: будто ее установили на буйке.

Прошел день, два, потом не знаю сколько еще. Припасы убывали, а вода – нет. Но она и не поднималась, достигнув, казалось, высшей точки. Мой дом и я превратились в остров. Единственные звуки, что я слышал, были влажными: то обломится и упадет в воду ветка, то – очень редко – пролетит стайка нырков. Все сильнее пахло гниющей древесиной. По временам в голову мне приходила мысль, что пора взять лодку и покинуть мое убежище, но зачем уезжать, пока мне и здесь хорошо?

Однажды, Бог знает зачем, от безделья я добрался до почтового ящика, как будто за ночь здесь мог побывать почтальон. Теплая вода доходила мне уже выше колен, когда я наконец открыл ящик с наружной стороны, как в годы войны за независимость заряжали пушки. Я засунул внутрь руку, как гаруспик[48] во внутренности жертвенного животного, и вытащил оттуда, к своему удивлению заклеенный по краям розовый пакет со штампом, вполне официальный, который так сложно открывался со всеми своими скрепками и перфорациями, что на нем была напечатана специальная инструкция.

Наконец я с ним справился, развернул намокшую бумагу и прочитал вверху печатного бланка:

«Первая судебная инстанция Иосафата».

Дальше было нацарапано от руки:

«Вас просят явиться…»

Типографская краска держалась хорошо, а вот шариковая паста потекла. Но я разобрал-таки. День – сегодня. Время – два

часа пополудни. Место… место я знал прекрасно – кубическое здание суда с тяжеловесными колоннами, давящее всем своим весом на квадратный газон, по сторонам которого выстроились банк, храм, скобяная лавка и магазин готового платья.

Можно было, конечно, и пренебречь такой повесткой, но в конце концов это обернется себе дороже, окажется, что ты выказал неуважение государственному учреждению. А эти провинциальные учреждения отличаются особой подозрительностью, тем более что она приносит им регулярный доход в виде штрафов. Ну что мне могли вменить в вину? Нарушение законодательства о стоянках на главной площади Иосафата? Ту тетерку, которую я якобы принял за самца? Конечно же, ничего серьезного.

Я взглянул на дату отправления повестки: вчера. Как она дошла до меня? Что, райцентр приобрел моторные катера? Так быстро?… Так что же, чрезвычайное положение продлится еще неизвестно сколько? Ну, вот это меня уже не касалось. Я ведь фаталист, как я уже говорил. (Ну да, славянские корни…) Я посмотрел на часы. Время еще было.

В насквозь промокших брюках я поднялся обратно к гаражу. Я подтащил трос к самой воде, закрепил его там при помощи двух камней и освободил лодку от цепи. Затем, пятясь задом, как делал это уже сто раз, спустил ее на воду. Она плюхнулась с громким чмоканьем.

Пока я тащил свою посудину, я думал о прожитой жизни. Гордиться было нечем, но нечего и стыдиться, особенно по сравнению с другими. Ну да, была Сабина, но это нормально; потом – Сабрина и тот тип, которого, к своему крайнему удивлению, я уложил тогда на улице Бурбон, но я был в своем праве; мать, о которой я забывал, но вы сами знаете – мать есть мать; та девица, что утверждала, будто беременна от меня, – а почему именно от меня? Был еще роман, который я отдал в печать, недостаточно поработав над корректурой, а он потом имел незаслуженный успех, но главное, главное – те десять долларов, что я потребовал назад у Томпкинса под предлогом, что мне надо отдать двадцать Хопкинсу, а тому они вообще не были нужны.

Я поставил навесной мотор, проверил бак, убедился, что весло лежит под скамейкой, и шагнул через борт в лодку. Править надо было осторожно, пробираясь между верхушками деревьев, которые торчали теперь в воде, как когда-то – в небе. Пейзаж очень изменился, и слепое солнце мне ничем не помогало. К счастью, у меня был компас: если повезет, я буду в Иосафате в назначенное время.

Я оттолкнулся ногой от берега. Лодка поплыла, вспарывая воду со звуком вгрызающихся в дешевую материю ножниц. Надо мной не было ничего, кроме мраморно-серого неба с голубыми прожилками. Мотор, весело пофыркивая, выпускал клубы дыма, оставлявшие в воздухе синеватый след.

Последний грешник, или Тайна Господня

Когда Рихтер предстал пред нами – мы будем звать его Рихтер, хотя это лишь один из его бесчисленных псевдонимов: Ильин, Старик, Фрай, Петров, Майер, Йорданов, Мюллер, Тулин, Петербуржец и других, – так вот, когда он предстал пред нами, у нас – ангелов – даже дыхание перехватило. Он стоял, маленький и крепкий, раскачиваясь взад и вперед на своих коротких ножках, заложив кулаки подмышки, растопырив локти, как плавники, ни на грош не смущаясь (а ведь все мы знали, что этот человек сотворил зла больше всех в мире), и такая энергия исходила от него, что мы чуть ли не начали чувствовать себя виноватыми перед ним.

Он и его ангел-хранитель стояли перед трибуналом, состоявшим из Аватура Музании, ангела Полярной звезды и Весов Судного дня, Мункара, черного ангела с синими глазами, обычно не склонного к милосердию, и Зеанпуръуха, всегда готового понять подсудимого. Ангел-хранитель имел весьма сокрушенный вид. Его допрашивали первым, и он не старался скрывать ужасного итога Рихтеровой жизни. «Я не виноват», – повторял он через каждые три фразы.

За свою жизнь Рихтер придумал концентрационные лагеря, снова ввел в обиход пытки, систематически и широко прибегал к массовым казням, рассматривал подозрение как доказательство вины, требовал, чтобы репрессии производились в соответствии со все возрастающими нормами, довел народ до голода, чтобы окончательно поработить его, короче, сознательно практиковал террор в качестве средства управления государством. Мы же, кому дано читать историю справа налево, знали, что дело этим далеко не ограничивалось: во имя этого человека на четырех континентах должно было еще погибнуть сто-двести миллионов человек разного цвета кожи. Не говоря уже о разрушенных семьях, о сыновьях, предававших отцов, о женах, доносивших на мужей, о целых народах, высланных с их родины, об угнетенных классах, о преследуемых Церквях, о пересмотренных истинах, о нескольких поколениях, отравленных одно за другим удивительной, изуверской смесью утопии и цинизма.

– Злодеяния, совершенные его последователями, не могут быть вменены ему в вину, – заметил Зеанпуръух.

– Чтобы отправить его в геенну, хватит и тех, что совершил он сам, – откликнулся Мункар.

Ангел-хранитель признал, что в бытность свою революционером Рихтер в статьях постоянно призывал к убийству («Колите! Режьте! Рубите!»), а достигнув власти, сам провел эти свои призывы в жизнь, требуя увеличения числа расстрелов, отправляя на казнь по шесть тысяч заключенных в ответ на покушение на себя самого, пропагандируя «жесточайший террор», без которого революция якобы превратится в «болтовню и кашу», инициируя процессы с заведомо кровавым концом и сознательно провоцируя в народе голод с целью укрепления своего режима. Наши великие предшественники со всеми своими гильотинами, говорил он, были сущими детьми, ибо людей надо держать не за голову, а за желудок. *«Я* не виноват», – добавил в конце своей речи ангел-хранитель. Стремясь в то время прослыть хорошим, добрым человеком, все свои приказы Рихтер отдавал втайне, но очень тщательно: диктатор в деталях расписывал своим сатрапам, как должен происходить тот или иной допрос или обыск.

– Так он немного садист? – спросил Мункар.

– Какое там немного… Но я не виноват, – ответил ангел-хранитель.

– Ну хорошо, – сказал Зеанпуръух, – он верил в благотворность принуждения. Но не он один. Должны же быть смягчающие обстоятельства. Он считал, очевидно, что призван совершить нечто великое, а люди, как известно, считают, что, не разбивши яйца, яичницы не сделаешь.

– В нашем случае, – возразил Мункар, – яичницы никакой нет. А вот разбитых яиц – множество.

Спросили у ангела-хранителя, и тот признал, что, если честно, то никакой яичницы не было и в проекте.

Такой же невежда в философии, как и в политэкономии, Рихтер использовал учение старого бородатого сатаниста (кстати, давно уже устаревшее и опровергнутое новыми общественными структурами) лишь как движущую силу революции, которая была для него целью сама по себе. Он ссылался на своих учителей как на абсолютные авторитеты, вкладывая в их уста все, что заблагорассудится. Его любимое выражение «диктатура пролетариата» было лишь предлогом для революции. Впрочем, в его произведениях слово «пролетариат» встречается лишь в родительном падеже и никогда не выступает в роли подлежащего, а это показывает, что народные массы были для него скорее средством, чем конечной целью. По правде говоря, Рихтер никогда не верил в свою победу и не готовился к управлению государством. Поэтому, оказавшись на вершине власти, он был занят только тем, как там удержаться. «Я не виноват», – добавил при этом ангел-хранитель.

– Но он все же электрифицировал деревню, – заметил Зеанпуръух.

– Электрификация страны началась еще при старом режиме, – возразил Мункар, который внимательно изучил дело. – А правда, – спросил он, – что к концу жизни, уже после нескольких инсультов, когда Рихтер утратил многие из своих способностей до такой степени, что не мог перемножить двух цифр, он не выпустил из рук бразды правления и при всей своей умственной отсталости продолжал править двумястами миллионами человеческих душ?

– Да, правда, – признал ангел-хранитель, – но я не виноват.

– Для смягчающих обстоятельств, – произнес Мункар, – это слабовато.

– Я хотел бы, – вступил Аватур Музания, – чтобы мы поговорили о мотивах господина Рихтера. Что это за «революция сама по себе»? Не бывает никаких «революций самих по себе». Может быть, господин Рихтер испытывал жалость к народу, страдающему под игом невыносимой тирании?

Нет: с одной стороны, в стране господина Рихтера не было невыносимой тирании, наоборот, законы там смягчались день ото дня. Но главное, ангел-хранитель признал, что за всю свою жизнь Рихтер не испытывал жалости ни к кому: ни к бедняку, ни к ребенку, ни к собаке. И дело не в том, что жалость – чувство похвальное и заслуживает особого уважения, Рихтер просто не знал, что это такое. Когда его спросили, не жаль ли ему людей, которых он посылает на смерть, он ответил, что сожалеет об интеллигентах, потому что их и так не много в стране.

Зеанпуръух напомнил, что старший брат Рихтера был повешен за покушение на монарха: может быть, младший брат действовал из мести, чувства не слишком христианского, но заслуживающего определенной симпатии. Увы, ангелу-хранителю нечем было подтвердить это предположение: Рихтер был в неважных отношениях с братом и, узнав о его казни, он сказал только: «Мы пойдем другим путем».

Напрашивался вывод, что Рихтера более всего интересовала не сама власть, а ее завоевание.

Председательствующий, беспристрастный Аватур Музания, сказал:

– Творить зло и добро одновременно – в природе людей. Однажды луковица, которую старая скряга дала бедняку, перевесила на моих весах все золото, украденное ею за всю ее жизнь. В другой раз краюха хлеба, брошенная нищему злым рабовладельцем, оказалась тяжелее всех цепей и хлыстов, которыми он истязал своих рабов. Ищите, ищите луковицу и

краюху Рихтера.

Ангел-хранитель прилежно принялся искать, как дети ищут ответ на загадку, и наконец жалобно признался:

– Я ничего не нахожу.

Рихтер – защитник пролетариата – преследовал крестьян, нанесших, как он утверждал, ущерб его собственности; своей домработнице он платил две с половиной серебряных монетки в месяц, в то время как за одну только газетную статью он получал две сотни. Если его близкие были грустны, он говорил, что не знает, что делать с их чувствительностью; что же до их неприятностей, то это были «их *Privatsachen* [49]». Если он справлялся об их здоровье, то лишь для того, чтобы попрекнуть небрежным отношением к коллективной собственности. Один раз он помог одному товарищу подвезти тачку, но лишь для того, чтобы похвастаться свой недюжинной физической силой. Он завел себе щенка, но его заботил лишь его нюх.

– Я не виноват, – закончил ангел-хранитель.

– Это просто невероятно! – воскликнул Аватур Музания. – Каждый человек делает добро тем, кого он любит. Кого же любит он? Кого он любил?

– Никого, вне всякого сомнения, – сказал Мункар. – Потому он и сотворил столько зла.

Ангел-хранитель грустно покачал головой. Тем не менее, было решено рассмотреть всех, кого Рихтер мог любить.

К отцу, судя по всему, он привязан не был. Когда он был ребенком, старшему брату приходилось делать ему замечания за неуважительное отношение к матери. Позже он написал своей матушке массу ласковых писем, но чаще всего они кончались просьбой о деньгах: он только и делал, что выкачивал из нее ее скудные средства, сам же не переставал вести приятный образ жизни. Использовал он и свою сестру, перегружая ее всякими поручениями, в том числе и опасными.

Были ли у него друзья? Он часто сближался с тем или иным из товарищей, но всегда лишь с целью лучше использовать того на революционной работе, впрочем, эта привязанность никогда не длилась долго.

Жена. Он свыкся с этой дурнушкой, и они жили в добром согласии, но незаметно было, чтобы она служила ему чем-то, кроме экономки-домоправительницы-секретарши-делопроизводителя, при этом обращался он с ней сурово, В сущности, он питал к ней не больше нежности, чем к своей теще, которая исполняла роль кухарки. Детей у него никогда не было.

«Любовница». В какой-то момент он был очарован одной женщиной, товарищем по партии, с которой на какой-то период

они даже перешли на «ты». Никаких следов иной близости не сохранилось. Они неоднократно жили втроем – он, его жена и она, – и похоже, что это не стесняло ни одного из участников этого трио. Как-то, когда они уже расстались, в письме она пожаловалась ему, что падает от усталости, недовольна своей работой и что вообще глубоко несчастна в жизни. В ответ на это он написал ей, как прекрасно провел отпуск, как много купался, загорал и охотился. Ее восторгам по поводу романтических отношений между великими людьми он неизменно противопоставлял достоинства пролетарской семьи.

Нет, решительно, ни в жизни, ни в личности Рихтера не было и намека на любовь. Сам же он, все так же раскачиваясь взад-вперед, внимательно следил за ходом судебного разбирательства, а на плотоядных губах у него играла насмешливая улыбка: любовь? да на что она?

Но Аватур Музания не отступался. Рихтер ведь был человеком партийным, так, может быть, основанная им партия заменила ему и семью, и дружбу, и любовные ухаживания, короче говоря, человеческое тепло? Он принадлежит к натурам, в которых отцовское начало чудовищным образом подавляет все остальное. Ангел-хранитель не смог дать по этому поводу никаких показаний. О своей партии Рихтер имел обыкновение говорить, что она – не Армия спасения, не какая-нибудь там благотворительная организация, а оружие революции. То есть каждый здравомыслящий и порядочный человек должен был быть революционером, а значит, принадлежать партии, которая, по мнению Рихтера, была права во всем, даже в тех случаях, когда ей приходилось коренным образом менять свое мнение. А любому, кто не вписывался в эту картину, ответ один: «Свернуть башку!» Короче, трудно утверждать, что наш друг любил людей, даже своих соратников, от которых он требовал верности во всем и – чего проще! – высшего самопожертвования.

Зеанпуръух из природного своего доброжелательства, а возможно, для того, чтобы сделать приятное Аватуру Музании, высказал следующее предположение: но если не людей, так, может быть, Рихтер любил какие-нибудь вещи, красивые виды, занятия для души.

Ангел-хранитель вспомнил, что однажды спрашивал у Рихтера, любит ли тот реку, на которой провел свою юность; тот лишь пожал плечами. Он помнил, какие цветы росли у его родного дома, однако незаметно было, чтобы он особенно любил их. Литература? Для него существовала лишь одна хорошая литература – та, которая способствовала революционному прогрессу, а вся остальная была плохая. Он мог без конца

слушать «Патетическую сонату» и революционные песни, но когда рабочие решили сыграть в его честь старинную мелодию, он потребовал прекратить: «Не могу я слушать музыку – я от нее добрею». Правда, никто, кроме него самого, никогда этого за ним не замечал. Даже если и была у него такая слабость, он тщательно ее скрывал. Мункар – судья с черным лицом и голубыми глазами – простодушно, а может, и с долей сарказма, предположил, что, не любя ничего и никого, Рихтер, возможно, любил просто Бога, как любили его когда-то столпники и пустынники.

Нет, отвечал ангел-хранитель, сокрушаясь все больше и больше. Рихтер не любил Бога. Он считал, что все, что касается религии, – это мелкобуржуазная слякоть и что «любое заигрывание с Богом отдает некрофилией». В шестнадцать лет он выбросил свой крестильный крестик на помойку. А в пятьдесят сотнями сносил церкви и тысячами расстреливал священников, монахов и монахинь. – Да что же это за человек такой?! – воскликнул Аватур Музания.

Ангел-хранитель стал путаться в деталях. Этот великий хвастун, только и твердивший все время о действиях «энергичных, решительных, беспощадных» и ежедневно занимавшийся шведской гимнастикой, чтобы быть готовым к борьбе, оказался на деле человеком крайне осторожным. Его ни разу не видели ни на одной баррикаде. Завладев властью, он окружил себя семнадцатью телохранителями и без конца вдалбливал им их обязанности. Если на него нападали на улице, он отдавал злоумышленникам все, что у него было, не думая даже воспользоваться оружием. Этот поборник революционной бедности лопал из нескольких кормушек, позволяя содержать себя сразу нескольким издателям, своей матери, жене, партийным меценатам и просто членам партии, которые тоже вносили в это дело посильную лепту. Не переставая ныть и сетовать на полуголодное существование, он через день бывал в театре и не раздумывая уходил в первом антракте, если пьеса была ему не по душе. Ему нужна была прислуга для ведения хозяйства, опытный корректор для правки гранок, вся семья находилась у него в услужении, и он был полностью доволен таким порядком вещей. Однако он не просто наслаждался комфортом, который ему удавалось себе организовать и в ссылке, и в подполье, – он был убежден, что комфорт этот им вполне заслужен, ибо он – воплощенная революция, а воплощенной революции положено жить с удобствами. Именно поэтому он и о здоровье своем пекся чрезвычайно, пользуясь услугами лучших врачей. Иное отношение к здоровью должно было казаться ему преступным,

почти кощунственным: такой прекрасный механизм просто необходимо содержать в порядке. При этом он сам пришивал себе пуговицы, надраивал до зеркального блеска ботинки, каждое утро собственноручно стирал пыль с книг и с письменного стола, не выносил шума, расписывал свои дни как по нотам, смаковал сплетни… Было в нем что-то от старой девы. Комфорт – да, но роскошь – никогда. Он не курил, не пил, и когда стал безраздельным владыкой над двумястами миллионами душ, продолжал брать в городской библиотеке «Рокамболя».

Мункар поинтересовался, не было ли в Рихтере гордыни.

На что ангел-хранитель, заикаясь от робости, ответил примерно следующее:

– Ну, как вам сказать? В нем нет тщеславия, он никогда не говорит о себе, абсолютно равнодушен к лести, всякое позерство ему чуждо. Правда, он терпеть не может проигрывать в шахматы, а это и есть симптом такой чудовищной гордыни, что я прямо не знаю. Рихтер считает себя непогрешимым во всем. Он уверен, что знает все лучше других, а потому спорить с ним просто невозможно. Если кто-то не соглашается с ним полностью, тот обязательно будет либо последний дурак, либо мерзавец, либо сразу и то и другое. Своим собеседникам он все время говорит: «Да поймите же наконец!» или «Ну как же вы не понимаете?», при этом «не понимать» – значит не разделять его мнения, а следовательно, быть немедленно обруганным последними словами, изгнанным, ошельмованным. Любой разговор с Рихтером превращается в сентенциозный, поучающий монолог, в котором он вдоволь ссылается на самого себя, в полной уверенности, что его долг – просвещать тех, кто способен «понимать», и что самого его никто ничему научить не может. Ну, ладно бы он разоблачал внутрипартийные интриги, анализировал международную обстановку, учил, как надо захватывать власть, обличал заблуждения своих противников, но он ведь позволял себе тот же менторский тон, рассуждая, например, о философии, в которой он был полнейшим нулем. Самое удивительное, что это ничуть не сказывалось на авторитете, которым он пользовался у своих последователей, вовсе наоборот. На самом деле авторитет этот основывался не на большем, чем у них, стремлении к истине, а на внутреннем превосходстве, которое навязывалось им во всех областях жизни… За исключением разве что шахмат, откуда столько досады. Превосходство это порождено неистребимой энергией, направленной всегда на одну цель, наподобие молотка, которым с удвоенной силой колотят все время по одному и тому же гвоздю. И вот результат: на свое окружение Рихтер производит, вернее, производил поистине гипнотическое

действие. Живя рядом с ним, нельзя было не принимать его ум за единственно правильный ум, его порядочность – за единственно возможную порядочность, его совесть – за единственно кристальную совесть, а его бездушие – за единственно чистую душу. Рихтер начисто опустошал вас, а затем заполнял самим собой. Я не виноват…

Зеанпуръух захотел узнать, был ли Рихтер подвержен страстям. Ангел-хранитель ответил, что, точнее сказать, Рихтер сам был одна сплошная страсть. Прежде всего, конечно, он питал сильную страсть к революции. Для него революция была не столько политической необходимостью, сколько основным инстинктом, своего рода сладострастием.

– И если я правильно понял, и завистью, и гневом, и чревоугодием, и гордыней, и алчностью, – добавил Мункар.

– А когда эта страсть его отпускает, он впадает в апатию и оцепенение, – заключил ангел-хранитель. – Его страсть к разрушению – это своего рода навязчивая идея, но она носит врожденный характер, это как бы основа его жизни, что-то вроде дополнительного органа, которым другие люди, к счастью, не наделены. Однако эта страсть – главная в его жизни – не исключает наличия других, которым он предается с той же силой. Одно время он просто болел шахматами, я слышал, как он тогда бормотал во сне: «Этот негодяй идет конем, а мы пойдем ладьей…»; а когда он заболел охотой, то мог отмахать в день до сорока километров, и все по болотам да по горкам. Было у него увлечение коньками, так зрители просто промерзали насквозь, любуясь его пируэтами. А когда он ударился собирать грибы, то таскал их просто мешками, невзирая даже на проливной дождь. Но я не виноват…

– Микофилия – любовь к грибам – грехом не считается, – сухо заметил Мункар.

Судьи переглянулись. Раз дело дошло до грибов, пора было прекращать следствие. Вопросов больше ни у кого не было. Оставив Рихтеру последнюю возможность оправдаться, Аватур Музания предоставил ему слово:

– Что ты имеешь сказать в свое оправдание?

Калмыцкая физиономия Рихтера налилась кровью. Лысина его покраснела. Щеки запылали. Раскосые глаза уставились куда-то помимо судей, словно уже успели пронзить их насквозь. Вся его приземистая фигура как-то собралась и напряглась, так что он стал похож на приготовившегося к атаке кабана.

– Да поймите же вы наконец, – сказал он, – что мне, человеку, не пристало оправдываться перед холуями самого ужасного кровопийцы на свете, да еще и в перьях. Да меня смех берет,

когда вы попрекаете меня какими-то тысячами и миллионами мертвецов. А я тогда попрекну вашего Боженьку всеми смертями всех когда-либо рождавшихся людей. Там, на земле, я естественно не верил в Его существование, да и само Его существование только подтверждает мою правоту. Он не тот, каким представляется, чтобы в Него верили. Нет Бога всемогущего и всеблагого, в самих этих определениях заложено противоречие. Тот, Кто принимает себя за вашего Бога, – да я миллион раз плюну Ему в рожу, потому что только такую философию Он и способен понять. Как Ему иначе объяснить, что рядом с любым мало-мальски порядочным и умным человеком Он – просто темный работяга, сотворивший нелепейшую Вселенную, которой сам управлять не в состоянии? Что, Он потратил на это шесть дней? Оно и видно! Вот если бы я был творцом, я бы вам вместо Вселенной такой механизм выдумал, который работал бы без единого сбоя, уж можете мне поверить. А ваш псевдо-Боженька просто неумеха, вот и получает каждый день от своего творения да в рожу! Ну, вот вы там, сикофанты, как вас там, кто меня придумал? Кто меня таким сделал? И разве мое существование не делает Его существование посмешищем? Он выдает себя за Бога и при этом допускает, чтобы я был тем, что Он же осуждает? Да даже я, простое двуногое существо, и без всяких перьев, любого, кто мне сопротивлялся, стирал в порошок! Да если бы Он был хоть чуть-чуть достоин Своего Божества, Он бы, как только увидел, что я родился, сразу бы отправил меня обратно в небытие, потому что должен был знать, что я родился, чтобы показать Ему кукиш! А Он, – как Он ведет себя с такими, как я? Он лезет за нас на крест, что вообще – верх дурости. А вы? Вы вот тут присвоили себе право судить меня, потому что можете мне сделать плохо, а что вы, собственно, понимаете в мировой истории? У вас есть царь – Он, буржуазия – вы, ангелы, и пролетариат – мы, и вам надо одно – чтоб так было вечно? Да самый сопливый младенец уже понял бы, что так вечно продолжаться не может, потому что на то есть диалектика. Ну вот, скажите, зачем ваш распрекрасный Боженька допустил противоречия? Допустил – вот пусть сам и пропадает теперь. Даже сама возможность существования какого-либо противоречия заведомо обрекает Бога на исчезновение. Боженька постепенно приходит в негодность, друзья мои. И происходит это от трения тезы об антитезу. Знаю, вы почитаете всяких там бездельников, которых зовете мучениками, святыми, но скажите на милость, чего они добиваются всеми этими своими кривляньями? Да они просто пляшут какой-то теологический канкан на потребу дураков и юродивых! А эти нимбы, что они напяливают себе на

башку, – да это просто перевернутые ночные горшки! Что хорошего сделали они человечеству? Они просто всячески исхитрялись продлить век общества несправедливости, в основе которого лежит величайшая несправедливость в мире: почему Он – Бог, а я всего лишь человек? По какому праву Себя Он сделал Богом, а меня – человеком? Я отказываюсь играть в какие бы то ни было игры с этим шулером! А если я тоже хочу быть богом, что тогда?

Я внимательно выслушал перечень пороков, в которых вы так по-детски меня обвиняете. Я никого не люблю – пусть. Кто же виноват, что ваш Боженька не заложил в меня любовь? Кто виноват, что и мир вокруг нас не так уж любвеобилен? И потом, почему любовь считается верхом добродетели? Кто и когда это доказал? Я убил много народу, ладно. Прежде всего, по-настоящему никто никого никогда убить не может – мы все обречены на смерть. В худшем случае, кого-то можно лишить остатка жизни, а это не так страшно. Но допустим. Да, я хорошенько перемолол всех этих аристократов. Богачей, попов, офицеров. Но разве мне не следовало пойти на все ради революции? Да, я тысячу раз преступил буржуазную мораль, но если у буржуа есть их мораль, почему я не могу иметь своей? Своей собственной, которую я сам придумал и которую ни разу в жизни не преступил? Побеждая, я не щадил побежденных? Ну, а если я так считаю – что победитель должен быть беспощаден? Кто вы такие, чтобы не соглашаться со мной? Вы исполняете свои ангельские обязанности так, как понимаете их, а я исполнял свои человеческие обязанности так, как их понимал. Вот когда вы упрекаете меня в том, что я истреблял попиков и монашек, в этом больше логики: это ваши друзья, вы должны держаться на их стороне. Но, с одной стороны, попу никогда не повредит принять мученичество, наоборот, он так наберет больше очков, а с другой, разве священники не призывают прощать обидчикам? Ведь если бы их перестали обижать, они лишились бы своего капитала. Желая отомстить за них, вы противоречите и им, и себе самим. Я их убиваю – они мне прощают. Каждому свое.

Но я знаю, что вы все равно меня осудите, и понимаю вас: я – ваш враг, и вы сильнее. Я же сказал: победитель обязан быть беспощаден. Представьте на мгновение, что я – сильнее вас: я бы не раздумывая послал вас лизать раскаленные сковородки. Короче, все это вопрос расстановки сил, а вовсе не справедливости, а вы – лицемеры, и ваше мирозданье, которым вы так кичитесь, – выгребная яма. Вот я подожду на самом дне преисподней, пока ваш Боженька не придет совсем в негодность. А тогда выйду оттуда и сам стану богом.

Слюна кипела в уголках его рта.

И снова судьи обменялись взглядом. Они заметили ликование, с каким Рихтер подбирал самые оскорбительные слова. Подняв глаза к небу, ангел-хранитель, казалось, говорил: «Он всегда был такой. Я не виноват».

– Ты только забываешь одно, – сказал Рихтеру Аватур Музания. – Бог тебя любит.

Рихтер хихикнул:

– Плевать я хотел на его любовь.

* * *

Прошли тысячелетия – не знаю сколько. Мир подходил к своему концу. Ангел-хранитель регулярно спускался в ад и жалобно спрашивал Рихтера, все так же ли тот отказывается покориться Любви.

– Да, – отвечал Рихтер, – и закрой дверь с той стороны.

Надо сказать, что ад теперь вовсе не походит на то, каким его себе обычно представляют. Дантовы грешники, без конца сдирающие с самих себя кожу, которая без конца нарастает вновь, или пожирающие друг у друга мозги, встречаются редко. Как, впрочем, и котлы с кипящей смолой. Самая ужасная пытка – постоянное отсутствие Бога (от нее страдают и живые, хотя для них она еще весьма относительна), однако похоже было, что и это не имеет на Рихтера ни малейшего воздействия. Так что даже дьявол, признав в нем коллегу человеческого рода, делал ему всяческие поблажки и оказывал знаки внимания. В результате точно так же как бренное тело Рихтера не было предано земле его последователями, а наоборот, забальзамировано, сохранено, и эта падаль была выставлена для всеобщего поклонения в гробу из пуленепробиваемого стекла, поставленного в самом центре порфирового мавзолея, – его бессмертная душа была заключена во дворце Неискупленного Зла, как в вечном слепке с его земной мастабы.[50]

Итак, приближался конец света.

Ангелы суетились, спеша отделить зерна от плевел, сложить первые в амбары Бытия, а вторые выбросить в небытие. Души, которым был назначен очистительный огонь, выходили из него и одна за другой, как мыльные пузыри, возносились на небо, чтобы с упоением лицезреть там Божий Лик неизреченной доброты. Вскоре внизу осталось лишь несколько преступников, более, чем другие, закосневших в грехе, но и они, признав свои ошибки, были прощены и с благодарностью вернулись на свою небесную

родину. Старая земля была заменена новой, старое небо – новым, горний Иерусалим с яхонтовыми стенами и золотыми чертогами, самоцветными опорами и двенадцатью жемчужными вратами спустился с небес, нарядный, как невеста пред женихом. Короче говоря, настало время закрыть навсегда этот эон, опечатав ад, но опечатать его было нельзя, пока там оставался один-единственный человек – Рихтер. Попросили ангела-хранителя любой ценой уломать его. От него не будут ждать раскаяния, просто пусть выкатывается и безвозмездно идет пастись на лугах Божественного света.

Рихтер, в костюме и жестком воротничке, лежал на красном атласном матрасе во дворце Неискупленного Зла, положив одну руку на грудь, а другую вытянув вдоль бедра.

– А, это ты, придурок, – проговорил он из глубины своего прозрачного гроба. – Давненько я не имел удовольствия тебя видеть! Ну что, дурья башка, притащился вкручивать мне очередную чушь?

– Я прибыл сообщить тебе, – дипломатично отвечал ангел-хранитель, – что время все сглаживает, даже преступление Ореста,[51] даже твои грехи. И не во власти человека – существа конечного – грешить без конца; так что и твоему наказанию должен быть предел. Считай, что ты прощен, и присоедини свою радость к радости всей просвещенной твари. Нет больше зла на земле, лев и ягненок лежат рядом, и все сияет светом Господним.

– Ну что ж, тем хуже, – ответил Рихтер. – Народные гулянья никогда меня не привлекали. На что мне твои ярмарочные фонари? Меня прекрасно устраивает здешний полумрак. А что до Божьего прощения, я о нем не просил и считаю, что со стороны твоего Бога нахальство – прощать меня против моего желания.

– Ты не понял, – откликнулся ангел. – Там, наверху, все ликуют от счастья, и люди, и мы, ангелы. Мы все любим друг друга и поем все вместе славу Господню. Люди снова стали такими, какими были до грехопадения. Если бы ты вышел отсюда, ты не узнал бы сам себя: ты стал бы добрым и безмятежным, да-да, ты, Рихтер! Ты бы только посмотрел, как отплясывает старик Адам, когда Исрафил начинает трубить в свою трубу. Тебе больше нечего здесь делать, пойдем.

– Нет есть чего. Говорить Богу «нет».

Ангел рассердился.

– Ты пользуешься тем, что ад стал цивилизованным. Посмотрел бы я на тебя, если бы тебе целыми веками черти без зазрения совести поджаривали пятки.

– Ну, я конечно бы сразу стал молить о пощаде, но как ты не понимаешь, что это была бы моя победа? Ведь какая-то частица во

мне продолжала бы все равно говорить «нет», и этого было бы достаточно для доказательства моей правоты.

Отказ Рихтера был передан по инстанциям и дошел до Уриила, Управителя Солнца, Пламени Господня, ангела Присутствия и архангела Спасения, который призвал к себе Педаила, ангела Освобождения.

– Ну-ка, освободите мне Рихтера.

– А если он откажется?

– Вы – ангел, мой милый. Разбирайтесь сами.

Но Педаил не разобрался. Рихтер ответил, что он не хочет, чтобы его освобождали, потому что он чувствует себя свободным везде, где нет Бога. Для нас нет ничего труднее, чем понять, как можно цепляться за тьму, когда солнце истины осветило мир, но Педаил потерпел поражение.

Такое поведение показалось Уриилу просто тупостью, и он поторопил Анабиила, ангела Глупости, доказать Рихтеру, что его упрямство – глупо. Рихтер ответил:

– А ты мне осточертел со своим солнцем истины. Если истина – одна, то никакой свободы нет.

Тогда Уриил послал к нему Поиила, ангела Философии, велев тому разъяснить Рихтеру, что это рассуждение, хоть и вполне гениальное, все же ошибочно, так как в основе его лежит неправильное представление о свободе. По мнению Поиила, свобода заключается в признании истины таковой.

– А по мне, – ответил на это Рихтер, – так в ее отрицании.

Заграгил, ангел Мудрости, стал доказывать Рихтеру, что тот абсолютно лишен здравого смысла:

– Если бы ты еще мог своим упрямством помешать всеобщему счастью или хотя бы счастью одного человека, тогда твоя позиция была бы понятна. Но ведь ты мешаешь только собственному счастью.

– Я мешаю счастью Бога, – сказал Рихтер.

Не добился ничего и ангел Надежды Фануил.

– Я надеюсь, что мне не на кого надеяться, – заявил Рихтер, – и можешь сообщить своему подельнику Заграгилу, что в этом и заключается единственно настоящая мудрость.

Кассиил, ангел Одиночества, осведомился у узника, не страдает ли тот от своего тысячелетнего уединения.

– Не знаю никого, кто был бы достоин моего общества, – ответил Рихтер. – Не о чем мне разговаривать с такими тупицами, я только теряю с вами время.

Ангел Времени явился к нему и сказал, что упрямство можно понять только во времени, а теперь о времени, собственно, и говорить не приходится, вернее, так будет, как только он, Рихтер,

воссоединится с Вечностью.

– Ну что ж, ты должен благодарить меня, – сказал Рихтер, – ведь я отодвигаю срок твоего ухода на пенсию.

Мзопинсаил, ангел Гнева, решил, что все, хватит, и без приказаний помчался во дворец Неискупленного Зла. На стенах дворца облупилась краска. В углах бахромой висела паутина. Пыль заглушала шаги.

– Мерзавец, выйдешь ты или нет? Я дважды повторять не буду!

Лежа в своем гробу, Рихтер насмешливо взглянул на него из-под полуопущенных век:

– Когда причинишь человеку самое большое зло, начинаешь чувствовать свое бессилие и злиться на него, словно он в этом виноват. Когда я угробил восемнадцать членов императорской семьи, меня просто крутило от мысли, что они все для меня уже недосягаемы. Вот и ты горячишься, потому что, попав в ад, я стал неуязвим. Ты видишь: в сущности, мы даже похожи.

Между ангелами это стало своего рода соревнованием: кто же добьется успеха там, где остальные потерпели поражение?

Рахмиил, ангел Сострадания, пошел сообщить пленнику, что ему сострадает вся тварь. Никто не сердится, а все лишь испытывают к нему глубокое сочувствие.

– Ну а я испытываю ко всем вам глубокое презрение.

Ангел Силы Африил пошел и сказал ему, что заставить его выйти не составит труда. Еще в Священном Писании рассказывается о том, как хозяин дома, сочтя, что на пир его пришло слишком мало гостей, стал зазывать к себе в дом нищих и бродяг со всех перекрестков.

– Взял бы я тебя за загривок и…

– Ты унизил бы этим своего Бога, – ответил ему Рихтер.

Ангел Слабости Амалиил долго доказывал Рихтеру, что сила без слабости – не сила. Одеяла ткут, специально оставляя пространство между нитями, чтобы они были теплее. Клинки куют с ложбинками, чтобы придать им больше прочности. Своим упрямством Рихтер хочет показать характер, но он не прав: надо уметь склонять голову перед фактами. Все остальное – мальчишество. Всю свою жизнь Рихтер отрицал Бога. Когда он умер, существование Бога стало для него неприятным сюрпризом. Надо уметь делать из этого выводы и признать, что отныне миром правит Любовь, а Крест – символ абсолютной слабости – стал орудием победы.

– Победа, победа, – проворчал Рихтер. – А вот я считаю, что в поражении больше свободы.

Маленький ангел Суриил, тот, что командует Покаянием,

потихоньку, робко проник в мавзолей и смиренно спросил у добровольного узника, не приходилось ли тому когда-либо раскаиваться. В изумлении Рихтер даже приподнялся в своем гробу.

– Раскаиваться?!. – повторил он. – Ну, раскаялся я один раз, когда играл с Горьким на Капри в шахматы, что пошел ладьей, когда надо было пойти слоном. Тогда из-за этого у меня вышел шах и мат.

– У тебя и сейчас шах и мат, – ласково сказал Суриил. – Покайся.

– Может, в этом и есть логика, – согласился Рихтер, – но слишком много радости было бы твоему хозяину.

Рахмиил, ангел Милосердия, пошел узнать у Рихтера, что тот думает о его специальности.

– Не знаю, что это такое, – ответил тот.

Ахазриил, ангел Судебных исполнителей, заявил, что нашел выход:

– Я просто предъявлю этому мещанину ордер на выселение. За долги.

Но Рихтер стал защищаться:

– Даже по капиталистическому законодательству вы не имеете права забирать мою кровать.

И не сдвинулся со своего красного атласного матраса.

Уриил испытывал постоянное давление Сверху, где спешили закрыть лавочку – то есть эон. Он вздохнул:

– Придется заняться самому.

Архангел Спасения шел по степи. Насколько хватало глаз, вокруг не было ничего, кроме порфирового дворца Неискупленного Зла. Он подошел ближе, дунул на дворец, и тот растворился в дым. Остался один Рихтер в своем гробу.

– Все люди творят зло, – сказал ему Уриил. – Получается, что ты сделал его больше, чем остальные. Это не случайно. Ты действительно – Тот, Кто Сотворил Больше Всего Зла в Мире. Ты наказан. Признаёшь, что это справедливо?

– Я признаю, что это неизбежно. Но надо еще решить, что мы понимаем под «злом».

– Ну, это-то просто. Зло – это то, что противно воле Господа. Много людей, сотворивших зла меньше, чем ты, тоже были наказаны. От них требовалось только одно, чтобы их кара прекратилась, – они должны были пожелать прощения. Даже не попросить – только пожелать. Некоторые приняли это с благодарностью. Сострадание Господа, любовь Господа, благодать Господа, сияние Господа, всемогущество Господа восторжествовали. Они согласились постучать в дверь Царства

Небесного и теперь вошли в него. Другие так закоснели в своей гордыне, что приняли небытие за Вечную жизнь. Но мало-помалу гордыня их истощилась. Ты сказал, что Бог приходит в негодность. Это богохульство никчемно и бессмысленно. Бог есть Бог – святый, крепкий, единый – и Он не может прийти в негодность. Отражение Его, искаженное некоторыми кривыми зеркалами, может прийти в негодность, но Он Сам? Немыслимо. А вот зло приходит в негодность, ибо оно – лишь воинствующая форма небытия, а значит, обречено на исчезновение.

– Это что, тоже неизбежно?

– Если называть неизбежностью Божью волю и премудрость. Все люди, восставшие против них, пришли в конце концов к раскаянию. О, не всегда причины этого раскаяния были абсолютно чисты. Одних спасла интеллектуальная честность, некоторые зацепились за рану, нанесенную их лучшим чувствам – дружбе, любви, иногда даже плотской, были и такие, самые ничтожные (но Господь, похоже, имеет к ним слабость), кто вернулся в стадо, не найдя счастья вне его, потому что им надоело отнимать желуди у свиней, которых они пасли. Да, в таком падении, в такой грубости есть своя святость, не столь славная, как святость мучеников и исповедников, но, тем не менее, трогательная, потому что то есть последнее, самое смиренное из смирении. Будь я человеком, я, наверное, выбрал бы этот путь спасения. А в тебе нет смирения?

– Ни капельки.

– А вот над этим стоило бы задуматься. Не иметь смирения – значит не иметь реального взгляда на жизнь. Ведь сколько реализма в молитве Иоанна Дамаскина: «Господи, или хошу, или не хошу, спаси мя».

– Вот это-то мне и не подходит. Я не хочу ничего против своей воли.

– Ты знаешь, в воле Господа обратить тебя в пыль, и тогда ты перестанешь донимать Его.

– Я буду донимать Его еще больше, потому что Он не сможет меня забыть.

– Что ты хочешь доказать, оставаясь здесь?

– Ничего, кроме того, что я свободен ничего не доказывать Богу. Я ведь держу Его за горло: если Он меня уничтожит, это будет Ему приговором. Если Он помилует меня против моей воли, Он посягнет на свободу, которую Сам же мне и дал. А если Он будет и дальше терпеть меня, то Он тем самым признает, что провалил Искупление так же, как раньше провалил Сотворение мира. По-моему, очень мило.

Ангел Спасения, поверженный, удалился.

* * *

С этого момента в наших хрониках наблюдаются расхождения. Я читал три варианта и не могу сказать вам, какой из них соответствует истине. Может быть, вы, люди, сами разберетесь в этом, когда придет время, и вы будете судить нас, ангелов, ибо сказано, что будет так.

* * *

В первом варианте на сцене появляются три ангела, которых мы никогда раньше не видели. Вот они идут бодрым шагом через ничто. Они не касаются земли, потому что земли уже почти нет, сильный ветер треплет их крылья и вздувает вокруг колен их одежды. Гневные лица их излучают ослепительный свет. Они подходят к гробу и говорят. Их трое, но говорят они одним голосом и голос этот звучит, как гром:

– Рихтер. Вон отсюда. Ты воскрешен. Тебе не место среди мертвых.

Из прозрачного гроба доносится брюзжание:

– Я не согласен. Не надо было меня создавать свободным, если вы теперь…

Его перебивает раскат грома, и три ангела, словно вторя друг другу в космическом контрапункте, вновь говорят своим единственным голосом, раскаты которого проносятся по Вселенной из конца в конец:

– Что это за невежда, вздумавший сорвать планы Господа Бога? Где был ты, когда Мы создавали землю? Может, ты держал веревку, чтобы измерять ее? Может, это ты укладывал краеугольный камень, в то время как утренние звезды пели вместе с Сыном Божьим? Мы тебя спрашиваем – отвечай!

Из гроба ни слова. Голос продолжает:

– А где ты был, когда Мы наблюдали за рождением моря и определяли его границы: «Вот порог, дальше ни шагу. Здесь будет разбиваться кромка твоих вод»? Хоть раз в жизни приказал ты заре подняться? Измерил ли глубину пропасти? Поднялся до того места, где хранятся запасы снега? Был ли когда-нибудь в хранилище града? Не ты ли отец дождя и пращур инея? Мы тебя спрашиваем – отвечай!

Нет ответа. Голос – единый и множественный – продолжает, словно все солнца мира заговорили хором:

– Разве благодаря тебе созвездия появляются в свой срок на небосводе? Разве ты выводишь на прогулку Большую Медведицу и

ее медвежат? По твоему слову сверкают молнии? Разве ты даришь льву его золотую гриву, а ворону – его блестящее оперение? Ты мечтаешь о расщеплении атома, а разве ты создал его? Кто ты такой, ты – мошка, червяк, клещ, – чтобы судить о наших делах? Мы тебя спрашиваем – отвечай!

Рихтер продолжал хранить молчание. Стеклянные стенки гроба дрожали. Вокруг бушевала буря, вздымая последние пылинки бытия. Паря в воздухе, ангелы снова заговорили своим потрясающим голосом:

– Ты прожужжал нам уши своей хваленой свободой, но что такое твоя свобода – свобода твари – по сравнению со свободой Творца? Это все равно что сравнивать силу твоих рук и Его. Твой тоненький голосок и громовые раскаты Его голоса. Разве ребенок обладает той же свободой, что и взрослый? А подданный и его государь, разве они одинаково свободны? Бедняк и богач? Почему же в твоем мире, где все относительно, свобода должна быть единственной абсолютной величиной? Ты не улавливаешь разницы между принуждением и повелением? Ты что же, действительно воображаешь, что можешь говорить с Богом на равных? Мы принадлежим миру горнему, а ты – дольнему, и не обольщайся на этот счет. Разве ты не видишь, что все твое жалкое злодейство – соломинка в вихре Его благодати? Разве может твоя личность быть абсолютной – пред Нами? Не смеши своих приятелей – чертей, они тоже уже потешаются над тобой. Адам вернулся в рай, а Рихтер будет медлить? Ада больше нет, а ты собираешься упорствовать, чтобы здесь остаться? Где? Ты хотел быть единственным – единственным, кто бросил вызов Богу, но в этом ни один человек не властен, ибо ни один человек не властен быть единственным. Каждый человек имеет отца и мать, и в нем повторяется и отражается весь человеческий род. Для одного нет спасения. Тебя спасла твоя мать, Рихтер, отец, твои братья – люди, хотел ты того или нет. Мы спрашиваем тебя, будешь ты отвечать или нет?

Хорошо, тогда встань и иди.

Как может творение не повиноваться своему Творцу, без Которого его бы и не было? Как может космос ослушаться Слова, Которое было в начале всего?

Рихтер сел, положил короткую ногу на край стеклянного гроба, уперся локтями, потом ладонями, напряг свои мощные бицепсы, перекинул другую ногу и, повернувшись на бок, вывалился на землю, встав на четвереньки. Так он сделал несколько шагов. Потом встал. Он покачивался, заслоняясь руками от ослепительного света.

И тут раздался еще один раскат грома, сильнее прежних.

Словно Сам Бог расхохотался, и смех Его потряс до самого основания то немногое, что оставалось еще от мира.

* * *

Во второй версии событий к Рихтеру отправились два ангела. Тот встретил их из своего гроба, как и следовало ожидать, такими словами:

– Ну вот, еще два проходимца притащились! Интересно, что они мне тут наплетут.

Ангелы взирали на Рихтера с состраданием, которое в конце концов вывело его из себя.

– Ну, давайте, разродитесь вы наконец или нет? Что новенького в боженькином агитпропе?

Ангелы не отвечали. Они опустились на колени: сначала тот, что был слева, потом тот, что был справа. Первый ангел сказал:

– Мы пришли просить у тебя прощения, Рихтер.

Второй добавил:

– Прости, что мы создали тебя.

Первый заключил:

– Прости, что мы создали тебя свободным.

Рихтер, надо признаться, был сбит с толку.

Первый ангел заговорил снова:

– Псалмопевец не лжет. Будет суд и для нас. И до самого суда мы будем стоять пред тобой на коленях, потому что через тебя прошло больше всего зла, чем через кого-либо на земле. Мы не встанем с колен, пока ты не простишь нас.

– Я в жизни никогда никого не прощал, – сказал Рихтер.

Эта хроника имеет два конца. В первом Рихтер понял, как обернулось дело, и ему так польстило, когда он увидел, Кто пришел просить у него прощения, что он позволил себе смягчиться:

– На этот раз ладно, так и быть, но чтоб это больше не повторилось.

И он позволил с триумфом препроводить себя в Рай.

Во втором варианте говорится, что Рихтер крепко-накрепко зажмурился, как это делают дети, когда не хотят просыпаться, и что он до сих пор так и держит глаза закрытыми для света. Ангелы тоже так и стоят перед ним на коленях. Этот конец – самый печальный, но кажется, что факты его все-таки не подтверждают, ибо вот мы здесь поем Трисвятое и ни у кого из нас нет ни малейшего ощущения, что мировая история могла закончиться поражением.

* * *

В третьей версии один, совершенно неизвестный ангел вошел в долину небытия, посреди которой в своем стеклянном гробу, меж двух ничто, возлежал Рихтер. Над ним не было теперь даже мавзолея. Некоторые из нас, кажется, хотели даже задержать этого ангела, спросить его, чего он хочет и на что рассчитывает, но от него исходило такое властное сияние, что они решили не делать этого. Когда он стал удаляться, нам показалось, что на плече он несет какой-то предмет. Предмет этот был так тяжел, что ангел шел, согнувшись в три погибели.

Естественно, мы не знаем достоверно, что же произошло, когда он подошел к гробу, но согласно хронике, описывающей именно эту версию событий, он якобы остановился, отирая крылом пот со лба, и сказал Рихтеру:

– Тюрем больше нет. Зачем тебе здесь оставаться?

Рихтер ответил:

– Тюрьмы всегда будут для тех, чье сердце – тюрьма.

Ангел и говорит:

– Ну, тогда посторонись немного в твоем сердце, которое – тюрьма, я хочу составить тебе компанию.

Рихтер колебался.

– Ведь ты же, по крайней мере, не боишься меня? – удивился ангел. – Ты – такой сильный, не боишься же ты, что смягчишься? Ну, давай, подвинься. Ох, как тут у тебя плохо пахнет…

Рихтер слегка подвинулся. Может, он решил принять вызов, может, устал от долгого одиночества.

Ангел залез в узкий гроб, вытянулся во весь рост, прижавшись к Рихтеру, и так они провели несколько часов, а может быть, несколько веков – какая разница? – ибо время почти совершенно растворилось. Наконец ангел говорит Рихтеру:

– Тесновато здесь. Ты не хочешь пройтись, чтобы размять ноги? А я посторожу местечко, сколько захочешь. Обещаю не выходить отсюда без твоего ведома.

И Рихтер согласился размяться – так он весь затек – и выйти наконец из гроба, откуда он до сих пор даже не выглядывал. Когда он увидел все величие и великолепие Божьего мира, голова у него закружилась, ибо он был создан по образу и подобию Божьему и не в его власти было это подобие уничтожить. Он позвал ангела:

– Не сиди там! Ты сам не знаешь, чего себя лишаешь.

И ангел тоже вышел наружу.

* * *

Я знаю, о чем вы меня сейчас спросите. Какая из трех версий – правда. Мне это неизвестно. Может быть, четвертая. Это тайна Господня, и мы никогда не узнаем ее.

Может быть, вы. В Последний День.

От автора

Эта книга не могла бы быть написана, если бы автор не имел возможности постоянно пользоваться «Словарем ангелов» (A *Dictionary of Angels)* Густава Дэвидсона, выпущенным издательством «Макмиллан».

Новелла «Ангел обетования» написана на основе древних легенд и «Письма Аристею». Хроника «Чем люди живы» является вольной интерпретацией одноименной сказки Льва Толстого. В «Несчастнейшем из ангелов» использованы идеи о. Сергия Булгакова (см., в частности, журнал «Путь», № 26,27). Речи Достоевского в новелле «Ангел милосердия» взяты из «Дневника писателя». «Последний грешник» написан на основании нескольких биографий Ленина и содержит также мотивы, позаимствованные из Книги Иова. «Ангел ищущий», в котором использовано апокрифическое Первоевангелие от Иакова, может удивить читателей, принадлежащих католической церкви, где особо почитается догмат о Непорочном Зачатии. Напомним, что догмат этот, до сих пор игнорируемый православными и лютеранами, был провозглашен римско-католической церковью только в 1854 году.

Ну и, конечно же, во всех новеллах присутствует Библия – как Ветхий, так и Новый Завет.

От переводчика

Дорогой читатель!

На страницах этой книги вы встретились с автором поистине замечательным, хотя его имя вам вряд ли знакомо.

Владимир Волкофф (пусть вас не смущает русская фамилия) – французский писатель, и творчество его принадлежит несомненно французской литературе, о чем, кстати, свидетельствуют и многочисленные литературные премии, которыми отмечены его произведения во Франции. О нем самом нам известно очень немного. Волкофф относится к числу деятелей культуры, предпочитающих держать в секрете свою частную жизнь. Лишь недавно, осенью 2001 года, вышел в свет сборник его очерков «Стража теней», в котором он впервые поделился с читателями своими личными воспоминаниями. Из этой удивительной, щемящей книги, посвященной памяти тех, кого писатель ежевечерне поминает в своих молитвах, мы узнаём, что Владимир Волкофф происходит из старинной русской дворянской семьи (среди его предков – Чайковские и знаменитые московские купцы Пороховщиковы). После революции 1917 года его родители оказались в эмиграции во Франции. Как тысячи русских людей, вынужденных покинуть родину, они испытали все тяготы жизни на чужбине, терпели нужду и унижения. Любовь к Отчизне, верность монархическим идеалам и православная вера – вот что помогло этим людям выжить и сохранить достоинство в обстановке всеобщего равнодушия, если не сказать враждебности. Унаследовав от своих родителей эту веру, эти благородные чувства, писатель сохранил их и развил в своем творчестве.

Владимир Волкофф давно и хорошо известен во Франции. Вот уже более сорока лет его книги занимают почетное место на полках французских и швейцарских книжных магазинов. Список его произведений насчитывает более пятидесяти названий: это романы («Священник-предатель», «Монтаж», тетралогия «Морские воды» и др.), литературоведческие, политологические и религиозные исследования («О французской метрике», «О королевской власти», «Троица зла, или Обвинительное заключение к посмертному процессу Ленина, Троцкого и Сталина», «Чтение Евангелий от Луки и от Марка», «Чтение Евангелия от Матфея» и др.), биографии, книги для детей («Александр Невский», «Владимир Красное Солнышко»), театральные пьесы («Любовь зла», «Ялта» и др.), переводы («Утешитель» о. Сергия Булгакова, «Рассказы» А. П. Чехова). Особое внимание Волкофф уделяет теме шпионажа и

дезинформации, которой посвящены несколько его романов и исследований. Однако, как бы широк и разнообразен ни был спектр его литературных интересов, во всех произведениях писателя ощущается необычное для французского литератора сочетание твердой гражданской позиции, глубокой, незыблемой веры в Бога и любви к России, ибо, так или иначе, Россия – навеки утраченная родина предков – присутствует во всех, или почти во всех, его сочинениях. Все это делает его творчество необычайно близким и понятным для русского читателя, истосковавшегося, как ни парадоксально это звучит, по настоящей русской литературе, литературе Достоевского, Толстого, Бунина. Поэтому может статься, что своего главного читателя Владимир Волкофф обретет именно в России.

«Ангельские хроники» – первая и пока, к сожалению, единственная книга писателя, переведенная на русский язык. Вошедшие в нее двенадцать новелл объединены по одному признаку: в каждой из них, зримо или незримо, присутствуют ангелы. Казалось бы, что тут необычного, ведь мы давно уже привыкли, что в современной литературе на смену реализму социалистическому пришел реализм магический, в котором не только ангелы, но и гораздо более диковинные персонажи прекрасно уживаются с повседневной действительностью? Однако Волкофф представляет свой, более чем оригинальный взгляд на небесное воинство и его роль в мировом историческом процессе. Посвятив немало произведений исследованию «метафизики шпионажа», он развивает смелую гипотезу, согласно которой Господь Бог использует Своих вестников в качестве «тайных агентов», посылая их на землю разбираться в наиболее сложных ситуациях. Наблюдая за такими «операциями», мы то оказываемся в Александрии времен Птолемея Филадельфа, где семьдесят два мудреца переводят на греческий язык Пятикнижие Моисея и Книги Пророков, то присутствуем при состоявшейся в параллельном мире задушевной беседе между Федором Михайловичем Достоевским и императором Николаем I, то с замиранием сердца следуем за Иудой, неуклонно движущимся по пути погибели. Глубочайшая эрудиция автора, тонкий юмор и высокая духовность делают эту книгу увлекательным чтением, дающим богатую пищу для ума и не имеющим ничего общего с чистой развлекательностью.

notes

Примечания

1

Господин Оме – персонаж романа Г. Флобера «Госпожа Бовари», провинциальный аптекарь, воплощение образованной глупости и воинствующего антиклерикализма.

2

Псевдо-Ареопагит (Псевдо-Дионисий) – условное имя, которым определяется неизвестный греческий писатель V–VI вв., чьи произведения долгое время приписывались Дионисию Ареопагиту. В его трактате «О небесной иерархии» дается подробное описание ангельских чинов.

3

Фома Аквинский (1225 или 1226–1274) – философ и теолог. Монах-доминиканец, он был прозван «Ангельским доктором» за святость жизни. Сформулировал пять доказательств бытия Бога. Основные сочинения: «Сумма теологии», «Сумма против язычников». Учение Фомы Аквинского лежит в основе томизма и неотомизма.

4

Карл Барт (1886–1968) – швейцарский теолог, кальвинист. Его учение – так называемая «теологическая диалектика» – изложено в трактате «Церковная догматика».

5

Жан Даниелу (1905–1974) – французский прелат, иезуит, кардинал с 1969 г., автор многочисленных богословских трудов.

6

Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944) – русский философ, экономист, теолог. С 1923 г. в эмиграции, жил в Париже. От легального марксизма, который Булгаков пытался соединить с неокантианством, перешел к религиозной философии, затем к православному богословию. Основные сочинения: «Философия хозяйства», «О богочеловечестве. Трилогия», «Философия имени».

7

…ничто человеческое тебе не чуждо *(лат.)*.

8

Этьен Сурио (1892–1979) – французский философ, один из создателей фильмологии. Считал, что любое произведение искусства является отдельным миром со своим пространственным, временным и духовным измерениями и не имеет иного смысла, кроме собственного бытия.

Гимнасий – в античности школа атлетического искусства.

10

Имеется в виду один из девяти ангельских чинов, описанных в трактате «О небесной иерархии» Псевдо-Ареопагита: престолы, херувимы, серафимы, власти, господства, силы, ангелы, архангелы, начала.

11

См.: Левит, гл. 11.

Схолиаст – толкователь, интерпретатор *(грен.)*.

13

«Море, море!» *(греч)*. По преданию, этими словами десять тысяч греческих воинов под предводительством Ксенофонта, отступавших после поражения при Кунаксе (401 г. до и. э.), выразили свою радость, увидев после семимесячных скитаний берег Понта Эвксинского.

14

Зоровавель – предводитель первого отряда иудеев, возвратившихся из плена вавилонского в Иерусалим. Назначенный Киром правителем Иудеи, Зоровавель положил основание второму иерусалимскому Храму.

15

«Медное море» – большой водоем для омовений в форме распустившейся лилии с шестью лепестками, установленный на двенадцати медных волах на территории Двора священников.

16

Хранилища – два ящичка из телячьей кожи, внутри которых хранится четыре куска пергамента с текстами из библейских книг Исход и Второзаконие. Хранилища прикреплялись во время утренней молитвы ремешками ко лбу и к левой руке против сердца.

17

Хлебы предложения – двенадцать пресных хлебов (по числу колен Израилевых), символизирующих хлеб духовный; лежали на специальном столе в Святом Святых иерусалимского Храма и заменялись каждую неделю.

18

Серьезно. Основательно *(нем.)*.

19

Мировоззрение *(нем.)*.

20

Рокамболь – персонаж многочисленных приключенческих романов французского писателя П. Понсона дю Терайля (1829–1871).

21

Иггдрасиль – в скандинавской мифологии мировое древо, гигантский ясень, связующий небо, землю и подземный мир. Описание его содержится в «Младшей Эдде» и в эддической поэзии.

22

Бриллиант, драгоценный камень, жемчужина без изъянов *(фр.* parangon – образец).

23

Супруга махараджи.

To cant – лицемерить *{англ.); to flirt* – флиртовать, кокетничать *(англ.).*

Друри-Лейн, Ковент-Гарден – театры в Лондоне.

Атенеум, Роу – фешенебельные лондонские клубы.

27

Жак де Вокансон (1709–1782) – французский инженер-механик, изобретатель множества машин, среди которых насос для подъема воды, первый автоматический ткацкий станок. Особую известность приобрели его автоматы «Флейтист», «Игрок на тамбурине» и «Утка».

28

Диспатер – древнеримское божество, повелитель подземного мира, культ которого довольно рано слился с культом Плутона.

29

Бульвар в Париже, где размещается множество торговых точек, принадлежащих в основном выходцам из бывших французских колоний.

30

Довольно бедное предместье Парижа.

31

Кабилы – народ группы берберов, проживающий в горных районах Северного Алжира.

Джебель – горы, горный хребет *(араб.)*.

33

Фронт Национального освобождения (ФНО) – алжирская националистическая партия, образованная во время алжирской революции 1954 года и ставшая ее основной движущей силой.

Диффа – в странах Магриба торжественный прием в честь именитых гостей с угощением и всевозможными развлечениями.

Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1982. Т. 8. С. 282.

Там же. С. 284.

37

Фаланга – в учении утопического социалиста Ш. Фурье – трудовая община, коллективное хозяйство.

38

Фаланстер – у Фурье – огромный дворец, в котором Должны жить, а отчасти и работать члены фаланги.

39

Бернар Жордан де Лоне (1740–1789) – французский дворянин, начальник Бастилии с 1776 года. После взятия Бастилии был зверски убит восставшими, которые надели его голову на пику и носили по улицам Парижа.

40

Герцогиня Иоланда де Полинъяк (1749–1793) – близкая подруга королевы Марии-Антуанетты, воспитательница королевских детей, пользовалась определенным влиянием при дворе, что послужило причиной ее крайней непопулярности в народе. Лишь поспешный отъезд из страны в 1789 году, сразу после начала Французской революции, позволил ей избежать участи своих государей.

41

Вандея – имеются в виду роялистские мятежи, спровоцированные в 1793 г. в западных провинциях Франции, главным очагом которых был департамент Вандея. Они были потоплены в крови республиканскими войсками.

42

Жан-Батист Каррье (1756–1794) – член Конвента, прославился своими расправами в Нанте, где по его приказу гильотинировали, расстреляли и утопили сотни ни в чем не повинных людей, брошенных в тюрьму по подозрению в участии в контрреволюции.

43

«Мечта Петра» или «Каменный сон» *(фр.)*. Игра слов заключается в том, что имя Pierre (Петр) является омонимом слова pierre (камень), а слово rkve имеет два значения: «сон» и «мечта».

44

В оригинале ошибка: приведен отрывок из письма В. Г. Белинского к А. И. Герцену (от 26 января 1845 г., Петербург). См.: *Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. М, 1982. Т. 9. С. 574.

45

Из стихотворения «На первое июля 1855 года» (*Достоевский Ф. М.* Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972. Т. 2. С 407, 408).

В оригинале ошибка: «…у Пушкина».

47

Огородное растение семейства мальвовых.

Гаруспик – предсказатель в Древнем Риме.

Частное дело *(нем.)*.

50

Мастаба (араб., букв. – каменная скамья) – древнеегипетская гробница (3 тыс до н. э.) в виде лежащего бруса с наклоненными к центру стенами.

51

Орест – в греческой мифологии сын Агамемнона и Клитемнестры, убивший мать и ее возлюбленного Эгисфа, мстя за убитого ими отца.